

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

---

ВОПРОСЫ  
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

БИБЛИОТЕКА  
СЫКТЫВКАР КОГО  
ГОСУНИВЕРСИТЕТА  
ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР

2

МАРТ-АПРЕЛЬ

№ 4, 0

---

"НАУКА"

МОСКВА - 2001

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Н.Ю. Шведова (Москва). Еще раз о глаголе <i>быть</i> .....	3
Анна А. Зализняк (Москва). Семантическая деривация в синхронии и диахронии: проект "Каталога семантических переходов".....	13
Б. Вимер (Вена). Аспектуальные парадигмы и лексическое значение русских и литовских глаголов. Опыт сопоставления с точки зрения лексикализации и грамматикализации.....	26
А.Н. Соболев (С.-Петербург). Балканская лексика в ареальном и ареально-типологическом освещении.....	59
О.Ф. Жолобов (Казань). Древнеславянские числительные как часть речи.....	94
А.П. Романенко (Саратов). Советская философия языка: Е.Д. Поливанов – Н.Я. Марр.....	110
О.Н. Трубачев (Москва). Информация для участников очередного XIII Международного съезда славистов 2003 г.....	123

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Обзоры

А.И. Домашнев (С.-Петербург). Проблемы классификации немецких социологов.....	127
---	-----

#### Рецензии

Т.М. Николаева (Москва). Язык о языке. Сборник статей.....	140
Е.Л. Бархударова (Москва). Фортунатовский сборник.....	145

#### Над чем работают ученые

Р.Н. Мароевич (Белград). Части речи в русском языке.....	151
--	-----

### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки.....	154
---------------------------	-----

### РЕДКОЛЛЕГИЯ:

*Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков,  
В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов,  
А.Е. Кибрик (зам. главного редактора), М.М. Маковский (отв. секретарь),  
А.М. Молдован, Т.М. Николаева (зам. главного редактора),  
Ю.В. Откупщиков, О.Н. Трубачев (главный редактор),  
А.М. Щербак*

Зав. отделами: *М.М. Маковский, Г.В. Строкова, М.М. Коробова*  
Зав. редакцией: *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2  
Институт русского языка им. В.В. Виноградова  
редакция журнала "Вопросы языкознания"  
Тел. 201-25-16

© 2001 г. Н.Ю. ШВЕДОВА

**ЕЩЕ РАЗ О ГЛАГОЛЕ БЫТЬ**

Если глагол *являться* означает 'обнаруживать свое бытие', *казаться* – 'обнаруживать свое внешнее непостоянное бытие', *оставаться* – 'продолжать свое бытие', то *быть* уже означает 'собственно бытие' и только его. Это самый отвлеченный глагол и самое отвлеченное полное слово в языке вообще (не считая местоимений, конечно). Ведь "бытие" – это самый общий признак вещей.

*А.М. Пешковский*

1. Прежде, чем изложить свою точку зрения на природу глагола *быть* и его роль в представлении сообщения, определим кратко основные понятия, на которые мы будем опираться в последующем изложении: это понятие сообщения, понятие дейксиса как собственно указания и понятие смысла как языковой категории.

Под сообщением будет пониматься минимальная предикативно значимая единица, содержательно заключающая в себе относительно законченный отрезок информации. В качестве сообщения как минимальной единицы рассматриваются высказывания (грамматически оформленные простые предложения или их функциональные аналоги), свободные от полупредикативных распространителей и представляющие собою в чистом (неосложненном) виде тип информативной единицы (тип сообщения) как носителя определенного языкового смысла (см. ниже). Изучение и систематизация большого массива сообщений открывает перед нами их типологию как особую область языковой абстракции.

Тот или иной тип сообщения определяется в опоре на дейктическую единицу – глагольную или неглагольную – как на слово, специально предназначенное языком для означения смысла и, следовательно, самого характера и вида информации. Спецификой дейктического слова как слова указующего обусловлено особое качество его значимой стороны: здесь можно говорить не о значении как о содержательной стороне языкового знака – всегда сложной, – а об о з н а ч е н и и как о семантической функции такого знака. Этим термином мы и будем пользоваться в дальнейшем изложении (о различии значения и означения см. также ниже). В русском языке существует класс д е й к т и ч е с к и х (указующих, не именующих, а только означающих) е д и н и ц, специально предназначенных для означения сообщения в целом, в отвлечении от его конкретного, единичного, данного содержания. Этот класс двучастен: он образуется соположенными и противопоставленными друг другу системами неглагольных и глагольных дейктических слов; к первой части класса относятся местоимения, ко второму – дейктические глаголы и дейктические глагольные фразеологизмы<sup>1</sup>.

Класс дейктических глаголов и глагольных фразеологизмов (далее, для краткости, просто "глаголов") существует (подобно всем другим лексическим классам) как

<sup>1</sup> О местоимениях как носителях языкового смысла см. [Шведова 1998].

система, имеющая ядро и окружающую его периферию, одной своей частью тесно смыкающуюся с ядром, в другой – взаимодействующей с однозначными глаголами. Рассматривая эту систему в самых общих ее чертах, мы убеждаемся, что она средствами языка воспроизводит все основные формы существования человека и того, что его окружает, его "макро-" и "микромир", те условия и данности, без которых такое существование вообще невозможно. Каковы же эти формы и условия существования? Они могут быть легко перечислены: человек существует, живет, где-то находится и вокруг него существует и находится среда, без которой он существовать не может; он воспринимает окружающее и что-то о нем знает; он действует – физически и умственно, совершает поступки; вокруг него происходят события, разворачиваются ситуации, в которых он так или иначе участвует; он является носителем определенных состояний – собственных или стимулируемых извне: физических, эмоциональных, ментальных, модальных – или положений, возникающих случайно, окказиональных; он обязательно что-то имеет, чем-то владеет; он находится в определенных отношениях с другими людьми и с обществом, с ними взаимодействует. Для всех этих форм и условий существования глагольная дейктическая система имеет свои значения – самые общие, "ядерные", и их дифференцирующие, расчленяющие. Здесь представим только ядро, центр этой системы и (показанные в скобках) те ближайшие глагольные дейктические единицы, которые на первом шаге предназначены для уточнений и дифференциаций основного смысла, заключенного в глаголе, принадлежащем непосредственно центру системы.

1) *Б ы т ь* (существовать, бывать, водиться, вестись, случаться; находиться, иметься, наличествовать; пребывать, побывать)

2) *Д е л а т ь с я* (происходить, иметь место, сбываться, осуществляться, случаться, получаться)

3) *Д е л а т ь* (поступать, действовать, вести себя, вести какой-н образ жизни, заниматься чем-н.).

4) *И с п ы т ы в а т ь с о с т о я н и е* (пребывать в состоянии, находиться в состоянии, чувствовать, ощущать, испытывать).

5) *В о с п р и н и м а т ь* (видеть, чувствовать, находить 'воспринимать', ощущать, замечать).

6) *З н а т ь* (осознавать, уметь, быть осведомленным, иметь сведения)

7) *В л а д е т ь* (иметь, обладать, есть (что у кого), располагать).

8) *Н а х о д и т ь с я в с л у ч а й н о м п о л о ж е н и и* (пасть в какое-н. положение, очутиться, оказаться в каком-н положении).

9) *О т н о с и т ь с я к к о м у - ч е м у - н .* (иметь отношение к кому-чему-н., воспринимать чье-н отношение, находиться в каких-н отношениях с кем-н., быть связанным с кем-чем-н., заслуживать чего-н., слыть кем-н., занимать какое-н положение где-н.).

Предвидя неизбежные вопросы и замечания, сразу же подчеркнем два важных положения: 1) представленный перечень – в составе каждого из пунктов – не только является неполным, но он далек от полноты: его цель – показать, во-первых, общую структуру ядра класса дейктических глаголов; во-вторых, обозначить первые шаги к представлению его периферии; 2) здесь сознательно оставляется в стороне вопрос о глаголах, которые можно назвать "сопутствующими", т.е. о глаголах, содержащих смысл того или другого дейктического глагола, но развивающих, в опоре на этот смысл, собственное номинативное значение (сравни, например, *быть, жить, существовать, находиться* – и *прозябать, влачить существование или сделать* – и *учудить, вытворить; стоять* 'располагаться где-н.' – и *лепиться: по берегу стоят дома и по берегу лепятся деревушки* и мн. др. под.).

Каждая дейктическая единица является носителем языкового смысла: это ее значимая – содержательная, нематериальная сторона; самой природой дейкти-

ческой единицы определяется то, что такое содержание принадлежит высокой ступени абстракции: по самому общему определению это то понятие, которое означается действительской единицей и, в силу степени своей отвлеченности, может получать различное материальное выражение. В то же время сами языковые смыслы, их система есть закрытая область языка: они существуют, выявляются и исчисляются в опоре на класс действительских единиц как на закрытый класс собственно языковых значений.

Смысл сообщения о том (любом), что протекает во времени, целиком опирается на смысл, принадлежащий той или иной единице глагольного дейксиса: в смысл сообщения переносится то понятие, которое принадлежит глагольной действительской единице как значимая сторона этого двустороннего языкового знака. При идентичности смысла материальная сторона сообщений (их форма, лексический состав) может различествовать: определяющим является общность возможного означения тем или иным действительским словом; сравни: *Зима – Стоит зима; Остров на море лежит, Град на острове стоит* (Пушкин) и *Есть остров..., Есть град...* Вот яркий пример разного грамматического и лексического оформления одного и того же смысла 'делать', 'заниматься чем-н.': "Вот тут отдохните. Не вздыхите. А мне идти надо. – Куда? – Уроки у меня тут: совестно говорить – *музыке учу*" (Л. Толстой). Другой пример: выражение смысла 'находиться' как самим этим глаголом, так и его равнофункциональными глаголами со значением положения в пространстве, физического состояния, причастной формой глагола со значением физического действия, а также безглагольным (номинативным) предложением: "В доме Гаврилы Афанасьевича из сеней направо *находилась* темная каморка с одним окошечком. В ней *стояла* простая кровать, покрытая байковым одеялом, а *перед кроватью еловый столик*, на котором *горела* сальная свеча и *лежали* открытые ноты. На стене *висел* старый синий мундир и его ровесница, треугольная шляпа; над нею тремя гвоздиками *прибита* была лубочная картинка, изображавшая Карла XII верхом" (Пушкин).

Примеры подобных несовпадений "материи" разных сообщений при общности их языкового смысла читатель найдет ниже – при рассмотрении смысловых функций глагола *быть*.

2. Глаголу *быть*, его формам и его существованию в кругу ближайших синонимов посвящено большое количество исследований (см. общий список в конце статьи). Этот глагол тщательно описан в больших толковых словарях – прежде всего, в словаре Даля и в Семнадцатитомном академическом словаре; надежный и ценный материал для изучения развития глагола *быть* в новое время дает "Словарь русского языка XVIII века" [Словарь XVIII в. 1985. вып. 2]. В задачу настоящей статьи не может входить хотя бы самый общий обзор таких описаний. Не будет ошибкой сказать, что из поля зрения исследователей не выпало ничего, что касается этого глагола – его форм и "значений", его ближайшей валентности и широких дистрибутивных возможностей, его употреблений в разных типах контекстов, сопоставления его с соответствующими лексемами в других языках. В центре внимания в работах последних десятилетий оказываются вопросы, во-первых, о семантической структуре глагола *быть*, о системе его "значений", во-вторых, о его роли в образовании бытийных предложений и, в связи с этим, вопрос о его "нуле" в номинативных предложениях и в других типах предложений, в своей исходной форме (в настоящем времени) безглагольных.

В разных работах ищется разное количество значений глагола *быть*: если суммировать результаты этих поисков и попытаться перечислить все такие "значения" и "подзначения", то их окажется более тридцати; в работе Ю.Д. Апресяна [Апресян 1995], посвященной "лексикографическому портрету" глагола *быть*, выделяется "шесть крупных групп значений" (связочные, локальные, possessивные, экзистенциальные, модально-экзистенциальные, вспомогательные) и, внутри каждого из них, еще по

2–3 или 4 значения; в систему таких значений вводится и "нулевая форма глагола" в предложениях типа *Задача трудная, Больная в обмороке, Мне незачем спорить* и мн. др. под. Описанию *быть* (англ. *to be*) как многозначного противопоставляется его представление как "поливариантного", в разных своих употреблениях реализующего значение 'быть' в четырех вариантах: существование, нахождение, наличие и присутствие [Селиверстова 1977]. О том, насколько убедительно приписывание глаголу *быть* множественности значений (в отдельных диссертационных исследованиях выводимых из самых широких контекстов), скажем ниже; здесь же остановимся на "нуле глагола" в разных типах безглагольных предложений. Такое решение вопроса весьма спорно. Приписывая предложению типа *Край в запустении* "нуль глагола" на основании анализа глагола *был* в предложении *Край был в запустении*, не следует отвлекаться от парадигматических отношений *Край был / будет / был бы / будь / будь бы в запустении* (точно так же: *Мне незачем / незачем было / будет / было бы спорить* и под.): здесь везде формы *быть* относят сообщаемое ко времени – реальному или ирреальному, – и на этом их функция кончается: это не связка, а формообразующий компонент, входящий в синтаксическую парадигму предложения, в которой исходная форма (наст. времени) не имеет глагола и в этом своем качестве с а м о д о с т а т о ч н а (см. [Грамматика-80]).

Глагол *быть* так тщательно описан в больших словарях и столько раз привлекал к себе внимание исследователей, что вряд ли можно сейчас ввести в обиход какие-либо касающиеся его новые материалы (хотя здесь и можно отметить некоторые частичные упущения). Однако можно посмотреть на этот "таинственный" глагол с точки зрения его особого, собственного и единственного положения в общей системе глаголов и глагольных фразеологизмов. На следующих страницах мы попытаемся рассмотреть глагол *быть* не как полнознаменательное (полнозначное) слово, а как п о л и ф у н к ц и о н а л ь н ы й д е й к т и ч е с к и й глагол, способный означать тот или иной тип сообщения и благодаря этой способности органически вписывающийся в круг других дейктических глагольных единиц и с ними тесно взаимодействующий.

3. Среди тех языковых смыслов, о которых было сказано выше, и, соответственно, среди означающих их глагольных дейктических единиц, глагол *быть* занимает особое место: в нем заключена способность в составе сообщения означать не только собственно существование, но также и другие смыслы, формирующие центр глагольного дейксиса: функция означения существования в разных его проявлениях совмещается в этом глаголе с функцией означения отдельно взятой ситуации или события, деятельности, пребывания в состоянии или в каком-н. случайном положении, отношения к кому-чему-н. или восприятия отношения извне; кроме того, в условиях строгих ограничений, *быть* демонстрирует свои утраченные, "реликтовые" функции и тем самым приоткрывает перед нами свой прежний, еще более широкий и к настоящему времени ограничившийся смысловой потенциал.

На первом шаге, на ступени допустимого обобщения, смысловое строение глагола *быть* предстает в пяти принадлежащих ему способностях означения. Это – 1) означение времени – реального (настоящее, прошедшее, будущее) или ирреального (сослагательность, условность, долженствование, желательность, побудительность) в синтаксической парадигме предложения (*Зима теплая – была/будет/была бы / будь / будь бы зима теплая...; Весело – было / будет / было бы / будь / будь бы <Будь / будь бы там весело, я бы туда пошел>* и т.п.); об этой, собственно грамматической функции глагола *быть* сказано выше; заметим только, что формы глагола *быть* здесь вряд ли правильно называть связками: это собственно синтаксический показатель времени, во многих случаях – прежде всего в условиях тематико-рематического членения предложения – позиционно свободный; 2) означение существования, бытия, наличия; 3) означение присутствия, пребывания где-н.; 4) означение ситуации в ее данном состоянии или события, происшествия; 5) означение нахождения в каком-н. состоянии или поло-

жении. Далее остановимся подробнее на каждой из этих функций, реализующих сложный смысловой потенциал глагола *быть* как глагола, способного означать т и п сообщения и в этом своем качестве взаимодействующего с другими дейктическими глагольными единицами, входящими с ним в отношения синонимии и функциональной общности.

I. О з н а ч е н и е реального или ирреального в р е м е н и (см. выше); это – самая отвлеченная функция глагола *быть*, ступень наивысшего обобщения; к этой функции восходит формообразующее *быть* в глаголах несов. вида (*буду, будешь, будет жить*). В этой функции означения времени глагол *быть* может выступать и в своей исходной форме – тогда, когда сообщение относится к постоянному или длящемуся состоянию, ср.: [Репетилов:] *Да умный человек не может быть не плутом* (Грибоедов); [Фамусов:] *Что за комиссия, Создатель, Быть взрослой дочери отцом!* (Грибоедов); *Я была и не могу не быть в отчаянии* (Л. Толстой); *Мы продолжаем быть благополучны и здоровы* (Л. Толстой).

II. О з н а ч е н и е с у щ е с т в о в а н и я: 1) собственно существования (а) существовать всегда, вообще; (б) существовать, выделяясь из множества подобных; (в) существовать в процессе жизни, бытия; (г) существовать установившись и продолжаясь; 2) наличия, нахождения где-н.; 3) нахождения во владении или в тесном отношении к кому-н. (а) находиться во владении, в собственности или в пользовании; (б) находиться в постоянном и тесном отношении к кому-чему-н., в связанности с кем-чем-н.

1) Собственно существовать – вообще, всегда или когда-то, как-то, где-то, у кого-то.

а) Существовать вообще, всегда (*есть – было – будет – было бы – будь*): *Везде есть прекрасное* (Л. Толстой); – *Да, я знаю, – перекрикивал нас седой господин, – вы говорите про то, что считаете существующим, а я говорю про то, что есть* (Л. Толстой); – *Но есть же между людьми то чувство, которое называется любовью и которое дается не на месяцы и годы, а на всю жизнь? – Нет, нету* (Л. Толстой); *Было горе, будет горе, Горю нет конца* (Ахматова).

б) Существовать, выделяясь из множества подобных своей особенностью, бывать, случаться (*есть – был – будет – был бы – будь*): *А ведь признайся, есть Из кумушек моих таких кривляк пять – шесть* (Крылов); [Чацкий:] *Кто более вам мил?* [София:] *Есть многие, родные...* [Чацкий:] *Все более меня?* [София:] *Иные* (Грибоедов); *Есть в осени первоначальной Короткая, но дивная пора* (Тютчев).

в) Существовать – пребывать в процессе жизни – жить (*есть – был – будет – был бы*): *Жил не жил, был не был* (посл., Даль); *Будет и наша правда, да нас тогда не будет* (посл., Даль); *Был человек, который никакого Не знал ни промысла, ни ремесла* (Крылов); *Был некто Анджело, муж опытный, не новый В искусстве властвовать* (Пушкин). – *Зачем ему продолжаться, роду человеческому? – Как зачем? Иначе бы нас не было – Да зачем нам быть? – Как зачем? Да чтобы жить. – А жить зачем?* (Л. Толстой); *Меня не будет, так что же будет? Ничего не будет. Так где же я буду, когда меня не будет? Неужели смерть? Нет, не хочу* (Л. Толстой). Сравни в слиянии: *жил-был, жили-были*.

г) Существовать искони, установившись и продолжаясь, вестись, повестись (*есть – было – будет*): *Если даже допустить, что мужчина предпочел бы известную женщину на всю жизнь, то женщина-то, по всем вероятностям, предпочтет другого, и так всегда было и есть на свете* (Л. Толстой).

д) Существовать, принадлежа кому-н., находясь в обладании кого-н. в тесном отношении к кому-чему-н. (*есть – был – будет – был бы – будь – будь бы*). (1) Существовать в качестве собственности, в обладании у кого-н.: *И зубы есть, да нечего есть* (посл., Даль); [Молчалин:] *Есть у меня вещицы три: Есть туалет, прехитрая*

работа (Грибоедов); *Был тулуп, да что греха таить? Заложил вечер у целовальника* (Пушкин). (2) Существовать в пользовании, в употреблении: *И ноты есть у нас, и инструменты есть; Скажи лишь, как нам сесть!* (Крылов); *Что ты хлопочешь? Будет тебе оброк, коли захочешь* (Пушкин); *Старик объявил ребятам, что "Машкин Верх скосить – водка будет"* (Л. Толстой). (3) Существовать в родстве, в неразрывной близости с кем-чем-н., в тесной связанности, общении: *Будет с нас, не дети у нас, а дети будут, сами добудут* (Даль); [Скалозуб:] *Жениться? Я ничуть не прочь.* [Фамусов:] *Что ж? У кого сестра, племянница есть, дочь...* (Грибоедов); *У дочери его была мадам англичанка* (Пушкин); [Репетиллов:] *У нас есть общество, и тайные собранья По четвергам. Секретнейший союз* (Грибоедов).

2) Наличествовать, иметься, находиться где-н. (*есть – был – будет – был бы – будь – будь бы*).

а) Находиться, располагаться, занимать место где-н.: *Вот и ва... Были здесь ворота... Снесло их, видно... Где же дом?* (Пушкин); *Там за речкой тихоструйной Есть высокая гора, В ней глубокая нора* (Пушкин); *Есть остров на том океане – Пустынный и мрачный гранит; На острове том есть могила, А в ней император зарыт* (Лермонтов);

б) Иметься где-н., у кого-н., наличествовать, быть в наличии/налицо: [Молчалин:] *Я только нес их для доклада, Что в ход нельзя пустить без справок, без иных: Противуречья есть, и многое недельно* (Грибоедов); [София:] *Он не своем уме.* [г. Н.:] *Ужли с ума сошел?* [София:] *Не то, чтобы совсем...* [г. Н.:] *Однако есть приметы?* (Грибоедов); *Лучшего не надобно дохода, Да есть на них недоимки за три года* (Пушкин).

III. Обозначение пребывания, присутствия: 1) собственно пребывания; 2) присутствия; 3) посещения; 4) появления где-н.

1) Пребывание (*был – будет – будь – будь бы*): а) собственно пребывание: [Чацкий:] *С кем был! Куда меня закинула судьба!* (Грибоедов); [Загорецкий:] *Схватили, в желтый дом, И на цепь посадили.* [г. Д.:] *Помилуй, он сейчас здесь в комнате был, тут* (Грибоедов); б) пребывание продолжающееся, длящееся: *Где был, там и будь* (Даль); [Чацкий:] *Буду здесь, и не смыкаю глазу Хоть до утра* (Грибоедов).

2) Присутствие (*был – будет – был бы – будь*): *Но куча будет там народу И всякого такого сброду... – И, никого, уверен я! Кто будет там? своя семья* (Пушкин); *Бедный отец не сразу решился спросить у дьячка, была ли она у обедни, Дьячок отвечал, что не бывала* (Пушкин); [Чацкий:] *Прикажете мне за него терзаться?* [София:] *Туда бежать, там быть, помочь ему стараться!* (Грибоедов); *Но самый вечер был веселый. Было лучшее общество* (Л. Толстой).

3) Посещение ('посетить, побывать') (*был – будет*): *Если Алексей будет у меня всякий день, то Бетси должна же будет в него влюбиться* (Пушкин); [Фамусов:] *Его величество король был прусский здесь, Дивился не путем московским он девицам* (Грибоедов).

4) Прийти, прибыть, явиться (*был – буду – будь*): *Улита едет, когда-то будет* (посл.); *Не было ли тут солдата? – Коли что пропало, так был* (Даль); [Лиза:] *Сударыня, за мной сейчас К вам Алексей Степаныч будет* (Грибоедов); [София:] *Вы вечером к нам будете?* [Скалозуб:] *Как рано?* (Грибоедов); *Того и гляди, злодеи будут сюда* (Пушкин); – *Ступайте к Акулине Памфиловне, я сейчас туда же буду* (Пушкин).

IV. О значении ситуации, события, происшествия. Здесь с очевидностью выявляются возможности глагола *быть* означать разные типы сообщений, подтверждаемые регулярным и четким взаимодействием с другими дейктическими глаголами и глагольными фразеологизмами: 1) *иметь место, происходить*; 2) *длиться*, 3) *случиться*, 4) *выйти, получиться*.

1) Означеніе ситуації, протікаючої во времени не как нежданное и чрезвычайное событие, а как располагающей в "поле времени", занимающей в нем свое место и не нарушающей ход времени, а вписывающей в него, 'иметь место' (было – будет – было бы): [Чацкий:] *Что нового покажет мне Москва? Вчера был бал, а завтра будет два* (Грибоедов); *На другой день был праздник* (Л. Толстой); *Значит, страна так не сдана! Значит, война все же была!* (Цветаева). Для такого употребления *быть* характерно именование представляемой ситуации через имя предмета, на котором эта ситуация сосредоточилась: *Была в провинции и связь с одной из дам, навязавшейся щеголеватому правоведа, была и мода и стика, были и попойки с приезжими флигель-адъютантами, и поездки в дальнюю улицу после ужина, было и подслуживание начальнику и даже жене начальника* (Л. Толстой); *Но, вспоминая все то, что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя: да, а что же все-таки было в моей жизни? И отвечаю себе: только тот холодный осенний вечер. Ужели он был когда-то? Все-таки был. И это все, что было в моей жизни* (Бунин). В этих случаях характерно означеніе ситуации посредством местоимения *это, то, что; Что было, то прошло, что будет, не ушло* (Даль); *Чредою всем дается радость; Что было, то не будет вновь* (Пушкин); *И всем становилось страшно, что вдруг нарушится эта приличная ложь и всем будет ясно то, что есть* (Л. Толстой); [Вышневецкая:] *Пожалуйста, не думай, чтобы ты говорил что-нибудь новое. Все это было и всегда будет* (А. Островский).

2) Означеніе единичного события, происшествія, нарушающего ход вещей: 'произойти, сделаться' (было – будет – было бы): *Что будет, то будет, а будет то, что Бог даст* (Даль); *Вот ужо будет нам потеха, Вам, собакам, великая помеха* (Пушкин); – *Знаете, что я делал предложение и мне отказано... – Я не знала этого. Я знала только, что что-то было, но что, я никогда не могла узнать от Кити. Я видела только, что было что-то, что ее ужасно мучило и что она просила меня никогда не говорить об этом... Но что же у вас было? Скажите мне. – Я вам сказал, что было* (Л. Толстой).

3) Означеніе неожиданной, единичной ситуации, случая: 'случиться' (было – будет) *Чему быть, того не миновать* (посл.); *И я подумал, что мы поссорились и помирились и что больше этого уже не будет* (Л. Толстой).

4) Означеніе ситуации как следствия, и тогда, предвиденного результата: 'выйти', 'получиться', 'статься' (есть – было – будет): *Делать как-нибудь, так никак и будет* (Даль); – *Господи боже мой! Вишь, какие новости! Что из этого будет?* (Пушкин); *Как им сказал Старик, так после то и было* (Крылов); [Хозяйка:]... *только здесь и добрым людям нынче прохода нет – а что из того будет? – ничего: ни лысого беса не поймают* (Пушкин); *Знает, что кроме лжи и обмана из этого ничего не будет, но ему нужно продолжать мучить меня* (Л. Толстой); [Федя:] *Да, я своим распутством помогал их сближению. Что же делать, так должно было быть* (Л. Толстой).

V. Означеніе состояния свойственно глаголу *быть* в сообщениях:

1) о собственном, неотъемлемом внутреннем состоянии, о своей сущности, 2) о модальном состоянии и 3) о случайном состоянии, окказиональном положении.

Сущностное, неотъемлемое состояние, собственный признак означает глаголом *быть* (есть – был – буду – будь) всегда в сочетании с местоимениями *какой, каков, как, такой, таков, так: Каков есть, такова и честь* (посл., Даль); *Каков я прежде был, таков и ныне я. Беспечный, влюбчивый* (Пушкин); [Графиня-внучка:] *Мсьё Чацкий! вы в Москве! как были, всё такие?* [Чацкий:] *На что меняться мне?* (Грибоедов); *Так пускай я буду какая есть, но не буду притворяться* (Л. Толстой). Сравни в устойчивых сочетаниях: *так оно и есть; это как есть* (т.е. именно так). Смысл сущностности заключен и в идентифицирующей связке *есть (и есть, это и есть):*

*Театр есть училище нравов; то же с инфинитивом: Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная* (Пушкин).

Модальное состояние всегда является состоянием, порождаемым такой ситуацией, из которой обязательно следует другая, с ней связанная, ею обусловленная: именно таково состояние необходимости (есть что-то, из чего обязательно вытекает нечто другое, последующее), возможности, предопределенности, целесообразности, должностности, допустимости, предположительности; в глаголе *быть* – в условиях определенных формальных ограничений – заключена способность означения подобных состояний.

а) Предопределенность, неизбежность (*быть*): *Быть бычку на веревочке* (посл.); *Так вспомни же меня, что быть тебе без шубы* (Крылов); *Коль до когтей у них дойдет, То, верно, Льву не быть живому* (Крылов); *Быть грозе великой!* (Пушкин); сравни шутил.: *Быть было ненастью, да дождь помешал* (Даль).

б) Предположительность (*будет*): *Смотри-ка, квакушка, что, буду ль я с него? – Нет, кумушка, далёко* (Крылов); *– А они далеко тут? – Верст тридцать. Пожалуй, и сорок будет* (Л. Толстой). Сравни в говорах *быть* в значении ‘может быть, возможно’: *– Пройду ли я тут? – Быть пройдешь* (Даль).

в) Вынужденность: ‘придется’ (*будет*): *Ешьте, дорогие гости, все равно будет собакам выкинуть* (Даль). В говорах: *Сколько ни плакать, а быть перестать; Сколько ни браниться, а быть помириться* (Даль).

3) Смысл случайного положения, в котором оказывается кто-н., присутствует в формах настоящего и прошедшего времени глагола *быть* в сочетании с местоименным словом, например: *Пожар! Выскочили как / в чем были; Как был, так и свалился; – Я не одет. – Выходи как / в чем есть*. [Липочка:] *Да давно ль ты его видела?* [Устинья Наумовна:] *Нынче утром была. Вышел как есть в одном шлафоре* (А. Островский); *...как был в пыльных сапогах ложась на приготовленную постель* (Л. Толстой).

Таков общий круг сообщений, охватываемых глаголом *быть* и разными его формами – в условиях тех или иных ограничений или вне таких ограничений. В устойчивых сочетаниях, в застывших фразах глагол *быть* сохраняет и утратившуюся свою способность означать действие, п о с т у п о к, проявление поведения. В этом смысле характерен статус фразеологизма *как быть?* (‘что делать?, как поступить?’): в нем цело означение поступка; это с очевидностью вытекает из контекстов, в которых *как быть?* сочетается с *теперь, тут, мне / нам, с тобой / с ним* и под., а также из окружения, сообщающего о необходимости деятельного поведения, немедленного поступка, ср.: *Как быть и как с соседом сладить, Чтоб от пенья его отвадить?* (Крылов); [Аграфена Кондратьевна:] *Ах, батюшки! Да как же это быть-то?* (А. Островский); [Князь Абрезков:] *Что делать! Но как же быть с ними?* (Л. Толстой).

*Быть* (*был – буду – был бы*) может означать поведение (‘вести себя’, ‘держаться’), ср.: *Будь со мною, как прежде бывала, О скажи мне хоть слово одно* (Лермонтов); *Стараюсь быть умницей (буду / была / была бы умницей)*.

В отдельных, оторвавшихся от парадигмы формах глагола *быть* сформировались собственные лексические значения. Таково 1) *будет* (и *было, было бы*) в значении ‘достанется, попадет’ (*Вот уж тебе будет, гарнизонная крыса!* (Пушкин); 2) *будет* (*будеши, будет*) в значении единичного сходного поступка в будущем (*Прости, я так больше не буду*); 3) *буду* (*будеши, будет*) в значении ‘принятия пищи, питья’ (разг.) (*– Чай будеши?; Кофе не буду*). Как отдельные лексемы существуют формы *будь, будь бы, буде* (союз), *было* (частица), *будет* (‘довольно’, ‘достаточно’); в говорах: *быть* ‘истина’, ‘быль’, (*быти достоверные*) и ‘создание’, ‘тварь суцая’ (*Всякая быть создана Богом*); *быто* ‘скарб, пожитки’; утратившаяся в общем употреблении причастная форма *быто* (*Не дорого нито, а дорого быто*) (все – по словарю Даля).

Важно отметить, что и в прежнем, в чем-то утраченном своем состоянии глагол *быть* демонстрирует "несобранность" своих смыслов, способность означать иногда далекие друг от друга явления. О таких явлениях в русских говорах см. в статье И.Б. Кузьминой и Е.В. Немченко [Кузьмина, Немченко 1968].

4. Как видно из предложенного краткого обзора, глагол *быть* в своих возможностях взаимодействует с широким кругом действительных глаголов, и это взаимодействие состоит не только и не просто в синонимии, а в способности этого глагола в сообщении занимать место нескольких или одной из единиц этого общего круга. Напомним, что может значить глагол *быть*. Возможности его весьма широки; это: существовать в действительности (всегда, везде или встречаться, бывать, водиться); продолжаться, существовать издавна (вестись, повестись); жить, проживать; наличествовать, быть налицо, находиться где-н., иметься; иметься у кого-н., принадлежать кому-н.; пребывать, присутствовать; явиться, посетить, побывать; происходить, делаться, иметь место; случаться, выдаваться, выпадать; получаться, проистекать из чего-н., становиться; состояться, осуществляться; составлять сущность, суть кого-чего-н.; испытывать состояние, стимулируемое другим состоянием или извне (предстояние неизбежного, предопределенности, вынужденности); находиться в случайном положении; совершать поступок или вести себя каким-н. образом. Что общего у всех этих "значений"? Только смысл "быть", заключенный в глаголе *быть* как в полифункциональной означающей единице.

В отличие от полисемии, при которой одно значение всегда так или иначе производится от другого ("семантическая производность"), полифункциональность исключает такую производность и противопоставляет ей равноположенную (соположенную) смысловых значений. Очень важно и другое: в отличие от именуемого (знаменательного) слова содержательная сторона действительного глагола, местоимения – нерасчленима. Как бы ни относиться к компонентному анализу, очевидно, что в значении слова присутствуют центр и более частные составляющие; в содержательной, значимой стороне указывающего (действительного, местоименного) слова таких составляющих нет, и глагол *быть* убедительно демонстрирует эту особенность. По сравнению с другими действительными глагольными единицами, представляющими его непосредственное окружение, глагол *быть* обладает необычайно широким диапазоном функций – от означения собственно времени до указания на случайное состояние или поступок. В этом заключается уникальность глагола *быть*, справедливо определяемая исследователями как его особенность. Очевидно, что именно природой *быть* как полифункционального действительного (не называющего, а указывающего, означающего) слова объясняется та легкость, с которой многие исследователи награждают его десятками отдельных лексических "значений".

В разных типах сообщений *быть* вступает в ближайшие соотношения с полными знаменательными глаголами и с отдельными словоформами, например: *Жил на свете рыцарь бедный* (Пушкин) / в беловом варианте *был на свете*; *Был бы отец жив, он бы тебя научил* / *Был бы отец...* / *Жил бы отец...*; *Так издавна ведется (повелось) / заведено / установлено, устроено*; *Он уходит, а я буду с тобой / останусь*; *Быть беде / беды не миновать*; *Каким я был, таким и остался / остался прежним*; – *И что же, успехи делают?... – Делают и успехи* (Л. Толстой) / – *Успехи есть? – Есть и успехи*. Регулярны также соотношения *быть* с глаголами со значением положения на месте или движения: [Рисположенский:] *...тут я вспомнил, что, должно быть, я его [дело] в погребке забыл. Поехали с экзекутером – оно там и есть* (А. Островский) / *там и лежит*; *Надобно знать, что бабушка моя, лет шестьдесят тому назад, ездила в Париж и была там в большой моде* (Пушкин) / *была, побывала в Париже*; *Будьте сегодня в семь часов в беседке у ручья* (Пушкин) / *приходите в беседку*; [София:] *Была у батюшки, там нету никого* (Грибоедов) / *Ходила к батюшке*; – *Моя*

обязанность ясно начертана для меня: я должен быть с ней и буду (Л. Толстой) / и останусь. Все такие соотношения наглядно демонстрируют различие в природе значимой стороны действительного глагола *быть* и его полнозначных соответствий, синонизирующихся с ним в условиях контекста.

Описывая глагол *быть*, толковые словари представляют его смысловую палитру как множественность лексических значений. Это естественно диктуется жанром словаря и не может быть иначе; однако знаковая природа этого глагола, его семантическая структура и его место в языке – иные, чем у собственно именующих полнозначных многозначных глаголов.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Апресян Ю.Д. 1995 – Лексикографические портреты (на примере глагола *быть*) // Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т. I: Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.

Грамматика-80 – Формы простого предложения // Русская грамматика. М., 1980. Т. II. Кузьмина И.Б., Немченко Е.В. 1968 – К вопросу об употреблении "есть" в русских говорах // Материалы и исследования по общеславянскому лингвистическому атласу. М., 1968.

Селиверстова О.Н. 1977 – Семантический анализ экзистенциальных и посессивных конструкций в английском языке // Категории бытия и обладания в языке. М., 1977.

Словарь XVIII в., 1985 – Словарь русского языка XVIII века. Вып. 2. Л., 1985.

Шведова Н.Ю. 1998 – Местоимение и смысл. М., 1998.

\* \* \*

Арутюнова Н.Д. 1976 – Бытийные предложения в русском языке // ИАН СЛЯ. 1976. № 3.

Арутюнова Н.Д. 1999 – Язык и мир человека. М., 1999.

Арутюнова Н.Д., Ширяев Е.Н. 1983 – Русское предложение. Бытийный тип (структура и значение). М., 1983.

Бальцер О.А., Горбенко В.Н. 1988 – Полисемия глагола *быть*, ее происхождение и конститутивно-информационные особенности связанных с ней лексических сочетаний // Лексические аспекты в системе профессионально-ориентированного обучения иноязычной речевой деятельности. Пермь, 1988.

Бозова С.А. 1994 – Системные семантические связи глаголов *быть* и *быва́ть* в современном русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1994.

Воейкова М.Д. 1987 – Семантическая вариативность глагольных бытийных конструкций в современном русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1987.

Глазман М.А. 1964 – Зависимость глагольной сочетаемости от лексического значения глагола (на материале глагольных связок): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Алма-Ата, 1964.

Голицина Т.Н. 1982 – Дистрибутивные свойства связочных глаголов *быть*, *являться* и их лексических омонимов // Семантика служебных слов. Межвузовский сборник научных трудов. Пермь, 1982.

Категории бытия и обладания в языке. М., 1977.

Кондратенко Г.И. 1983 – Опорные семантические компоненты лексико-семантической группы глаголов со значением бытийности и их синтагматика // Вопросы структуры предложения. Сборник научных трудов. Ульяновск, 1983.

Кондратенко Г.И. 1985 – Лексико-семантическая группа глаголов со значением бытийности (На материале глаголов нахождения): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1985.

Кузнецов А.М. 1977 – Глагол *to be* и его эквиваленты в современном английском языке // Категории бытия и обладания в языке. М., 1977.

Селиверстова О.Н. 1975 – Компонентный анализ многозначных слов (На материале некоторых русских глаголов). М., 1975.

Серова Л.К. 1972 – Диахронно-сопоставительный анализ глагола "быть" в русском и романских языках: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1982.

Теория функциональной грамматики. Локативность. Бытийность. Посессивность. Обусловленность / Под ред. А.В. Бондарко. СПб., 1996 (Гл. II: Бытийность).

Чаирова В.Т. 1991 – Русские бытийные предложения и их эквиваленты в сфере предложений характеризации: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1991.

© 2001 г. АННА А. ЗАЛИЗНЯК

**СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДЕРИВАЦИЯ В СИНХРОНИИ И ДИАХРОНИИ:  
ПРОЕКТ "КАТАЛОГА СЕМАНТИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДОВ"\***

**1. ВВЕДЕНИЕ**

Настоящее изложение опирается на три обстоятельства (два из них содержательные и одно методологическое). Все они представляют собой идеи, которые "носятся в воздухе" – в частности, в течение последних двух-трех лет они в той или иной форме звучали в ряде докладов на семинаре по теоретической семантике в ИППИ РАН под руководством Ю.Д. Апресяна (доклады Е.Э. Бабаевой, Г.И. Кустовой, Е.В. Падучевой, В.А. Плузгяна, Е.В. Урысон, Е.С. Яковлевой, и др.). Первое – это само понятие семантической деривации, второе состоит в обращении к фактам диахронии в синхронном семантическом описании. И, наконец, третье – это обстоятельство метатеоретического характера, а именно, общая тенденция к каталогизации фактов в форме баз данных. Действительно, если некоторая предыдущая эпоха занималась описанием тех или иных механизмов языка путем их моделирования, то сейчас интерес явно сдвинулся в область их объяснения, с одной стороны, и их инвентаризации – с другой (словарь стал сейчас, по-видимому, самым популярным жанром лингвистической литературы).

**1.1. ПОНЯТИЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ**

Термин "семантическая деривация", который был вновь введен в лингвистический обиход в работах [Кустова, Падучева 1994], [Падучева 1998а, б], [Кустова 1998] и др., упоминается вскользь в книге [Шмелев 1964]; в книге [Шмелев 1973; 191] отношения деривации между разными значениями слова называются "эпидигматическими". Обсуждаемый термин содержится в [Апресян 1974: 175, 187] в качестве синонима для термина "многозначность", однако практически не используется. Ссылаясь на В.В. Виноградова, Ю.Д. Апресян приводит в этом же значении термин "семантическое словообразование"<sup>1</sup>. Термин "семантическая деривация" используется также в работах по исторической семантике, например, в [Трубачев 1976]. Этот термин является, по-видимому, наиболее удачным – в частности потому, что ценой довольно незначительного насилия он может быть применен не только к процессу, но и к результату, т.е. к конкретным фактам семантических переходов, каждый из которых может быть назван "семантической деривацией". Этот термин удобен еще и потому, что он указывает на производность, не уточняя ее природы, тем самым он в равной

\* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 98-06-80111

В основу статьи положен текст доклада, прочитанного автором на семинаре по теоретической семантике в ИППИ РАН 18 сентября 1998 г., а также на заседании сектора компаративистики Института языкознания РАН. Автор благодарен всем, принявшим участие в обсуждении данной работы.

<sup>1</sup> Имеется в виду, очевидным образом, создание нового слова (= слова с другим значением), но не морфологическими, как обычно, а семантическими средствами. Однако эта внутренняя форма плохо распознается, и поэтому термин представляется неудачным.

мере применим как к синхронии, так и к диахронии. А это имеет принципиальное значение, так как обеспечивает необходимую терминологическую базу для создания некой интегральной модели, в рамках которой диахронические семантические изменения и синхронные отношения между значениями многозначного слова описывались бы при помощи одного метаязыка.

## 1.2. ОБРАЩЕНИЕ К ДИАХРОНИИ

Обращение к фактам диахронии в рамках синхронного исследования обусловлено, очевидно, происходящей в настоящий момент сменой научной парадигмы, характеризующейся установкой на объяснительность, в связи с которой "оказался преодолен негласный запрет на использование данных истории языка при синхронном анализе: ведь, в конечном счете, постоянное изменение языка является одной из существенных особенностей его функционирования, поэтому полное описание языка должно учитывать и диахронические аспекты" [Плунгян 1998: 325]. "Для когнитивной теории диахронический аспект описания языка становится едва ли не более важным, чем синхронный аспект: во многом возвращаясь к принципам лингвистики XIX в., это направление провозглашает, что для понимания того, как устроен язык, и для объяснения языковых явлений апелляция к происхождению этих фактов становится одним из основных исследовательских приемов" [Плунгян 1998: 355]. Характерно обращение к диахроническому материалу в последних работах ряда исследователей синхронной семантики – ср., например, работы [Урьсон 1998] и [Яковлева 1998], где рассматриваются многочисленные примеры того, как слово изменило свой исконный смысл, но "помнит" нечто из своего прошлого, и эта "память" влияет на его употребление. Ср., с другой стороны, понимание этимологии как науки о мотивационных связях и основах номинации в [Херберман 1999].

Можно привести еще целый ряд высказываний авторов разных направлений на тему о том, что синхронная полисемия представляет собою не что иное как проекцию диахронического развития на синхронную плоскость, или, по выражению Н.И. Толстого, "развернутую в пространстве диахронию" [Толстой 1997: 15].

"В синхроническом тождестве слова есть отголосок его прежних изменений и намеки на будущее развитие. Следовательно, синхроническое и диахроническое – лишь разные стороны одного и того же исторического процесса. Динамика настоящего – порыв в будущее. Соотношение значений в современном употреблении слова, их иерархия, их фразеологические контексты и их экспрессивная оценка – всегда заключают в себе диахронические отложения прошлых эпох" [Виноградов 1994: 17];

"Знание эволюции значения слова небезразлично для понимания его нынешней природы и структуры, поэтому суждение этимологии должно интересовать, и оно так или иначе интересует, специалиста по современной лингвистической семантике. иначе проигрывает лингвистическая семантика" [Трубачев 1976: 148];

"...разрыв между синхронией и диахронией в области лексической семантики представляется искусственным... Вместе с тем, очевидно назревшая необходимость последовательного сближения синхронных и диахронных семасиологических исследований" [Бабаева 1998: 94];

"То, что обращение к историческому прошлому слова может помочь в уяснении его смысла, закономерностей употребления и на синхронном уровне, не нуждается в особых доказательствах" [Яковлева 1998: 43]<sup>2</sup>,

и т.п.

Можно было бы возразить, что семантические компоненты, представляющие "память слова", "культурную память" и т.п., присутствуют в значении слова импли-

<sup>2</sup> Это при том, что еще относительно недавно идея обращения к диахронии в синхронном описании воспринималась как "еретическая" (ср. выражение "негласный запрет" в цитированном выше высказывании В.А.Плунгяна).

цитно и обнаруживают себя лишь при каких-то специальных условиях – обычно под давлением контекста и прежде всего при употреблении языка в поэтической функции по Якобсону, т.е. в поэзии, в речевых играх и т.п. Действительно, учет этих факторов в какой-то мере является вопросом общей идеологической установки исследователя. Однако даже если считать необходимым – и возможным – жестко отграничить изучение коммуникативной функции языка от поэтической, то как быть с тем, что помимо перечисленных выше "тонких" обстоятельств, имеется такое банальное, как, например, словообразование, в котором последовательно и регулярно сохраняется старое значение слова (факт более чем общеизвестный, однако сторонниками резкого противопоставления синхронии и диахронии почему-то игнорируемый)?

Итак, отношения семантической производности, связывающие между собой разные значения одного слова на уровне синхронной полисемии, и отношения между значениями слова в разные моменты его истории представляют собой одно и то же явление, которое мы будем называть *семантической деривацией*. Наибольший интерес для нас представляют случаи регулярной семантической деривации, воспроизводимой независимо в истории разных слов и разных языков. Примером такой регулярно воспроизводимой семантической деривации может служить неоднократно обсуждавшийся переход

№ 1. 'схватить' → 'понять',  
произошедший исторически, например, в русском глаголе *понять*, лат. *comprehendo* и *concipio*, итал. *capire* и воспроизведенный в англ. *to catch, to capture* и франц. *saisir* и др. в форме синхронной полисемии.

Менее тривиальный пример – семантическая деривация

№ 2. 'пустой' → 'тщетный'.

Она представлена, в частности, в историческом семантическом развитии русского слова *тщетный* (ср. [Шимчук 1991]); одновременно семантическая деривация 'пустой' → 'тщетный' воспроизводится в форме синхронной полисемии, например, русского слова *пустой*, ср. *пустая затея, впустую*; ср. также полисемию лат. *vanum*.

Однако чуть более внимательный анализ материала показывает, что задача объединения синхронных и диахронических отношений семантической деривации является в некотором смысле искусственной. На самом деле проблема скорее в обратном – как их различить (к счастью, нам не предстоит ее решать). Дело в том, что между диахронической и синхронной семантической деривацией имеются промежуточные случаи, и граница здесь в достаточной мере условна. Так, если для неисключенного носителя русского языка слово *понять*, по-видимому, не связывается с *поймать* и вообще с идеей 'схватить' (т.е. здесь мы имеем дело с чисто диахронической деривацией), то глаголы *уловить* и *схватывать*, которые тоже содержат семантическую деривацию № 1 (ср.: *я не уловил смысла его слов; он схватывает все на лету*) безусловно однозначно ассоциируются с *ловить* и *схватить*. При этом глаголы *ловить* и *схватить* имеют в современном языке только "прямое", а *уловить* и *схватывать* – только "переносное" значение<sup>3</sup>. Тем самым, трудно сказать, имеем ли мы в данном случае дело с синхронной или диахронической семантической деривацией.

<sup>3</sup> Точнее говоря, глагол несов. вида *схватывать* в некоторых значениях (напр., о судороге) образует "тривиальную" видовую пару с глаголом *схватить* (т.е. он может иметь то же значение, что *схватить*, но только в контексте многократности и настоящего исторического). Ср. другие примеры семантической деривации в имперфективном члене тривиальной видовой пары: *утонуть* – *утопать*, *взять* – *взимать*, *явиться* – *являться* (*чем-то*), *упиться* – *упиваться* (*чем-то*) [Зализняк, Шмелев 2000: 62–64], а также ниже, семантические деривации №№ 17, 18.

Идея о том, что синхронные отношения между разными значениями многозначного слова и отношения между исходным и производным значением слова в диахронии представляют собой две стороны одного явления, неоднократно эксплицитно высказывалась разными авторами (О.Н. Трубачев, В.В. Виноградов, Н.И. Толстой и др.) и фактически лежит в основе всех историко-лингвистических исследований, в том числе этимологии – ср. прежде всего понятие "семантической параллели".

Поскольку понятие "семантической параллели" необычайно важно для дальнейшего обсуждения, позволим себе напомнить, что так называют факт аналогичного семантического развития слова с тем же значением в другом языке. Понятие семантической параллели традиционно используется в этимологии как аргумент в пользу предлагаемого этимологического сближения. Так, например, [Трубачев 1976] русское слово *наглый*, имеющее диалектное значение 'чистый, настоящий' возводится к слав. \**nag-* 'голый', подкрепляя эту этимологию фактом наличия у немецкого слова *bar* значений 'голый' (ср. *barfuß* 'босоногий') и 'чистый, настоящий' (ср. *Bargeld* 'наличные деньги').

Однако как теоретическая разработка этой идеи, так и ее практическое осуществление в настоящее время находится лишь в самой начальной фазе: мне известны только две работы, где проводится систематическое сопоставление фактов параллельного семантического развития. Первое – это книга [Яворская 1992], где содержится анализ довольно большой группы русских прилагательных в сопоставлении с английскими с точки зрения установления параллелей в структуре многозначности – как в синхронном, так и в диахроническом аспекте. Второе – ономаσεологический словарь [Schröpfer 1979]. Близкая идея (точнее, ее диахроническая часть) положена в основу "Исторического словаря русского языка", замысел которого принадлежит Д.Н. Шмелеву, и над которым в настоящее время работает группа сотрудников Института русского языка [Бабаева, Журавлев, Макеева 1997]. В книге [Виноградов 1994] содержится масса фактов из семантической истории русских слов. С другой стороны, имеется множество работ, где упоминаются отдельные факты сходного семантического развития слов разных языков. Однако никакого обобщающего труда, где все эти факты были бы сведены вместе и представлены в едином формате, не существует.

Замысел "Каталога семантических дериваций" (который в дальнейшем может быть превращен в базу данных) состоит в следующем. В исходной точке работы мы отказываемся от каких-либо построений объяснительного и даже классификационного характера. Каталог преследует чисто фактографическую цель: представление в явном виде и систематизация уже установленных фактов семантической деривации. Таким образом, ни причины, ни сами механизмы семантической деривации не исследуются: каталог создает лишь информационную базу для решения этих задач, а также некоторых других – в частности, он может послужить задаче нахождения семантического критерия реконструкции.

Этот каталог может быть в дальнейшем использован также для решения задач типологического характера, в конечном счете – для построения некой семантической типологии на основе выявления наиболее устойчивых семантических соотношений, существующих одновременно в нескольких языках и/или многократно воспроизводимых на протяжении истории одного языка. Каталог семантических дериваций может послужить также базой для установления фактов семантического калькирования (т.е. заимствования производного значения). Основой исследования является материал русского и ряда европейских языков.

Таким образом, основной пафос данной работы состоит не в классификации и типов семантических изменений (что проделывалось многожды на протяжении всего

XIX в. и отчасти XX в. и дало в общем-то довольно неутешительные результаты)<sup>4</sup>, а в их инвентаризации.

Идея подобной инвентаризации семантических дериваций также не является полностью новой. В 1964 г. О.Н. Трубачев, опираясь, в значительной степени, на идеи, изложенные в известной статье Э. Бенвениста [Benveniste 1954] (ознаменовавшей собой новый этап развития исторической семантики, а именно, появление новой области – семантической реконструкции), выдвинул идею создания "Словаря семантических переходов". Этот словарь был задуман как чисто диахронический и должен был служить целям этимологии – обеспечивать семантический критерий реконструкции. Этот замысел, однако, ни в какой форме не был осуществлен. Независимо сходный проект был выдвинут немецким ученым Й. Шрёпфером [Schröpfer 1956].

## 2. УСТРОЙСТВО КАТАЛОГА

Единицей каталога является семантическая деривация, понимаемая как двусторонняя сущность, т.е. единица, имеющая план содержания и план выражения: первый представляет собой пару смыслов, связанных отношением семантической производности ('a' ↔ 'b')<sup>5</sup>, второй – множество реализаций данного семантического перехода, т.е. списком слов, в которых он представлен<sup>6</sup> – синхронно или диахронически (поскольку, как уже было сказано, здесь нет жесткой границы, это различие не отмечается). Например:

№ 3. 'стоять' ↔ 'стойть'

др.-русск. *стояти* НСВ/*стати* СВ 'стоять', 'стойть'

русск. *стойть* (восходит к *стоять* [Крысько 1997])

русск. *стать* (во что бы то ни стало; это тебе дорого станет)

лат. *constare* 'стойть' от *stare* 'стоять'

(значение 'стойть' есть и у бесприставочного *stare*)

греч. καθίστημι 'ставит', 'стойть' [Крысько 1997: 91]

№ 4. 'плохой' ↔ 'злой':

русск. *зло* ('плохое'); *злой* ('злой')

нем. *das Böse* ('зло' = 'плохое'); *böse* ('злой')

итал. *cattivo* ('плохой'; 'злой')

франц. *mauvais* ('плохой'; 'злой') [Гак 1997: 49]

исп. *malo* ('плохой'; 'злой') [Гак 1997: 49]

### 2.1. НАПРАВЛЕНИЕ СТЕЛКИ

Как уже говорилось, семантическая деривация обозначается при помощи семантической записи двух значений и стрелки между ними (кроме того, в левой части возможен еще некоторый оператор над значением – обычно приставка, см. ниже). В качестве метаязыка используется семантический язык, максимально приближенный к естественному, т.е. для записи значения по возможности выбирается такое слово русского языка, у которого нужное значение является единственным или основным. В случае, когда направление семантического развития не устанавливается однозначно, используется двусторонняя стрелка, указывающая просто на тот факт, что 'a' и 'b' являются значениями одного слова (при этом слева стоит то значение, которое с

<sup>4</sup> Неутешительные в том смысле, что никаких общих законов здесь установить не удалось: было обнаружено, что возможно как сужение, так и расширение значения, развитие как от более конкретного к более абстрактному, так и наоборот, добавление и вычеркивание семантических компонентов и т.д. (см. обсуждение этой проблемы в [Kleparsky 1986]).

<sup>5</sup> О направлении стрелки см. раздел 2.1.

<sup>6</sup> В случае, когда наличие у данного слова данного значения не очевидно, дается ссылка на источник.

большей вероятностью является исходным). Если направление семантической деривации устанавливается однозначно, то используется односторонняя стрелка. Вообще направление семантической деривации – вещь далеко не очевидная, с одной стороны и, вообще говоря, не столь уж существенная – с другой. В связи с этой проблемой приведем следующий пример.

№ 5. 'быстро передвигаться' ↔ 'течь'  
др.-русск. *течи* 'быстро передвигаться', 'течь'  
русск. *течь* 'течь', 'плавно передвигаться'  
Ср. *стечение народа (обстоятельств)*, *наутек*; *течение времени*, *скоротечный*, *быстротекущий*, *текущий момент*.

Современный язык квалифицирует это соотношение как метафорический перенос в направлении 'а' ← 'б', в то время как исторически, т.е. реально, здесь имел место переход 'а' → 'б' (спецификация, сужение значения).

## 2.2. РЕАЛИЗАЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ

Что считается реализацией данной семантической деривации? Здесь возникает проблема тождества слова – поскольку имеются в виду только значения одного и того же слова. Когда речь идет про слово одного языка определенного синхронно-среза (случай 1), здесь никаких особых трудностей не возникает. Несколько сложнее обстоит дело в случае диахронического тождества внутри одного языка (случай 2), хотя здесь тоже могут возникать лишь какие-то частные проблемы: в целом, если слово (физически) сохранилось, то такое отождествление не представляет особых трудностей. Более существенные трудности возникают при наличии данных двух значений у одного слова в двух близкородственных языках (случай 3).

Итак, случай (1): *п о л и с е м и я*, т.е. наличие данного семантического соотношения между двумя значениями некоторого слова некоторого языка, например, семантическая деривация

№ 6. 'женщина' ↔ 'жена',  
представленная во франц. слове *femme*, в нем. *Frau* и др.

Случай (2): *д и а х р о н и ч е с к и й с д в и г*, т.е. изменение значения, переход 'а' → 'б'; например, та же семантическая деривация № 6, представленная в русском слове *жена*.

На самом деле, точнее было бы говорить не о семантическом переходе 'а' → 'б', а об утрате значения 'а', как, например, в русском слове *жена* (утратившем в современном русском языке значение 'женщина'). Однако, как известно, полностью старое значение никогда не исчезает: оно остается как минимум в словообразовании (ср. *женский*, *женолюб*, *женоненавистник*, *женоподобный* – все эти слова соотносятся со значением 'женщина', а не 'жена') – но отчасти даже и в словоизменении (ср. форму *лет* – род. множ. от *лето* в устаревшем значении 'год' – выступающую, в ряде контекстов, в функции род. множ. от слова *год*, ср. *один год*, но *пять лет*). Это опять приводит нас к выводу о том, что между синхронной и диахронической семантической деривацией нет четкой границы.

Случай (3): наличие данных двух значений у одного слова (= слов, произошедших из одного слова) в двух близкородственных языках (явление, известное под названием "ложных друзей переводчика"), например:

№ 7. 'надеяться' ↔ 'ждать'  
франц. *espérer* 'надеяться' и исп. *esperar* 'ждать';

№ 8 'слышать' ↔ 'понимать'  
франц. *entendre* 'слышать' и исп. *entender* 'понимать'.

Ср. также церковнославянско-русские паронимы [Седакова 1992–95].

Для русского языка здесь возникает, кроме того, специфическая проблема церковнославянско-русских этимологических дублетов (*глава-голова, страна-сторона* и т.п.), которые, по-видимому, в нужном нам смысле следует считать одним словом.

Что же, наоборот, не является семантической деривацией?

Поскольку отношение семантической деривации устанавливается внутри одного слова (или между словами, восходящими к одному источнику), не является семантической деривацией то, что происходит из разных источников, т.е. случаи *о м о н и м и и* – по крайней мере, возникшей в результате совпадения исходно разных слов (типа русского *лук*). Несколько сложнее обстоит дело со случаями типа *топить* (промежуточными между омонимией и полисемией)<sup>7</sup>; в таких спорных случаях аргументом в пользу полисемии могло бы быть наличие аналогичного соотношения в каком-то другом языке. Не относятся к области семантической деривации также некоторые случаи полисемии, в частности, полисемия приставочных образований, возникающая за счет полисемии приставки, типа *залечить* <рану> и *залечить* <человека> (= ‘причинить ущерб лечением’); *мясо уварилось* (= ‘уменьшилось в размере в результате варки’ и ‘хорошо сварилось’) и т.п., так как в таких случаях обычно следует обсуждать полисемию самой приставки, а не приставочных глаголов. Так, например, пара русск. *запомнить* и польск. *zarotnieć* ‘забыть’ не дает основания для постулирования семантической деривации ‘запомнить’ ↔ ‘забыть’, в то время как между соответствующими значениями приставки *за-* определенное отношение семантической деривации может быть установлено. Более того, семантическая деривация приставки иногда даже более отчетливо демонстрирует некоторые общие тенденции – ср. переход ‘перестать быть видимым’ → ‘перестать существовать’ в значении приставки *у-* (ср. [Зализняк 1995; 2000]).

Однако и среди того круга явлений, которые относятся к семантической деривации, следует провести некоторые разграничения, позволяющие выделить ядерную и периферийные зоны.

### 2.3. ОГРАНИЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Назначение нашего каталога состоит в инвентаризации фактов семантической деривации – однако все же не всех, а таких, которые обладают свойством повторяемости, т.е. к которым можно было бы обращаться при установлении новых таких фактов. Поэтому в центре внимания находятся случаи *регулярной* семантической деривации. С другой стороны, ограничение материала задается *масштабом* семантического сдвига: чтобы инвентаризация имела смысл, “расстояние” между значением должно быть не слишком большим и не слишком маленьким. Изложим подробнее эти принципы.

#### 2.3.1. СТЕПЕНЬ РЕГУЛЯРНОСТИ

Итак, нас интересуют в первую очередь регулярные семантические деривации. В каталог не включаются семантические сдвиги, произошедшие в силу случайных причин, каких-то казусов – как лингвистического, так и экстралингвистического свойства. Примером первого может служить семантическая эволюция русского слова *довлеть*, которое в современном языке приобрело значение ‘психологически давить, тяготеть’ – одновременно с появлением управления (<*над кем-то*>). Этот сдвиг произошел, очевидно, в результате действия аналогии со стороны словообразовательной модели, представленной в словах типа *терпеть – терпение, стареть – старение* и т.п., под влиянием которой возникла пара *довлеть – давление* (чередование *о/а* в глагольных основах достаточно распространено). В основе семантического развития

<sup>7</sup> Обсуждение разных значений глагола *топить* и их функционального соотношения см. в [Апресян 1974; Трубачев 1976].

слова *довлеть* лежит, таким образом, случайное обстоятельство – фонетическое сходство основ со значением ‘давить’ и ‘быть достаточным’ (тем самым это не есть собственно семантическая деривация – скорее вытеснение одного значения другим).

На другом полюсе находятся семантические деривации, обладающие наибольшей регулярностью. Сюда относятся некоторые из семантических дериваций, происходящих при грамматикализации значений, выражаемых исходно лексическими средствами, – таких как ‘держатъ’ → ‘иметь’, ‘хотеть’ → [вспомогательный глагол в буд. времени]; развитие эпистемического значения у модальных глаголов *может* и *должен*, метафорический перенос у прилагательных типа *высокий* и *низкий*, *светлый* и *темный*, синэстетические сдвиги у слов типа *мягкий*, *сладкий*, *яркий*, *острый* и некоторые другие. Подобные семантические деривации могут быть отражены в каталоге не в самую первую очередь – поскольку их существование и так хорошо известно.

Итак, в центре нашего внимания находятся регулярные, и при этом нетривиальные семантические сдвиги, воспроизводимые в разных языках и/или в разных словах одного языка. Возникает вопрос: как опознать семантические деривации, удовлетворяющие данным условиям? Самое простое – ввести требование, чтобы для каждой каталогизируемой семантической деривации приводилось как минимум две ее реализации. Например, для деривации

№ 9. ‘время’ ↔ ‘погода’

имеются реализации:

франц. *temps* ‘время’, ‘погода’

сербохорв. *vreme* ‘время’, ‘погода’ [Голстой 1997б: 50]

русс. *время* в языке Пушкина, имевшее значение не только ‘время’, но и ‘погода’, ср.: “Барин, не прикажешь ли воротиться? [...] *Время* ненадежно: ветер слегка подымается; вишь, как он сметает порошу” (“Капитанская дочка”). Значение ‘погода’ впоследствии было утрачено<sup>8</sup>.

В связи с этим примером естественно возникает подозрение, не является ли значение ‘погода’ у русского слова *время* семантической калькой с французского. На проблеме семантического калькирования мы остановимся позднее (раздел 2.4); пока отметим лишь, что даже если это калька, то это не означает, что такое слово не следует включать в каталог – хотя бы потому, что факт калькирования часто бывает невозможно или очень трудно установить. Однако это обстоятельство несколько “размывает” требование, чтобы реализаций у каждой семантической деривации было как минимум две, поскольку они могут оказаться просто репродукцией одной и той же реализации. Аналогичная репродукция, помимо семантического калькирования, происходит при обычном заимствовании (ср. семантическую деривацию № 13), а также в близкородственных языках, когда каждое из слов-потомков просто наследует полисемию, присутствовавшую в слове-предке. С другой стороны, может так оказаться, что вторая реализация, необходимая для включения некоторой семантической деривации в каталог, просто пока “не встретилась”. По этим двум причинам требование о необходимости как минимум двух реализаций для каждой семантической деривации не является жестким.

### 2.3.2. МАСШТАБ ИЗМЕНЕНИЙ

Очень важным является вопрос о “масштабе” рассматриваемых семантических дериваций, т.е. о величине расхождения между значениями. Дело в том, что между двумя членами отношения семантической деривации может быть различная смысловая

<sup>8</sup> В первых двух примерах здесь представлена, очевидно, синхронная деривация. Что же касается русского *время*, то для языка пушкинской эпохи это тоже синхронная деривация, а для русского языка в целом, очевидно, диахроническая (тем самым, язык пушкинской эпохи предстает в данном отношении как “другой” по отношению к современному русскому языку).

дистанция. Оптимальной (для наших целей) представляется приблизительно та дистанция, которая разделяет значения одного слова в традиционных толковых (или двуязычных) словарях – что примерно соответствует критерию Куриловича (разными считаются такие значения, которые имеют разные синонимичные однословные выражения). Имеются в виду рамки "обычных" отношений полисемии; они противопоставлены, с одной стороны, омонимии, а с другой стороны – "подзначением" (т.е. вариантам внутри нумеруемых значений). Семантическая деривация большей дистанции – то, чем оперирует этимология и вообще реконструкция: ср. знаменитый пример семантической реконструкции Бенвениста для франц. глагола *voler*, имеющего значение 'лететь' и 'красть', которые являются в современном языке омонимами, но их единство может быть восстановлено в употреблении типа *le faucon vole la perdrix* "сокол преследует и ловит на лету куропатку", букв. "сокол *летит* куропатку" [Бенвенист 1974: 333]. Наоборот, меньшая дистанция имеется между значениями, различающимися набором или статусом актантов: *Гусар звенел шпорами и шпоры звенели*, *Юбка метет по мостовой, нож хорошо режет* (деривация этого масштаба исследуется, в частности, в работах Е.В. Падучевой, Р.И. Розиной и Г.И. Кустовой в рамках системы "Лексикограф", задачей которой является создание своего рода порождающей модели для глагольной полисемии). Разумеется, обе эти границы в значительной степени условны, но так или иначе можно сказать, что в каталог попадают семантические деривации "средней" дистанции.

Включению в рассмотрение семантических дериваций больших и малых дистанций препятствуют следующие обстоятельства: семантические деривации больших дистанций преимущественно являются результатом реконструкции, т.е. содержат элемент гипотетичности; на первом этапе такие семантические деривации имеют смысл исключить из рассмотрения, чтобы не смешивать информацию различной степени точности. Что же касается, наоборот, малых дистанций, то это – материал для решения другой задачи. Если, например, в системе "Лексикограф" исследуются закономерности семантической деривации внутри определенных классов слов, то в нашем каталоге – индивидуальные изменения значений. При этом в нашей системе закономерность ищется не индуктивно (путем выявления семантического механизма деривации), а, так сказать, эмпирически – она вытекает из самого факта повторяемости данного семантического перехода, его независимого воспроизведения в разных языках в разные эпохи.

Важно также подчеркнуть, что объектом каталогизации являются изменения именно значений, а не семантических компонентов или семантических признаков. Поэтому " типовые " семантические деривации – например, различие процессного и стативного значения таких глаголов как *думать*, *говорить*, *изображать*, *загораживать* (т.е. категориальные, типовые, повторяющиеся внутри классов слов сдвиги), как и метонимии типа "вместилище – его содержимое" в каталог не включаются. Это – другая задача (и в частности, она не предполагает межъязыкового отождествления).

Итак, речь идет лишь об изменении индивидуальных значений слов – но только тех, которые многократно воспроизводятся, что доказывает неслучайный характер этих изменений.

#### 2.4. ПРОБЛЕМА СЕМАНТИЧЕСКОГО КАЛЬКИРОВАНИЯ

Последнее утверждение требует одной очень важной оговорки. Дело в том, что воспроизведение некоторой семантической деривации разными языками может быть обусловлено не параллельным (независимым) семантическим развитием, а заимствованием этого производного значения – т.е. результатом семантического калькирования. При этом установление факта калькирования – совершенно отдельная процедура, требующая применения других (историко-филологических) методов анализа, что выходит за рамки нашей задачи. (Блестящие образцы такой работы мы находим, например, в исследованиях В.В. Виноградова по "истории слов".)

Собственно лингвистическими методами могут быть выявлены лишь случаи "подозрительного" сходства. Ср., например, сходную внутреннюю форму слова со значением 'поезд' в немецком, польском и чешском языках<sup>9</sup>, наводящую на мысль о калькировании:

№ 10. [от 'тянуть'] → 'поезд'

нем. *Zug*

польск. *ociąg*

чешск. *vlak*

Другой пример: "семиотическое" значение у глагола *говорить* 'означать' (*это говорит о его смелости*), которое появилось в русском языке в начале XIX в. – возможно, под влиянием французского, где это значение (у глагола *dire*) появилось значительно раньше (*qu'est ce que ça veut dire?*):

№ 11. 'говорить' → 'означать'

русск. *говорить*

франц. *dire*

нем. *sagen*

греч. *λέγω*

Возможно, результатом калькирования является наличие у глагола со значением 'обнаруживать' производного значения 'придерживаться мнения', ср.:

№ 12. 'обнаруживать' → 'придерживаться мнения':

русск. *находить*

франц. *trouver*

итал. *trovare*

англ. *to find*

нем. *finden*.

В следующем примере слово было заимствовано (в древнеанглийский из старофранцузского), очевидно, уже с присущей ему многозначностью:

№ 13. 'пленный' → 'плохой':

лат. *captivus* ('пленный'), итал. *cattivo* ('плохой')

лат. *captivus* ('пленный'), франц. *chétif* ('плохой') [Будагов 1963]

др.-англ. *caitiff* ('пленный', 'плохой') [Kleparski 1986].

Впрочем, окончательно установить факт семантического калькирования удается довольно редко. Это возможно лишь в случае, когда тому имеются какие-то свидетельства – так, например, известно, что слово *трогать* в значении 'воздействовать на чувства' появилось впервые у А.П. Сумарокова под воздействием франц. *toucher* [Виноградов 1994: 810]. Однако достаточно часто вопрос о том, является ли сходство семантической деривации результатом независимого развития или семантического калькирования, остается без окончательного ответа. Более того, для языков, которые находятся между собой в постоянном контакте, граница между этими двумя явлениями до некоторой степени стирается (подобно тому, как в тесном научном коллективе порой трудно бывает установить, кто первый придумал некоторую ставшую впоследствии популярной идею). Тем самым некоторое "подозрение" в несамостоятельности той или иной семантической деривации имеется почти всегда, и нет ни возможности, ни смысла такие случаи исключать из рассмотрения: заимствование производного значения, если оно удерживается в заимствовавшем языке, есть подтверждение "жизнеспособности", соответствующей семантической деривации. С другой стороны, бывает и так, что сам факт калькирования представляется практически бесспорным, однако его направление не очевидно (ср. № 12).

<sup>9</sup> О семантической деривации с участием словообразования см. раздел 2.5.2.

Как уже говорилось, семантическая деривация представляет собой двустороннюю сущность; ее планом содержания является некоторая пара смыслов, вступающих в определенное отношение; планом выражения – полисемичное слово, где это отношение представлено. Помимо этих "образцовых" случаев, имеются некоторые типичные отклонения.

## 2.5.1. МНОГОЧЛЕННЫЕ ДЕРИВАЦИИ

Прежде всего, довольно часто бывает так, что слово имеет более двух значений, и при этом отношения между ними удовлетворяют изложенным выше условиям. В таких случаях в принципе возможны разные решения, однако оптимальным по-видимому является решение, при котором в качестве основного способа представления полисемии используется множество "стандартных" двучленных дериваций, например:

№ 14. 'идти в неопределенном направлении' → 'идти в неправильном направлении'  
лат. *errare*

др.-русск. *блудити*

№ 15. 'идти в неправильном направлении' → 'ошибаться'  
лат. *errare*

др.-русск. *блудити*

№ 16. 'ошибаться' → 'предаваться разврату'  
лат. *errare*

др.-русск. *блудити*

№ 17. 'идти в неопределенном направлении' → 'предаваться разврату'  
русск. *блудить-блуждать*

№ 18. 'идти в неправильном направлении' → 'ошибаться'  
русск. *заблудиться/заблуждаться*<sup>10</sup>

и т.д.

Та же информация может быть представлена в сводной таблице<sup>11</sup>:

Таблица 1

	лат. <i>errare</i>	др.-русск. <i>блудити</i>	русск. <i>блудить</i>	русск. <i>блуж- дать</i>	русск. <i>заблу- диться</i>	русск. <i>заблуж- даться</i>
'идти в неопред. направл.'	+	+		+		
'идти в неправ. направл.'	+	+			+	
'ошибаться'	+	+				+
'предаваться разврату'		+	+			

<sup>10</sup> Поскольку *блуждать* является морфологическим имперфективом к *блудить*, а *заблуждаться* – к *заблудиться*, в некотором смысле каждая пара глагола является одним словом.

<sup>11</sup> В первых двух колонках отражены типы синхронной семантической деривации лат. глагола *errare* и др.-русск. глагола *блудити*. Для всех остальных глаголов речь идет о той же семантической деривации в диахронии.

Такого рода таблица в типологическом отношении является даже более информативной, выявляя картину того, как по-разному членят языки одну и ту же концептуальную сферу. Ср.:

Таблица 2

	‘человек’	‘мужчина’	‘муж’
англ.	<i>man</i>	<i>man</i>	<i>husband</i>
франц.	<i>homme</i>	<i>homme</i>	<i>mar</i>
итал.	<i>uomo</i>	<i>uomo</i>	<i>marito</i>
нем.	<i>Mensch</i>	<i>Mann</i>	<i>Mann</i>
шведск.	<i>maniska</i>	<i>man</i>	<i>man</i>
др.-русс.	<i>человѣкъ</i>	<i>моужь</i>	<i>моужь</i>
русс.	<i>человек</i>	<i>мужчина</i>	<i>муж</i>

В этой таблице сведена информация о следующих семантических деривациях:

№ 19 ‘человек’ ↔ ‘мужчина’

англ. *man*

франц. *homme*

итал. *uomo*

№ 20 ‘мужчина’ ↔ ‘муж’

нем. *Mann*

шведск. *man*

др.-русс. *моужь*

русс. *муж*

Из таблицы 2, в частности, видно, что среди семи сравниваемых языков русский занимает уникальное положение в том отношении, что все три смежных смысла – ‘человек’, ‘мужчина’ и ‘муж’ – выражаются в нем разными словами.

### 2.5.2. СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДЕРИВАЦИЯ С УЧАСТИЕМ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

Другое обстоятельство, затрудняющее инвентаризацию семантических дериваций, заключается в том, что часто семантическая деривация реализуется одновременно с морфологической – или, другими словами, что искомое семантическое соотношение устанавливается не в пределах одного слова, а между двумя словами, связанными какими-то словообразовательными отношениями. Один такой пример уже был приведен выше (№ 10): в немецком языке от глагола *ziehen* ‘тянуть’ образовано слово *Zug* ‘поезд’ (т.е. буквально ‘тянущий’). В таких случаях, отбрасывая все детали (т.е. сам путь как морфологической, так и семантической деривации), в левой части мы указываем только значение мотивирующей основы. Например:

№ 21. [от ‘жить’] → ‘сильное чувство’

русс. *переживать*

нем. *Erlebnis* (‘переживание’).

Существуют и другие факторы, осложняющие вычленение семантических дериваций. Возникающих на этом пути препятствий так много, что задача оказалась бы вообще неразрешимой, если бы не то обстоятельство, что для целей межъязыкового отождествления семантических дериваций последние должны быть представлены в максимально упрощенной, освобожденной от деталей форме.

Каталог семантических дериваций, построенный согласно изложенным принципам, рассчитан на то, что он будет постоянно пополняться новыми единицами; одновременно будет уточняться и метаязык описания. На определенном уровне формализации способов представления информации каталог сможет быть превращен в базу данных.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян Ю.Д. 1974 – Лексическая семантика. М., 1974.
- Бабаева Е.Э. 1998 – Кто живет в вертепе, или опыт построения семантической истории слов // ВЯ. 1998. № 3.
- Бабаева Е.Э., Журавлев А.Ф., Макеева И.И. 1997 – О проекте "Исторического словаря современного русского языка" // ВЯ. 1997. № 2.
- Будагов Р.А. 1964 – Сравнительно-семасологические исследования. Романские языки. М., 1964.
- Виноградов В.В. 1994 – Слово и значение как предмет историко-лексикологического исследования // В.В. Виноградов. История слов. М., 1994.
- Гак В.Г. 1997 – Типология аналитических форм глагола в славянских языках // ВЯ. 1997. № 2.
- Зализняк Анна А. 1995 – Опыт моделирования семантики приставочных глаголов в русском языке // Russian linguistics. V. 19. 1995.
- Зализняк Анна А. 2000 – Русская приставка у-: когнитивная модель семантической деривации // First annual conference of the Slavic cognitive linguistic association, Chapel Hill, North Carolina, November 3–4, 2000.
- Зализняк Анна А., Шмелев А.Д. 2000 – Введение в русскую аспектологию. М., 2000.
- Кустова Г.И. 1998 – Производные значения с экспериенциальной составляющей // Семиотика и информатика. Вып. 36. М., 1998.
- Кустова Г.И., Падучева Е.В. 1994 – Словарь как лексическая база данных // ВЯ. 1994. № 4.
- Крысько В.Б. 1997 – *Verba pretii* в истории русского и других славянских языков // ВЯ. 1997. № 2.
- Падучева Е.В. 1998а – О семантической деривации: слово как парадигма лексем // Русский язык в его функционировании. Третьи Шмелевские чтения, 22–24 февраля 1998. Тезисы докладов международной конференции. М., 1998.
- Падучева Е.В. 1998б – Парадигма регулярной многозначности глагола звука // ВЯ. 1998. № 5.
- Плунгян В.А. 1998 – Проблемы грамматического значения в современных морфологических теориях // Семиотика и информатика. Вып. 36. М., 1998.
- Седакова О.А. Материалы к учебнику церковнославянского языка. Церковнославянско-русские паронимы // Славяноведение. 1992. № 5–1995. № 2.
- Толстой Н.И. 1997 – Избранные труды. Т. 1. М., 1997.
- Трубачев О.Н. 1964 – 'Молчать' и 'таять'. О необходимости семасологического словаря нового типа // Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964.
- Трубачев О.Н. 1976 – Этимологические исследования и лексическая семантика // Принципы и методы семантических исследований. М., 1976.
- Урысон Е.В. 1998 – Языковая картина мира vs. обиходные представления (модель восприятия в русском языке) // ВЯ. 1998. № 2.
- Херберман К.-П. Компаративные конструкции в сравнении. К вопросу об отношении грамматики к этимологии и языковой типологии // ВЯ. 1998. № 2.
- Шимчук Э.Г. 1991 – Из истории лексики, связанной с духовным миром человека (др.-русская тьска и его окружение) // Историко-культурный аспект лексикологического описания. Вып. 1. М., 1991.
- Шмелев Д.Н. 1964 – Очерки по семасологии русского языка. М., 1964.
- Шмелев Д.Н. 1973 – Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973.
- Яворская Г.М. 1992 – Лексико-семантическая типология в синхронии и диахронии. Киев, 1992.
- Яковлева Е.С. 1988 – О понятии "культурная память" в применении к семантике слова // ВЯ. 1998. № 3.
- Benveniste E. 1954 – Problèmes sémantiques de la reconstruction // Word. V. X. № 2–3. (русск. пер.: Э. Бенвенист. Общая лингвистика. М., 1974).
- Kleparski G. 1986 – Semantic change and componential analysis; an inquiry into pejorative development in English // Eichstätter Materialien. Bd. 9. Abteilung Sprache und Literatur 4. Regensburg, 1986.
- Schröpfer J. 1956 – Wozu ein vergleichendes Wörterbuch des Sinnwandels? – Proceedings of the Seventh International congress of linguists (London 1952). London, 1956.
- Schröpfer J. 1979 – Wörterbuch der vergleichenden Bezeichnungslehre. Onomaseologie. Bd. 1. Heidelberg, 1979.

© 2001 г. Б. ВИМЕР

## АСПЕКТУАЛЬНЫЕ ПАРАДИГМЫ И ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКИХ И ЛИТОВСКИХ ГЛАГОЛОВ

### ОПЫТ СОПОСТАВЛЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛЕКСИКАЛИЗАЦИИ И ГРАММАТИКАЛИЗАЦИИ\*

"...признак непосредственной формальной выраженности не является, строго говоря, ни достаточным, ни необходимым для признания того или иного значения грамматическим"

[Булыгина 1980: 331]

#### 0. ВСТУПЛЕНИЕ

Работ, посвященных славянскому, в частности русскому, виду, легион. Работ, в которых освещается связь между видовой системой и лексическим содержанием глаголов, уже меньше, но их число тем не менее внушительно. В настоящей статье, обращаясь к проблеме соотношения между аспектуальными функциями и вариативностью лексического значения, я предлагаю последовательно разграничить явления, относящиеся к грамматикализации, и явления, представляющие собой скорее результаты лексикализации. Разграничение этих двух во многом родственных явлений необходимо для правильного понимания того, как пробегало диахроническое развитие видовой системы в русском и польском языках. В этом разграничении заключается первая задача. Вторая задача работы – показать, чем современное состояние видовой системы в русском языке отличается, например, от функционирования глагольной морфологии в современном литовском языке, в котором сохранилось много черт, характерных для более ранних стадий эволюции глагольной морфологической системы в севернославянских языках. В существующих сопоставлениях литовского языка с тем или иным славянским языком сравнивались только морфологические факты как таковые, а если некоторыми авторами сопоставительный анализ велся и с функциональных точек зрения, то он оказался чересчур выборочным, и сделанные наблюдения ни в коем случае не соотносились с исследованиями по грамматикализации, которые появились за последние 30 лет. Наконец, третья задача статьи состоит в том, чтобы показать, какую пользу для понимания диахронического развития видовой системы в

\* Автор искренне благодарен целому ряду людей, которые тем или иным образом внесли вклад в предлагаемую работу. В первую очередь автор обязан Ольге Юрьевне и Игорю Михайловичу Богуславским, а также Э. Генюшене, которые не только позволяли автору не раз детальнее обсудить факты и положения, вошедшие в эту статью, но и приняли действительное участие в стилистической и композиционной правке текста. Особые слова благодарности – Н.Д. Арутюновой и Ю.Д. Апресяну, которые высказали ряд критических замечаний по более ранней версии статьи. Хотя позиция автора, скорее всего, не совпадает (а лишь кое-где пересекается) с мнением упомянутых ученых, думается, что уточнения, внесенные с их содействием, принесут существенную пользу для понимания обсуждаемых здесь явлений. Оставшиеся неточности, конечно, на совести автора. Статья посвящается светлой памяти Татьяны Вячеславовны Булыгиной.

русском и польском языках можно извлечь из опыта толкования и операционализации ряда явлений, связанных с семантической и морфологической деривацией. До сих пор этот опыт применялся скорее лишь к материалу современных языков.

Итак, главная задача в общей сложности сводится к тому, чтобы очертить возможности использования различных подходов, предлагаемых аспектологами и лексикологами, а также типологами для теории, которая позволяла бы разграничивать лексический и грамматический статус внешне одинаковых лингвистических фактов. При этом я не претендую на создание какой-либо очередной теории вида. Отнюдь не новы также и положения, касающиеся взаимодействия грамматического вида с лексическим значением глаголов. В разделе 1 представляются примеры довольно стандартных случаев грамматикализации и лексикализации с тем, чтобы на их основе стало легче разобраться в качественных различиях глагольной аффиксации между современным русским и польским языками и литовским языком. В 2.1 предлагается несколько нетрадиционный взгляд на словообразование (в противопоставлении к словоизменению), а в остальной части раздела 2 русский и польский вид освещается с точки зрения общепринятых параметров грамматикализации. На этом основании затем сопоставляется современное русское, польское и литовское глагольное словообразование (раздел 3). В разделах 4–5 показывается связь между лексическим толкованием глаголов и их аспектуальными функциями и определяется место толкования отдельных лексем и лексической семантики в теории, которая должна будет объяснять возникновение видовой системы на словообразовательной основе. В разделе 6 формулируются заключительные замечания.

## 1. ГРАММАТИЧЕСКИЕ VS. ЛЕКСИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ

Лексические и грамматические категории имеют разный статус. Хотя и грамматикализация, и лексикализация, как правило, включают ту или иную редукцию как в плане содержания, так и в плане выражения, типичные продукты лексикализации идиосинкратичны, в то время как продукты грамматикализации в высокой степени регулярны по отношению к определенным классам лексических единиц (например, к традиционным частям речи). Вследствие лексикализации возникают новые значения старых единиц (морфем, слов) или их комбинаций, которые, потеряв свою содержательную и/или формальную членимость, начинают использоваться холистически как "цельные куски". Тем самым они обогащают словарь, т.е. инвентарь тех единиц, которые подвергаются регулярным (облигаторным) правилам. Эти же правила, в свою очередь, создают грамматику данного языка. Они определяют парадигматические связи и синтагматическую сочетаемость лексикализованных, "цельных" единиц. Грамматические правила основываются на принципах композициональности, а процессы, ведущие к изменению этой системы правил, относятся к грамматикализации [С. Lehmann 1989].

**1.1. Примеры грамматикализации.** Достаточно бесспорным примером грамматикализации можно считать появление определенного артикля в германских, романских, а также в болгарском и македонском языках. В отличие от указательных местоимений, из которых эти артикли развились, они обязательны в генерических именных группах и в именных группах, употребленных анафорически. Указательные местоимения в генерических именных группах не могут выступать вообще, а в анафорических именных группах они факультативны. Другим часто приводимым примером грамматикализации является возникновение общего претерита из бывшего перфекта, которое произошло почти во всех славянских языках, а также в ряде германских и романских языков (или в некоторых их диалектах). Развился перфект (т.е. 'акциональный перфект') из результатива ('статального перфекта'), под которым – вслед за авторами [ТРК 1983] – нужно понимать такую глагольную категорию, которая означает то или иное состояние, наступившее вследствие того события, которое может называться перфектом (или тем или иным претеритом в перфектном значении; ср., например, *X открыл дверь* 'перфект' → *Дверь открыта* 'результатив'). Если мы

примем это различие, мы заметим, что результатив сам по себе менее грамматикализованная категория, чем перфект (и, тем более, общий претерит), поскольку собственно результатив подлещит довольно жестким лексическим ограничениям. Он может образовываться только от глаголов весьма определенной семантики: эти глаголы должны обладать внутренним пределом, преимущественно переход из одного состояния в другое должен быть наблюдаемым, обратимым и т.д.<sup>1</sup>

Перфект, напротив, образовывается от большего числа глаголов, потому что лексические ограничения, характерные для результатива, для него отпадают. Соответственно у перфекта создается целый диапазон функций, которые бывает трудно свести к общему знаменателю и среди которых во многих языках центральное место занимает функция так наз. 'experiential', очень близкая к общефактическому значению русских глаголов несом. вида (НСВ) [Brey 1988: 62 и сл., 66–68; Dahl 1985: 148 и сл.]. Очевидно, что эта функция очень далека от результативной, она может ей даже противоречить; во всяком случае она в принципе не привязана к лексическому значению соответствующего глагола. Это различие коррелирует с хорошо известным фактом, что во многих языках перфект диахронически восходит к результативу. Таким образом, грамматикализация аналитических (или сложных) времен, подводимых под понятие 'перфект', в известной степени сводится к устранению лексических ограничений на образование результативной конструкции: в той мере, в которой – либо по аналогии, либо по семантическим или прагматическим причинам – в уже существующую конструкцию вовлекается все больше лексем (глаголов), изначально по своему лексическому содержанию не подходящих к семантике этой конструкции, она теряет свою семантическую природу и впоследствии поддается семантической и синтаксической реинтерпретации (reanalysis).

**1.2. Примеры лексикализации.** Лексикализация приводит к изоляции значений, в том числе для нее характерна потеря парадигматических связей с внешне сопоставимыми единицами. К ней относятся не только такие тривиальные случаи, как фразеологизмы разного рода (например, *обивать пороги*, *метать бисер перед свиньями*) и укоренившиеся метафоры типа русск. *нести ответственность*, *зайти в тупик* и т.п., но и утратившие свою продуктивность суффиксы и другие морфемы, встречающиеся на какой-нибудь синхронной стадии того или иного языка. Ср., например, прилагательные на *-л-* в русском (*-л-* в польском), восходящие к причастным формам с чисто результативной семантикой (русск. *заскоруздый*, *оголтелый*, *мерзлый*; польск. *zamarzły* 'замерзший', *wklęśły* 'вогнутый', *wylekły* 'запуганный', *zziębły* 'замерзлый', *zachrypły* 'охрипший' и т.п.). Лексикализованы также многие глаголы с постфиксом {s'a} в русском и с эквивалентными ему морфемами в польском и литовском языках. Лексикализованы не только те глаголы с {s'a}, производящие основы которых (без {s'a}) перестали существовать или имеют сегодня значения, не соотносимые со значениями своих производных с {s'a}, как в случае ряда лексических реципроков (ср. *условиться*, *состязаться*, *договориться* и т.п.), но и все те группы глаголов с данной морфологической структурой, которые относятся к семантически специфическим типам рецессивных диатез<sup>2</sup>. Ср., напр., "возвратно-каузативная диатеза" (*стричь волосы* ⇔ *стричься у приятеля* и т.п.), "партитивная" (*морищиться* ⇔ *морищить лоб*, *причесаться* ⇔ *причесать волосы* и т.п.), конверсивная (напр., *Гладь озера отражает верхушки деревьев* ⇔ *Верхушки деревьев отражаются в глади озера*) и т.д. Специфика этих диатез заранее сужает круг производящих основ (глаголов), которые могут соответствовать данной семантической структуре.

<sup>1</sup> Ср. обзор этих критериев см. в [ТРК 1983: 5 и сл.] и их обсуждение в [Kozinskiy 1988]. С точки зрения лексических ограничений результатив сопоставим с так наз. 'способами действия', о которых речь пойдет ниже.

<sup>2</sup> О понятии рецессивной диатезы см. [Geniušienė 1985: 55 и сл.], о лексических реципроках [Князев, в печати].

### 1.3. Лексический vs. грамматический статус единиц с внешне одинаковыми аффиксами.

Лексикализованные рецессивные диатезы следует отграничить от грамматикализованных рецессивных диатез. К последним нужно отнести использование "рефлексивных" маркеров для образования пассива. как русское {s'a}. Добавление постфикса {s'a} для обозначения страдательного залога приходится считать грамматической операцией потому, что с меной залога не связаны никакие изменения в лексической структуре глаголов, с которыми такая операция производится. Вследствие этого правило мены залога с помощью морфемы {s'a} распространяется в принципе на весь класс переходных глаголов НСВ, т.е. это правило применяется практически к любому представителю данного широкого разряда слов (см. 3.2). Если все же обнаруживаются ограничения, то они обусловлены не видовой принадлежностью глагола, а его ролевой структурой (например, неагентивностью первого аргумента: *X любит Y* ⇒ \**Y любится X-ом*) или наличием конкурирующих рецессивных диатез с лексическим статусом (напр., *X смотрит передачу* ⇒ \**Передача смотрится X-ом*; у *Y-у смотрится* лексикализованное значение ≈ 'легко / приятно смотреть на Y'). Поэтому правомерно причислять страдательный залог с маркером {s'a} к грамматическим рецессивным диатезам и, тем самым, отграничивать его от всех других операций на глаголах с помощью {s'a}, в которых изменяется соотношение между семантическими аргументами и синтаксическими актантами и которые, тем самым, обуславливают изменения в толковании самих словарных единиц (см. примеры выше).

Уже эти примеры демонстрируют, что часто одни и те же (внешне схожие) словообразовательные или синтаксические операции имеют разный статус, создавая в одних случаях новые лексические единицы и, тем самым, находясь ближе к полюсу лексикализации (см. 1.2), в других же случаях становясь показателями определенной грамматической оппозиции (см. 1.1). Этот статус зависит, с одной стороны, от семантических ограничений, свойственных самим лексическим основам, по отношению к которым могут применяться те или иные словообразовательные операции, и от числа (объема) основ в рамках определенной части речи (или другого обобщаемого класса лексем в данном языке), лексическое значение которых допускает мену позиций внутри данной парадигмы (например, мену залога с помощью постфикса {s'a}). С другой стороны, статус зависит от того, насколько данная категория (парадигма) сама обуславливает изменение лексического значения единиц, которые могут в ней участвовать. Так, известно, например, что изменение грамматического времени или наклонения в гораздо меньшей степени влияет на лексическое значение глагола, чем изменение вида; ср. обсуждение взаимодействия семантики вида с лексическим значением глагольной основы в работе [Гловинская 1982: особ. 48], а также 'relevance principle' [Bybee 1985: 11–16]. В неявном виде этот факт уже лежит в основе работы [Маслов 1948]. Он также объясняет ряд ограничений на те частные видовые функции, которые обнаруживает много глаголов русского (польского) языка<sup>3</sup>. В общем, поскольку вид относится к "внутреннему времени" протекания какого-нибудь действия (положения дел), то он больше обусловлен лексическим значением глагольных основ, и видовые маркеры в разных языках обычно стоят ближе к основе и теснее взаимодействуют с ее значением, чем морфемы, выражающие грамматические времена, наклонения, иллокутивные функции и т.д.<sup>4</sup>. Славянские языки в этом отношении не представляют исключения.

Примеры, приведенные выше, иллюстрируют общую закономерность, частный слу-

<sup>3</sup> Ср., например, ограничения на прогрессивную функцию или ее отсутствие у большого количества глаголов НСВ [Апресян 1995б; V. Lehmann 1998]. В проявлении этой функции задействованы более центральные компоненты лексического толкования, чем при итеративной или общефактической функции, которые в принципе оперируют на всем значении глагола в целом.

<sup>4</sup> Обнаружение этой иконической тенденции тоже является одним из результатов типологических исследований Байби [Bybee 1985: 34 и сл.].

чай которой представляет собой русский (и польский) вид. Противопоставление вида способам действия и подобным явлениям изменения лексического значения производного глагола с помощью идентичных, по сути дела, аффиксов говорит о том, что для правильной оценки лексического vs. грамматического статуса внешне очень схожих явлений необходимо прибегать к дополнительным критериям, а именно:

1. к функциональному (контекстному) распределению рядов морфологически производящих форм (глаголов) и форм (глаголов) производных;
2. к вопросу о лексических ограничениях, налагаемых на морфологическую операцию, причем это касается как основ, так и аффиксов;
3. и, вместе с тем, к количественному охвату и степени обязательности этой морфологической операции в отношении той части речи, которая предоставляет основы также для семантической деривации.

Прежде чем приступить к обсуждению различий между русским (и польским) языком и литовским будет уместно осветить специфические черты славянского вида на типологическом фоне и соотнести их с теорией грамматикализации.

## 2. ОСОБЕННОСТИ СЛАВЯНСКОГО ВИДА НА ТИПОЛОГИЧЕСКОМ ФОНЕ

**2.1. Словообразовательная грамматическая категория?** Если мы согласимся с тем, что лексикализация и грамматикализация соотносятся как полюса некоего континуума, то особое положение на этом континууме занимают функции словообразовательных аффиксов. Традиционно эти аффиксы относят к промежуточной области между словарем и грамматикой. Соответственно, единицы, образуемые с их помощью, обычно "повально" помещают ближе к лексическому полюсу, чем к грамматическому. В этом одна из причин, по которым видообразование в русском языке нередко перемешивают со способами действия (Aktionsarten). Между тем, эти последние образуются только от определенного круга глагольных основ и модифицируют их лексические значения. Кажется, как бы в противовес этому многие современные исследователи приписывают русскому виду словоизменительный статус именно для того, чтобы избежать подобного приравнивания к способам действия. На самом деле, оба эти подхода объединяет то, что для них оппозиция 'словоизменение vs. словообразование' практически сводится к оппозиции 'грамматические vs. лексические значения'.

Ввиду такого (явного или скрытого) отождествления считаю нужным подчеркнуть, что решение о словообразовательном статусе русского (польского) вида, которое принимается здесь по причинам морфотактики, само по себе еще не "умалывает" его грамматический характер. Ведь известно, что расположение тех аффиксов, которые сегодня служат для образования видовых оппозиций, к корню глагола и их соотношение с другими морфемами в рамках глагольных словоформ было тем же еще в древних славянских языках, относительно которых говорится о грамматикализованных видовых оппозициях не приходится<sup>5</sup>. Следовательно, если состав морфем и их внешнее соотношение друг с другом не изменились, но развилась грамматическая категория, именуемая видом, то дело здесь не (или хотя бы не в первую очередь) в переходе словообразования в словоизменение, а в чем-то относительно независимом от этого, по сути своей, морфологического противопоставления. Адекватность такой точки зрения подтверждается как раз тем, что все, что в дальнейшем будет говориться о видовой системе в русском и польском языках и ее отличиях от глагольной морфологии в литовском языке, в принципе не зависит от того, хотим ли мы отнести видовые оппозиции в названных славянских языках к словообразованию или словоизменению (см. также конец 4.2 и сноску 33).

**2.2. Нужное дополнение к сложившимся теориям грамматикализации.** В работах по грамматикализации внимание обычно фиксируется на отдельных морфемах или конструкциях. При этом изучается, каким образом внешнее изменение их морфологического

<sup>5</sup> Причины примерно те же, что и в литовском языке (см. разделы 3–4).

облика и/или синтаксического поведения влечет за собой изменение их категориального статуса. Почти нигде не упоминается о том, что (более) лексический статус может превратиться в (более) грамматический также из-за того, что словообразовательные процессы становятся правилами настолько, что приводят к появлению новых парадигм у целых пластов слов, вплоть до традиционных частей речи, как, например, глагол. Исключением в этом смысле является Ф. Леман, который исходит из того, что в идеале грамматическая категория отличается следующими качествами [V. Lehmann 1999a: 208]:

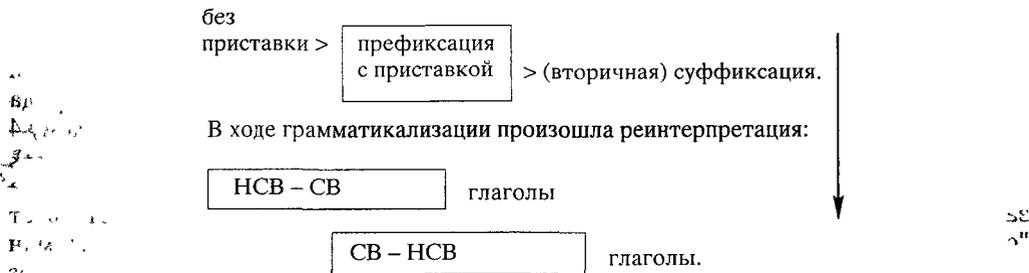
- 1) в отношении лексических основ некоторой части речи функциональное распределение формальных показателей в парадигме достигает максимума;
- 2) соотношение между формальными признаками в парадигме и их функциями облигаторно (обязательно);
- 3) формы образуют максимально регулярные оппозиции;
- 4) функции образуют максимально абстрактные оппозиции.

Забегая немного вперед, можно сказать, что современное состояние вида в русском и польском языках близко к достижению максимума по критериям 1, 2 и 4. Хотя о регулярности морфологических оппозиций говорить трудно (критерий 3), тенденции к такой регуляризации все-таки обнаруживаются. В ходе развития русского языка образование глаголов НСВ все более закреплялось за суффиксом *-ива/ыва-*; конкурирующие маркеры (*-а/я-*) постепенно вытеснялись и перестали быть продуктивными [Клобуков, Рыжих 1998: 189; Силина 1982: 171 и сл., 260, 272 и сл.]. Что касается образования глаголов СВ путем префиксации, то ситуация здесь, как известно, менее однозначна прежде всего потому, что приставки чаще меняют и лексическое значение. Кроме того, их гораздо больше. Тем не менее, можно сказать, что в данное время число тех приставок, которые чаще всех остальных продолжают проявлять продуктивность при образовании собственно видовых пар, сузилось. В русском языке здесь можно назвать *по-*, *с-*, *у-*, в польском *po-*, *za-*, *u-*, *sz-*.<sup>6</sup> Но прежде всего нужно учитывать не столько сам состав словообразовательных морфем, сколько продуктивные способы образования пар глаголов (см. Схему 1). Здесь важно отметить, что в современных русском и польском языках количество продуктивных способов существенно сократилось.

Современный литературный литовский язык, в противоположность русскому и польскому, далек от достижения максимумов по критериям Ф. Лемана, в особенности по первым двум.

Схема 1

### Образование основных образцов видовой деривации в славянских языках



<sup>6</sup> Конечно, в принципе любая приставка может использоваться для образования видовой пары. То, какая приставка берется с этой целью, с давних времен зависело часто от того, насколько та или иная приставка актуализировала одно из значений, заложенных в исходном (бесприставочном) глаголе. Об этом пойдет речь в разделах 4–5. Здесь речь идет единственно о том, какие приставки встречаются чаще всего как "чистовидовые" и какие из них по сей день проявляют в этом продуктивность в новообразованиях.

**2.3. Разбор параметров грамматикализации.** Задача настоящего подраздела в том, чтобы показать, что общепринятые критерии грамматикализации применимы к русскому (польскому) виду, даже невзирая на словообразовательный характер видообразования. С точки зрения более "классических" теорий грамматикализации славянский вид явно отличается от стандартных случаев развития грамматических категорий в первую очередь тем, что однозначных показателей категории вида нет. Нет той одной морфемы (или серии морфем), которая сама по себе позволяла бы причислить тот или иной глагол к НСВ или СВ. Вместо того, сложились регулярные деривационные образцы (см. Схему 1), в результате которых большое число морфологически соотносимых глаголов вступает в видовые пары. Глаголы, создающие такую пару, имеют общее и в основном совпадающее лексическое значение и функционально распределены по дополнительному принципу (точнее см. в разделе 3). Вследствие этого образовались (почти) бинарные ряды. Бинарность этой оппозиции, вместе с обязательным выбором одного из ее членов (НСВ vs. СВ) в любом контексте, является аргументом в пользу грамматического статуса, четко отграничивающего видовую оппозицию от таких "лексико-грамматических" разрядов как способы действия. Свойство бинарности характерно для целого ряда сильно грамматикализованных морфологических оппозиций<sup>7</sup>, хотя и не для всех (ср., например, системы падежей). Дело в том, что степень грамматикализации тем выше, чем компактнее количество членов парадигмы (согласно параметрам К. Лемана это свойство подпадает под "paradigmatic cohesion"); способы действия, в отличие от вида, не создают компактной парадигмы с закрытым количеством членов.

Существование супплетивных пар также свидетельствует в пользу грамматического статуса деривационных отношений, поскольку говорить о супплетивизме имеет смысл лишь при условии, что соответствующая категория уже сложилась: супплетивизмы являются как бы исключением из правил формального устройства данной категории.

В литовском языке действуют те же самые морфологические отношения, но производящие и производные глаголы не находятся в дополнительной дистрибуции, а словообразовательные процессы охватывают только отдельные аспектуальные или лексические группы глаголов, а не весь их состав (см. 3.5–3.6). Иными словами: в функциональном отношении глагольная аффиксация литовского языка существенно отличается от аффиксации в современных русском и польском языках.

С этим связаны отличия по целому ряду параметров грамматикализации, подробно разобранных в книге [С. Lehmann 1995]. Прежде всего, дополнительное функциональное распределение глаголов по двум классам (СВ vs. НСВ) ограничивает парадигматическую вариативность ("paradigmatic variability"), определенную К. Леманном как "the freedom with which a language user chooses a sign" [С. Lehmann 1995: 137]. Далее, появились более или менее жесткие ограничения на синтаксическую сочетаемость ("syntagmatic cohesion" или "bondedness"). Глаголы НСВ и СВ сочетаются с разными типами обстоятельств: только глаголы НСВ способны сочетаться с фазовыми глаголами и г.д., тогда как в литовском нет жестких ограничений такого рода (см. 3.5). Вместе с тем, оппозиция НСВ/СВ в высокой степени абстрактна (см. Схему 4 и комментарий к ней, а также выше приведенный четвертый критерий Ф. Лемана), так что отличия, обусловленные лексическими особенностями глаголов, отступают на задний план (хотя и не исчезают; см. 3.3–3.4). Такое положение дел соответствует "символическому способу выражения" ("symbolic expression"), который К. Леман [С. Lehmann 1995: 155] считает чертой поздних стадий грамматикализации. Ср.: "This [i.e. symbolic expression – Б.В.] means that a grammatical category does not have a morpheme or segment reserved for its expression, but that it is embodied in the formal relation between the two alternative forms of a stem" (там же). Если мы готовы расширить это

<sup>7</sup> Ср. [С. Lehmann 1995: 136]. "The most grammaticalized categories of a language system usually consist of a two-member paradigm, i.e. a binary opposition". См. также [Bybee 1997: 33 и сл.].

определение на соотношение между двумя (производящей и производной) основами (а не только на два флективных варианта одной основы), то не трудно убедиться, что оно идеально подходит к определению взаимоотношения между парными глаголами НСВ/СВ. Эта проблема будет обсуждаться подробно в разделах 3–5.

Данным критериям грамматикализации литовская глагольная морфология не удовлетворяет хотя бы по двум, скорее всего взаимосвязанным, причинам. Во-первых, разные и многочисленные способы аффиксации простых и сложных основ сами по себе не создают устойчивых и, тем более, дополнительно распределенных функциональных противопоставлений, а скорее мешают их установлению. Во-вторых, трудно найти такую пару глаголов, где в производном глаголе не обнаруживалась бы та или иная примесь семантической модификации в любом типе употребления (см. 3.5, 3.7 и раздел 4).

Можно пойти еще на один шаг дальше. Любопытно, что семантический коррелят "символического способа выражения" К. Леман [С. Lehmann 1995: 155 и сл.] описывает не столько как "fusion of a grammatical with a lexical meaning", сколько как "an increase in the dependency of the grammatical meaning on the lexical meanings which it is attached to". Именно это и характеризует славянский вид. Как мы отметили уже выше, с семантической точки зрения диапазон видовых функций глагола и сейчас зависит от его лексического значения. Эта черта, однако, не является особенностью славянского (а шире, классифицирующего) вида, а касается в принципе любой грамматической видовой системы, независимо от того, какими формальными средствами она выражается (см. выше упомянутый 'Relevance Principle'). В слитности видовой функции и лексического значения, о которой писала, например, Гловинская [Гловинская 1982: 47 и сл.], можно усмотреть лишь крайнюю степень проявления обсуждаемого свойства.

Данный подраздел можно закончить указанием на то, что в современном русском языке бинарное противопоставление глаголов НСВ/СВ стало использоваться для различения модальных значений и иллокутивных функций [см. примеры (1–3) в 3.2]. Это было не так еще в XVI–XVII вв. Таким образом, подобное расширение грамматической оппозиции можно отнести еще к одному принципу грамматикализации, введенному Трауготтом [Traugott 1988], который заключается в том, что вовлеченные в грамматикализацию единицы дополнительно развивают функции, относящиеся к прагматике речевой ситуации. Этот процесс сопровождается расширением сферы действия на уровне высказывания (propositional scope)<sup>8</sup>. Отличие славянского вида от случаев, приводившихся Traugott, состоит единственно в том, что подобное расширение касается не отдельных единиц, а самой оппозиции глаголов НСВ vs. глаголов СВ (и связанных с ней парадигм). Ничего подобного в литовском языке нельзя обнаружить (см. 3.5 и далее).

### 3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ ГЛАГОЛЬНОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В РУССКОМ И ЛИТОВСКОМ ЯЗЫКАХ

**3.1. Терминологические пояснения.** Внутри понятийного поля 'аспектуальности' (англ. 'aspectuality', нем. 'Aktionalität') следует различать три понятия<sup>9</sup>. 'Вид' здесь понимается исключительно как грамматическая категория. Явления лексического обогащения производящих основ, в том случае, когда приставочные и суффиксальные глаголы

Р.

<sup>8</sup> Подобное функциональное расширение можно усмотреть и в употреблении глаголов СВ для обозначения стативных ситуаций, типа *Дорога кончилась у опушки леса*. Эффект "фигуры наблюдателя" [Апресян 1983: 329 и сл.] возможен только на основании уже у с т а н о в и в ш е с я грамматической видовой оппозиции: тип реальной ситуации не помещается в наборе примарных функций глаголов СВ (см. Схему 3) и возникающее таким образом противоречие разрешается за счет интерпретации, примиримой с данным выбором вида.

<sup>9</sup> См. подробный обзор в [Бондарко 1987: 40 и сл.], а также [V. Lehmann 1999b: 217 и сл.].

имеют с синхронной точки зрения бесприставочные производящие основы, называются 'способами действия'<sup>10</sup>. Кроме того, любой глагол (независимо от того, существует ли в данном языке вид или нет) имеет то или иное лексически обусловленное аспектуальное значение (aspectual default). Этот факт описывается с помощью понятия 'акционального гештальта' (нем. 'aktionale Gestalt'). Этот термин был предложен Ф. Леманном. Он соответствует тому, что в англоязычной аспектологической литературе иногда называют "lexical aspect" [V. Lehmann 1992: 156 и сл.; 1999a: 216 и сл., 1999b: 217 и сл.; Wiemer 1997: 43].

**3.2. О связи между лексическим толкованием и наборами функций, связанных с выбором вида.** Поскольку 'вид' понимается здесь как грамматическая категория, а формальные способы видообразования оказываются не совсем однородными (см. раздел 2), необходимо оговорить, за какими функциональными признаками грамматический статус закрепляется. С современной точки зрения, исходным аргументом в пользу грамматического характера вида в русском и польском языках служит факт, что в принципе с выбором того или иного глагола – причем не только его спрягаемых форм – говорящий не может не сделать выбор между двумя оппозитивными классами в рамках одной части речи (подобно роду или числу). Более того, такой выбор связан с тем, что у любого русского (польского) глагола ограничивается взаимодействие с другими категориями предикатов – прежде всего с грамматическим временем, но также с наклонением и залоговыми характеристиками (см. ниже). Это – следствие того, что систематически противопоставляются два класса (= вида) глаголов, причем это деление пронизывает практически весь состав глагольных лексем этих языков независимо от того, вступают ли все глаголы в видовые пары или нет.

Для русского языка эти систематические, грамматически значимые ограничения хорошо известны. Если я их здесь все-таки еще раз обсужу, то по двум причинам: во-первых, для более наглядной сопоставимости с фактами литовского языка, которые будут показаны в 3.3. Во-вторых, потому, что критерии, на которые опирались исследователи, характеризующая русскую (польскую) видовую систему или сопоставляя ее с литовским глагольным словообразованием, разнородны и нуждаются в известной иерархизации. Дело в том, что одна часть этих критериев тесно связана с лексической семантикой глаголов, а другая часть с межкатегориальными парадигмами (вид, время, наклонение, залог и т.д.). Первую часть этих критериев, т.е. лексическое соотношение между глаголами НСВ и СВ, удобно и адекватно описывать на основании анализа их толкований [Гловинская 1982]. Однако для обоснования грамматического статуса вида нужно показать, что функциональное распределение глаголов обоих видов регулярно в том смысле, что их функции и взаимодействие с другими предикатными категориями лишь в малой степени обусловлены лексическим значением глаголов (ср. 1.2–1.3). Поэтому ключевое значение следует приписать условиям тривиальности соотношения в парах глаголов СВ/НСВ (см. ниже). Вместе с тем, синтаксические тесты, показывающие функциональное распределение глаголов СВ и глаголов НСВ, сами по себе позволяют только "поставить диагноз", но не объясняют, каким образом глагольное словообразование может (в диахронии) менять свой статус (от более лексического к более грамматическому) или сохранять свой прежний статус в языках с внешне очень похожей системой словообразования. Так, например, таксисные функции нужно понимать как следствие свойств, учитываемых в толкованиях, и потому они скорее надежные симптомы видовой системы (см. ниже). Однако для обоснования выводов о том, что в одном сопоставляемом языке вид существует, а в другом нет, они имеют подчиненный статус по сравнению с разбором лексического соотношения морфологически парных глаголов (см. разделы 4–5). Поэтому справедливо сказать, что только анализ лексического соотношения морфологически произ-

<sup>10</sup> В толкованиях глаголов способам действия чаще всего соответствуют пространственные, качественные или временные компоненты

водящих и производных глаголов в м е с т е с рассмотрением регулярности и предсказуемости функций, возникающих из такого сопоставления на преобладающей массе глаголов, может предостеречь нас от соблазна смотреть на хуже описанный язык (литовский) сквозь призму видовой системы несравненно лучше изученного языка (русского). Иными словами: чтобы не описывать литовский язык через русский, "навязывая" этому первому чуждые ему функциональные оппозиции, необходимо обоснование этих оппозиций через какое-то *tertium comparationis*. Его дает общепризнанный "набор" видовых функций, используемый в типологии и аспектологии, и опыт толкования лексических единиц, которым обладает системная лексикография.

**3.3. Наборы функций обоих видов в русском и польском языках.** Итак, в русском и польском языках глаголы НСВ могут употребляться во всех трех временах, тогда как глаголы СВ ни при каких обстоятельствах не могут быть употреблены для обозначения действий, пересекающихся с моментом речи, а их спрягаемые формы с основой настоящего времени давно уже переосмыслены как (простое) будущее время. Наряду с этим, в русском языке только глаголы НСВ образуют "синтетический пассив" (на {s'a}), в то время как глаголы СВ способны к образованию лишь "аналитического пассива" (связка + причастие на {n/t}). Далее, только глаголы НСВ могут образовывать причастия действительного залога настоящего времени (на {ušč/ašč}). Аналогичным образом, деепричастия глаголов НСВ продуктивно образуются от основы настоящего времени (с окончанием на {a}), а деепричастия глаголов СВ – от основы прошедшего времени (на {v(ši)/gši/kši}). Что касается наклонения, то тенденцию к подобному дополнительному распределению русских и польских глаголов можно отметить также в императиве; ср., например, противопоставление по признаку [ $\pm$  контролируемость]:

- |                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| (1a) <i>Не оборачивайся!</i>      | [+ контроль у адресата] |
| (1б) <i>Не обернись случайно!</i> | [- контроль у адресата] |
- (Аналогично в польском языке.)

Распределение по признаку [ $\pm$  деонтическая модальность] выявляется в таких близких к императиву формах, как инфинитив в сфере действия модального глагола (2) или предикатива вместе с отрицанием (3) (см. подробнее [Wiemer 2000b]):

- |  |                  |
|--|------------------|
| (2a) <i>На следующее занятие ваш сын может не придти</i> |                  |
| → разрешение, [+ деонтически]                            |                  |
| (2б) <i>На следующее занятие ваш сын может не прийти</i> |                  |
| → вероятностное высказывание, [- деонтически].           |                  |
| (3a) <i>Окно нельзя открывать. (Врач запретил)</i>       | [+ деонтически]  |
| (3б) <i>Окно нельзя открыть. (Сломалась ручка)</i>       | [- деонтически]. |

Дополнительное функциональное распределение глаголов, управляемое их видовой принадлежностью, сужает не только возможности комбинации с другими граммемами, но позволяет также более однозначно определять аспектуальную функцию глагола в тексте: в прошедшем времени видовой принадлежность глагола позволяет различать таксисные ситуации 'цепочка событий', 'одновременные процессы' и 'наступление события на фоне длящегося процесса (или состояния)'<sup>11</sup>.

и  
-  
и  
\ 5

<sup>11</sup> Различение этих таксисных ситуаций, впервые сформулированных Кошмидером [Koschmieder 1934], зависит, правда, еще от ряда других факторов (как языковых, так и внеязыковых [Wiemer 1997: 73–75]). Но для рассматриваемых вопросов ими можно здесь пренебречь.

Таким образом, на основании взаимодействия видовой принадлежности глагола с другими категориями, выражаемыми в формах глагола, создаются устойчивые наборы функций, разные для каждого класса глаголов (= вида):

Схема 2

### Устойчивые наборы функций русских глаголов (I)

1. ограничения комбинаторики глаголов СВ и НСВ с членами других грамматических парадигм

	грамматическое время			пассив	причастия	
	прош.	наст.	буд.		наст./ действ.	дееспричастия
<b>НСВ</b>	+	+	+	-ся	+	от основ наст. вр.
<b>СВ</b>	+	-	+	связка + при- частие на -н/т-	-	от основ ин- финитива

2. распределение глаголов НСВ и СВ по некоторым неассертивным контекстам

	императив + отрицание	в сфере действия модальных опера- торов + отрицание (внешнее или внутреннее)
<b>НСВ</b>	[+ контролируемость]	[+ деонтич.]
<b>СВ</b>	[- контролируемость]	[- деонтич.]

В принципе дополнительное распределение функций можно отметить и в области кратности (см. правую часть Схемы 3). Для обозначения неограниченно повторяемых действий (типа *каждый день, обычно*) могут употребляться только глаголы НСВ (ср. *Каждое утро Петя опаздывает!\** *опоздает на работу*). Для обозначения нерегулярной кратности могут использоваться глаголы обоих видов, причем употребление СВ вносит оттенок "экземплярной наглядности" на основании пересмотра импликаций, задаваемых по умолчанию его видовой принадлежности: грамматическое событийное значение глагола СВ обычно имплицитно подразумевает однократность события, так что сочетание с обстоятельствами нерегулярной повторяемости вызывает сначала (мнимое) противоречие, которое разрешается в пользу событийной интерпретации каждого действия и их таксисных связей ("цепочки") в рамках нарративного эпизода. В этом смысле выбор глаголов СВ для обозначения реально многократной ситуации является маркированным по сравнению с выбором глаголов НСВ; ср.:

(4а) (...) *Бывало, в длинный зимний вечер присядем к круглому столу, выпьем чайку, а потом и за дело примемся.* (...) (Достоевский: Бедные люди)

(4б) → *присаживаемся... выпиваем чайку... за дело принимаемся...*

Наконец, глаголы обоих видов возможны в случаях ограниченной многократности, т.е. повторения действия в рамках одного интервала. И в этом случае, однако, выбор вида не безразличен для интерпретации внутренней структуры ситуации: глагол СВ вызывает "суммарное" понимание, т.е. объединение всех отдельных, повторяемых действий в один интервал; глагол НСВ такого эффекта не вызывает (ср. *Он три раза стучал / стукнул по двери; Не беспокойся, я этот анекдот расскажу / буду рассказывать еще сто раз*).

Сказанное подытоживает следующая схема.

## Устойчивые наборы функций русских глаголов (2)

## 3. таксис и итеративность (хронологические функции)

таксисные ситуации (в прошедшем времени)		кратность (повторяемость)			
		неогранич. (регулярная)	нерегулярная	ограничен- ная (в одном интервале)	
НСВ	параллельность	фон   событие	+ (обязат.)	+ (нейтр.)	+
СВ	последоват.		-	+ (маркиров.)	+

Принято считать, что если один "комплект" функций из Схем 2 и 3 заполняется двумя глаголами разных видов, но с сохранением лексического значения, можно говорить о 'видовых парах' (напр., *заметить / замечать, убедить / убеждать, написать / писать, сказать / говорить, понравиться / нравиться*). В видовых парах, как правило, один из двух глаголов морфологически произведен от другого. Встречаются, правда, и супплетивные пары (ср. рус. *взять / брать, сесть / садиться, поймать / ловить*; пол. *położyć się / kłaść się, zobaczyć (ujrzeć) / widzieć*)<sup>12</sup>. Однако решающим фактором для признания парности в конечном итоге является идентичность толкования обоих глаголов хотя бы в одном из типов употребления. На это указал еще Маслов [Маслов 1948: 53]. Как операционный критерий он использовал один простой тест: глаголы СВ в прошедшем времени, изображающие цепочку последовательных (и одноразовых) действий, должны заменяться на соответствующие глаголы НСВ при переводе текста в настоящее время, представляющие ту же цепочку действий (ср. *Утром Петя проснулся, протер глаза, встал, умылся, позавтракал и пошел на работу* ⇒ *Утром Петя просыпается, протирает глаза, встает, умывается, завтракает и идет на работу*). Другой, еще более надежный тест на видовую парность состоит в проверке, может ли глагол НСВ быть использован в лексическом значении глагола СВ в многократных контекстах (ср. *Вчера вечером Петя позвонил домой* vs. *Во время каникул Петя каждый вечер звонил домой*). Если эти тесты проходят, они указывают на тривиальное соотношение парных глаголов СВ/НСВ<sup>13</sup>.

Тривиальное соотношение обусловлено следующими лексическими характеристиками глаголов: либо в значении глагола НСВ нет элементов, не свойственных также соотносительному глаголу СВ; если глаголы СВ/НСВ противопоставляются только по этому признаку, они образуют полностью тривиальную пару (ср. *принести / приносить, заметить / замечать, схватить / схватывать*). Либо такие элементы есть, но их легко подавить в пользу того же событийного значения, которое свойственно глаголу СВ. В таком случае видовая пара обнаруживает также и нетривиальное соотношение (например, соотношение между предельным процессом и достижением предела; ср. *писать / написать письмо, уговаривать / уговорить, переписывать / переписать статью*). В любом случае, тривиальное соотношение между глаголом СВ и глаголом НСВ становится необходимым критерием для признания видовой парности. Тривиальное соотношение дает также основание для объединения соответствующих глаголов в одну лексему.

<sup>12</sup> О том, что супплетивизм является лишним свидетельством того, что вид – категория грамматическая, было сказано уже в разделе 2.

<sup>13</sup> См. [Булыгина, Шмелев 1989: 151; Зализняк, Шмелев 1997: 38 и сл.; Падучева 1996: 89 и сл.].

При этом существенно подчеркнуть, что глагол НСВ не является факультативным вариантом (или простым синонимом) парного глагола СВ: для обозначения повторяемого неограниченного количества раз действия и в нарративном настоящем может быть выбран только он. В литовском же языке такое соотношение найти трудно (см. 3.5–3.6).

**3.4. Иерархизация функций.** Значимость видовых оппозиций в области кратности и модальности, по-видимому, вторична по сравнению с распределением видов в области главных аспектуальных типов положения дел (событие, процесс, состояние), обуславливаемых ими таксисных функций и по ряду общепризнанных частных видовых функций. Эти функции можно называть примарными (см. Схему 4)<sup>14</sup>. В любом случае, вся совокупность первичных и вторичных функций видовой оппозиции создает своего рода парадигму, причем входящие в нее функции абстрактны и только косвенно и весьма условно выводятся из лексических различий глаголов.

Существенно далее подчеркнуть, что видовые пары создают лишь стержень грамматической категории вида. На современном этапе эволюции этой категории вырисовались комплементарные наборы функций, которым удовлетворяет практически любой глагол русского (польского) языка и которые являются комплементарными поднаборами из функций, объединенных в Схемах 2–3. Поэтому, если отвлечься от двувидовых глаголов, можно утверждать, что принадлежность каждого отдельного глагола к одному из двух видов не зависит от того, вступает ли он в пару или нет, т.е. обнаруживается ли у него лексически тривиальное соотношение с каким-нибудь глаголом оппозитивного вида<sup>15</sup>. Ведь как парные, так и непарные глаголы НСВ и СВ могут обладать только тем поднабором функций, которые свойственны либо НСВ, либо СВ. Важно, что вся совокупность глаголов языка по принадлежности к этим двум классам подвергается функциональному распределению по почти полностью дополнительному принципу<sup>16</sup>.

Распределение глаголов по их примарным, грамматически значимым функциям обобщается следующим образом:

Схема 4

#### Грамматические функции глаголов в видовых парах<sup>17</sup>

<b>НСВ</b>	1. итеративная: [– локализованность] = [больше одного раза]
	2. общефактическая ('хотя бы один раз')
	3. прогрессивная: [+ локализ.] $\wedge$ [+ процесс $\supset$ фазы] $\vee$ состояние: [– фазы]
<b>СВ</b>	событие: ([+ локализ.] = [+ один раз]) $\wedge$ [ровно одна фаза].

**Пояснения:** Под 'событием' понимается любое положение дел, представляемое как состоящее из одной только фазы и поэтому нечленимое более на части. 'Процессом' считается положение дел, членимое на фазы, а 'состояние' не имеет никаких фаз [V. Lehmann

<sup>14</sup> Леман [V. Lehmann 1999b: 221 и сл.] предлагает называть их "каноническими".

<sup>15</sup> Поэтому данное утверждение верно также и для одновидовых глаголов, включая те, наличие видовой пары у которых оспаривается. Ср., например, соотношение между непредельными прогрессивными глаголами типа *играть*, *сидеть*, *разговаривать* и их делимитативными и пердуративными производными (*поиграть*, *просидеть (целый вечер)* и т.д.).

<sup>16</sup> Леман [V. Lehmann 1997:56] по этому поводу писал: "...задача видовой деривации – образовать функционально оппозитивные парадигмы, которые предоставляют языковому коллективу возможность комбинировать как можно больше лексических значений с разными аспектуальными функциями".

<sup>17</sup> Эти функции нагляднее всего проявляются в прошедшем времени, и в этом смысле их можно "вставить" в левую часть Схемы 1.1 Более подробно об аспектуальных и хронологических факторах, взаимодействующих с видом, см. [V. Lehmann 1999b:217–223].

1997: 58; 1999b: 218]. Событийный характер может быть первичен, т.е. основываться на лексическом значении (по умолчанию) глагола, или вторичен, т.е. получаться в результате грамматической рекатегоризации, т.е. такого процесса, когда глагол, лексически мотивированный процессной семантикой (и поэтому легко реализующий прогрессивную функцию), с помощью приставок переводится "в разряд" глаголов СВ. Ср., например, делимитативные глаголы типа *поиграть*, *почитать*, а также приставочные глаголы, образованные от некоторых глаголов разнонаправленного движения, как *сходить*, *съездить*. Таким образом, рекатегоризация состоит в том, что грамматическое поведение ("комбинаторика") такого глагола совпадает с поведением остальных глаголов СВ, независимо от его лексического значения (см. раздел 5). Кроме того, ситуации, вторично представляемые как нечленимые события, обозначаются глаголами СВ в так наз. суммарном или наглядно-примерном значении (см. 3.3).

**3.5. Сопоставление с литовским языком.** Иная ситуация представлена в литовском языке: грамматической категорией вида он не обладает. Это вытекает уже из того, что одного только сопоставления глагольных основ (производящей и производной) часто недостаточно для того, чтобы определить таксисные функции, различить разные краткие значения [см. пример (12)], а также выбрать тот или иной глагол в императиве и других неассертивных контекстах. Кроме того, в литовском нет ограничений на образование разных типов причастий, а общефактическое значение является частным значением в рамках парадигмы перфекта (связка + причастия на {*ęs / usi*}). Перфекту в русском и польском языках формального соответствия нет.

Проиллюстрируем сказанное сначала на причастиях. В принципе все глаголы, независимо от своего морфологического состава, образуют все причастия любого времени и любой залоговой ориентации. Другими словами: здесь не заметно никакого дополнительного распределения глагольных основ в зависимости от их деривационных соотношений. Ср. так наз. полупричастие ('*pusdalyvis*') [ГЛЯ 1985:298] от глагола *sujudinti* 'пошевелить': *Valančius valiūgiškai šyptelėjo, vos sujudindamas lūpas* (Granauskas: Miškai) 'Валанčius вальжно улыбнулся, едва **пошевеливши** [поморф. "**по/зашевеля**"] губами' (*judinti* 'шевелить' ⇒ *sujudinti* 'пошевелить'). Или причастие наст. вр. действ. залога глагола *suartininti* 'сближать-сблизить' (⇐ *artininti* 'то же'): *Prisiminimai – tarsi kapinės per Vėlines, akimirka suartinančios gyvuosius ir mirusiuosius* (Papievis: Triušio akys) 'Воспоминания – будто кладбище в день Поминовения усопших, на мгновение **сближающий** [поморф. "**сближающий**"] живых и мертвых'.

Далее, так наз. "совершенные" глаголы употребляются в контекстах неограниченной многократности. Это верно как в отношении финитных (9), так и нефинитных форм, например, при образовании пассива в (10):

(9) (...) *Ši elektrinė, nakties metu naudodama elektros energiją, Nemuno vandenį pakelia apie 100 metrų į atskirą saugyklą o dieną iš to pakelto vandens gamina elektros energiją* (Dienovidis, январь 1997)

'Эта электростанция, ночью используя электрическую энергию, **поднимает** [букв. "**поднимет**"] воду Немана на ок. 100 метров (и переводит) в отдельное хранилище, а днем из этой (таким образом) поднятой воды производит электрическую энергию'.

(10) *Zemės ūkio produkcija toliau buvo superkama pagal Vyriausybės dar iš dalies reguliuojamas kainas...* (Landsbergis: Lūžis)

'Сельскохозяйственная продукция и дальше **скупалась** [поморф. "**была скупима**"] в соответствии с ценами, частично еще регулируемые Правительством'.

То же самое верно по отношению к семейфактивным глаголам (с инфинитивным суффиксом {*elė / erė*}); ср. форму настоящего времени *žvangteli* 'брякает' (по форме собственно 'брякнет') в примере (20).

Вместе с тем, глаголы, называемые в литературе "несовершенными" (*eigos veikslu*), не заменяют глаголы "совершенные" (*ivykio veikslu*) в настоящем нарративном; ср.:

(11a) *Jonas parėjo namo, nusirengė, išgėrė pieno, atsigulė ir užmigo, kai gatvėje sprogo bomba.*

‘Йонас зашел домой, разделся, выпил молока, лег и заснул, когда на улице взорвалась бомба’.

(11b) *Jonas pareina namo, nusirengia, išgeria pieno, atsigula ir užmiega, kai gatvėje sprogs bomba.*

букв. ‘Йонас зайдет домой, разденется, выпьет молока, ляжет и заснет, когда на улице взорвется бомба’.

Пример (11b) мог бы быть сценической ремаркой (praesens scenicum).

Особенно часто аспектуально неоднозначными ("диффузными"; см. 4.2–4.3 и раздел 5) оказываются бесприставочные глаголы. Они не позволяют однозначно обозначить таксисные отношения; ср.:

(12) *Gerai, kad smarkiau ginčytis jis neturėjo jėgų. Kol baigiau visus darbus viršūnėje, vokiečiai visiškai neteko jėgų* [ср. пример (17б)]

‘Хорошо, что для ожесточенных споров у него не было сил. Пока я закончил / заканчивал всю работу наверху, немец полностью лишился сил’

→ последовательность событий (‘А закончил’, а потом ‘Б потерял свои силы’) или наступление события на фоне (предельного) процесса (‘А заканчивал’, тем временем ‘Б потерял свои силы’)?

Так как союз *kol* ‘пока, когда’ сам по себе нейтрален к таксисным связям, только финитный глагол мог бы разрешить многозначность. Однако *baigiau* ‘я закончил / заканчивал’ ее не разрешает.

Нужно добавить, что в литовском языке также нет того абсолютного запрета на сочетаемость фазовых глаголов с инфинитивами, называемых "совершенными", который свойствен всем славянским языкам (ср. рус. \*начать выйти, \*перестать одсудить). В литовском языке многие приставочные глаголы сочетаются с фазовыми глаголами независимо от того, существуют ли к ним суффиговые или бесприставочные корреляты с идентичным или схожим значением (13) или нет (14–15); ср.:

(13) *Atsirado tiek daug ir pačių moderniausių ryšių komunikacijų, kurios žmonijai bendravime baigia išstumti netgi epistoliarinį žanrą* (Kauno diena, № 12/1996)

‘Появилось так много и (к тому же) самых современных связей коммуникации, которые в общении между людьми перестает устранять [букв. ‘вытолкнуть, устранить’] даже эпистолярный жанр’.

*stumti* ‘толкать, выталкивать–вытолкнуть’ ⇒ *išstumti* ‘выталкивать’–‘вытолкнуть’ ⇒ *išstumdinėti* ‘то же (с дистрибутивным оттенком)’.

(14) (...) *Pradėjo atsiliepti ne vien architektai, bet ir dailininkai, rašytojai...* (Landsbergis: Lūžis)

‘Стали отзываться [поморф. ‘отозваться’] не только архитекторы, но и художники, писатели’

*liepti* ‘приказывать. велеть’ ⇒ *atsiliepti* ‘откликаться’–‘откликнуться’.

(15) (...) *Ji pasiėmė (...) apdžiūvusį buterbrodą, paskubom sukramtė ir atsigulė, nedegdama šviesos, paskui tyliai gulėjo, užplūsta neaiškaus nejaukumo, maudė lagaminų išstamptas rankas, pasikišo jas po galva ir vėl klausėsi savo alsavimo, visai biagdama užmigti* (Granauskas: Miškai)

‘Она взяла (...) засохший бутерброд, разжевала его быстренько и легла, не зажигая при этом свет, потом тихо лежала, залившись неясным чувством недостатка уюта, разминала оттянутые от чемоданов руки, сунула их под голову и снова прислушивалась к своему дыханию, кончая засыпать [букв. ‘заснуть’] совсем’

*mitgti* ‘засыпать–заснуть’ ⇒ *užmigti* ‘засыпать–заснуть’ [ср. примеры (11)].

Многие приставочные глаголы, правда, присоединяют еще и суффиксы. Но эти глаголы чаще всего обладают тем или иным дополнительным семантическим компонентом, по которому они лексически отличаются от своих производящих основ [Galnaitytė 1963: 126 и сл.: 1966]<sup>18</sup>.

Далее, многие литовские глаголы, обозначающие эмоциональное или ментальное состояние (patikti 'нравиться', priminti 'напоминать', atsiminti, prisiminti 'вспоминать'), позиционно-направленную установку (sutikti 'соглашаться'), а также некоторые глаголы, называющие социальные или другие взаимоотношения (sutarti 'жить в согласии', sutapti 'совпадать'), могут употребляться не только для обозначения состояний, но и называть начало этих же состояний<sup>19</sup>; ср. употребление глагола *sutikti* в прошедшем (16а) и настоящем (16б) времени:

(16а) *Prieš trejus metus Kompozitorių sąjungos vadovybė pakvietė mane dalyvauti festivalio repertuaro komisijoje. Sutikau.* (...) (Kultūros barai, 12/1996)

‘Три года назад управление Союза композиторов пригласило меня участвовать в комиссии по фестивальной программе. Я **согласился**...’

(16б) *Masinės komunikacijos pasaulis, sutinkame su tuo ar ne, yra kartu ir mūsų pasaulis...* (Kultūros barai, 4, 1997)

‘Мир средств массовой коммуникации, **согласны** (поморф. "согласимся") мы с этим или нет, одновременно и наш мир...’

В отличие от русского языка в литовском и состояние, и начало этого состояния (событие) обозначаются одним и тем же глаголом<sup>20</sup>. Иными словами: для данного типа аспектуальной ситуации название обеих ее частей не распределяется по двум морфологически соотносительным глаголам (как в русском и польском языках), а выражаются одним и тем же глаголом. Это явление наблюдается у большой группы глаголов, относящихся к перечисленным выше семантическим группам.

Правда, в литовском языке есть другой ряд морфологически соотносительных глаголов – чаще всего из тех же лексических групп, что и в русском и польском языках, – функций которых дополнительно распределяются по сопряженным компонентам одной и той же ситуации. Эти глаголы проходят тест Маслова на предельность<sup>21</sup>. Ср. такой стандартный контекст как *Aistė (visą dieną) rašė laišką, bet taip ir neparašė* ‘А. (весь день) писала письмо, но так его и не написала’, а также непридуманные примеры, в которых глаголы, создающие подобного рода словообразовательные пары, обнаруживают те же импликатуры resp. пресуппозиции по отношению друг к другу, что и их русские переводные эквиваленты<sup>22</sup>.

<sup>18</sup> Кроме того, есть случаи образования суффиксального деривата непосредственно от бесприставочной основы; напр., *rašyti* ‘писать’ ⇒ *rašinėti* ‘пописывать’, *siūti* ‘шить’ ⇒ *siuvinėti* ‘пошивать’ (‘шить время от времени’), *vaikščioti* ‘ходить, гулять’ ⇒ *vaikštinėti* ‘похаживать, “погуливать”’, а также *kelti* ‘поднять / поднимать’ ⇒ *kilnoti* ‘то и дело, попеременно поднимать и опускать’. Как видно уже из этих примеров, значение производящих глаголов в производных модифицируется, так что о какой-либо видовой парности говорить не приходится. Бывает также, что суффиксированные глаголы служат производящими основами для приставочных глаголов [Galnaitytė 1963: 126; 1966: 153 и сл.], но опять-таки в производном приставочном глаголе значение производящей основы модифицируется, т.е. создается отдельная лексема (напр., *siuvinėti* ‘вышивать’ ⇒ *prisiuvinėti* ‘вышить много чего-л.’).

<sup>19</sup> По классификации аспектуально релевантных ситуаций Броя эти глаголы относятся к группе инцептивно-стативных (ISTA); см. [Breu 1997].

<sup>20</sup> Чередование с *n*-инфиксом указывает только грамматическое время, а не аспектуальные различия.

<sup>21</sup> У Броя они относятся к группе градуально-терминативных (= GTER); см. [Breu 1997].

<sup>22</sup> Ср. также *laikyti-išlaikyti egzaminą* ‘сдавать-сдать экзамен’, *statyti-pastatyti namą* ‘строить-построить дом’, *spresti-išspresti (uždavinį)* ‘решать-решить (задачу)’, *stoti-įstoti*

(17a) *Saugumo rūsiuose mane vertė prisipažinti, itikinėjo – netiesiogiai – kad aš varau į kapus tėvą. Įrodinėjo, kad tėvas irgi sėdi, ir aš turiu palengvint jo dalią, nežudyt jo fiziškai savo tylėjimu* (Kauno diena, март 1998)

‘В подвалах безопасности меня хотели заставить признаться, убеждали – косвенно – что я загонял отца в могилу. Доказывали, что отец тоже сидит, и я обязан облегчить его участь, не убивать его физически своим молчанием’

→ предельный процесс (ar itikino? ‘убедил ли?’; ar įrodė? ‘доказал ли?’)

(17b) *Gerai, kad smarkiau ginčytis jis neturėjo jėgų. Kol baigiau visus darbus viršūnėje, vokitietis visiškai neteko jėgų. Beveik priedarta itikinau jį leistas žemyn, nes iki saulėlydžio buvo likusios trys valandos* (Lietuvos aidas, март 1996)

‘Хорошо, что для ожесточенных споров у него не было сил. Пока я закончил / заканчивал всю работу наверху, немец полностью лишился сил. Почти силой я его убедил спуститься, потому что до захода солнца оставалось три часа’

dfk (→ событие, предел достигнут).

Таким образом, к глаголам, которые в литературе предмета называются “несовершенными” (‘eigos veikslō’), относятся и такие, которые способны обозначать процесс, стремящийся к тому или иному естественному пределу, а достижение этого последнего обозначается соотносительным глаголом “совершенным” (‘įvykio veikslō’). В тест на предельность эти глаголы могут быть включены потому, что созданы они нетривиальные пары, т.е. их лексические толкования отличаются. Отличие это состоит в фокусации на разных компонентах толкования (см. раздел 4).

На этом, однако, сходство между литовскими и русскими (польскими) предельными парами и кончается, так как в русских и польских парах глагол НСВ может также выступать как полная лексическая “копия” своего эквивалента СВ, замещая его в грамматических контекстах, в которых употребление этого последнего невозможно. Иными словами: такие пары в литовском языке не удовлетворяют условиям тривиальности, т.е. глагол “несовершенный” не способен обозначать то же самое событие, которое называется глаголом “совершенным”.

Чтобы подкрепить этот ключевой вывод, рассмотрим соотношение в уже приводившейся паре предельных глаголов *itikinti* ‘убедить’ ⇒ *itikinėti* ≈ ‘убеждать’. См. значение глагола *itikinėti* в условиях настоящего исторического, как в следующем анекдоте:

(18) *Vyras itikinėja žmoną: – Neleiskime Eglei tekėti už Gintaro, juk gali susirasti geresnį. – Žinai, jei būčiau paklausiusi tėvų, tai ir dabar senmergiaučiau.* (Caritas, ноябрь 1996 г.)

≈ ‘Муж убеждает [пытается убедить] жену: – Не позволим Эгле выходить замуж за Гинтара, она ведь может найти себе кого-нибудь получше. – Знаешь, если бы я (в свое время) послушала своих родителей, то я не была бы замужем до сих пор’.

Если мы заменили бы *itikinėja* глаголом *itikina* (что в принципе возможно), мы сделали бы вывод, что муж сумел убедить жену (и, тем самым, конец анекдота вступил бы в противоречие с его началом). Глагол *itikinėti* такого вывода не допускает (и поэтому нет противоречия). Русский глагол *убеждать* в идентичном контексте может описывать как одно, так и другое, но из-за грамматических ограничений здесь нельзя употребить парный глагол *убедить* (см. 3.2).

Иными словами: в русском языке выбор глагола в предельной ситуации диктуется грамматическим контекстом и не оставляет свободы, в то время как

(1 *universiteta*) ‘поступать–поступить (в университет)’. В аспектологических работах таким парам всегда уделялось особенно много внимания, поскольку многие справедливо считают их одним из решающих моментов возникновения славянской видовой системы [Bergmel 1997: 143 и сл., 205 и сл., 391–396; Łaziński, Wiemer 1996: 102–105; Маслов 1959].

в литовском языке выбор зависит в первую очередь от тех лексических специфик, которые различают два соотносительных ("парных") глагола.

**3.6. Взаимодействие с настоящим и прошедшим временами.** Хотя этот обзор соотношений между формами, словообразовательными связями и функциональным распределением литовских глаголов неполный, он все-таки показывает, что нет какого-нибудь правила, по которому слова одного разряда ("вида", литовск. 'veikslas') заменились бы словами другого разряда. Правда, когда есть приставочные глаголы, причисляемые к "совершенным" и по значению вроде совпадающие с соотносительными глаголами без приставок, эти приставочные глаголы как правило употребляются предпочтительно в настоящем нарративном. То же самое верно относительно семельфактивных глаголов: см. *žvangtelėti* 'брякнуть' (← *žvangti* 'брякать, бряцать') в (20):

(19) – *Ko čia laukiam? – išgirsta* (= 'girdi) *nekantrius Fausto žodžius. Jaunuolis dygėdamasis dairosi po savo dirbtuvę. – Viskas sudvisę, suplėkė, net kvėpuoti nėra kuo, – bjaurisi ir, pripuoles prie lango, pakelia* (= 'kelia) *jį tokia jėga, kad sužvanga* (= 'žvanga) *spalvoti stiklai ir metaliniai jų apkaustai* (V. Zilinskaitė: Sešėlis)

– Чего мы тут ждем? – слышит [поморф. 'услышит'] он нетерпеливые слова Фауста. Юноша воспаленно озирается по своей мастерской. – Все сгнило и покрылось плесенью даже дышать нечем, – с отвращением говорил он и, припав лицом к окну, поднимает [поморф. 'поднимет'] его с такой силой, что начинают звенеть [поморф. 'зазвенят'] цветные стекла и их металлические оковки'.

(20) (...) *Riauka lėta pakyla* (= 'kyla), *ir girdėti, kaip traška jo sąnarių kaulai. Jis nieko nepasako* (= 'nesako) *šuniui, nes jiedu jau seniai gyvena. Žvangteli* (= 'žvanga) *priemenės skląstis. Šuo gulasi ant slenkščio akmenų, – akmenys ilgai išlaiko dienos šiltį* (Granauskas: Miškai)

'Ряука медленно встает [поморф. 'встанет'], и слышно, как трескаются суставы ее костей. Он ничего не говорит [букв. 'скажет'] собаке, потому что оба живут уже давно. Звонит [букв. 'зазвенит', семельфакт.] засов двери в передней. Собака ложится на камень порога, – камни долго сохраняют тепло дня'.

Этот факт отмечали уже другие исследователи (см. еще обзор в [Safarewicz 1938:10 и сл.]) и находили в нем основание для выделения оппозиции между перфективным глаголом (с приставкой) и глаголом аспектуально неустойчивым. Такой вывод, скорее всего, оправдан. Но большинство исследователей использовало это наблюдение для утверждения, что в литовском языке устанавливается (или уже установилась) видовая оппозиция, не оговаривая при этом, имеет ли такая оппозиция лексический (т.е. ограниченный) характер или грамматический. Вместе с тем, как правило, не было замечено, что перфективация как таковая еще не влечет за собой возникновение перфективного вида – тем более, если она связана с изменением значений в производных глаголах.

Вследствие этого приходилось утверждать, что в литовском языке имеется большое количество "двувидовых" глаголов и что "видовая" принадлежность глагола меняется в зависимости от того, в каком грамматическом времени он употребляется (sic!). Так, например, глагол *ateiti* 'прийти, идти' относили к "совершенному виду", если он выступает в настоящем времени (*Ziūrėk, jis ateina* 'Смотри, он идет / приближается'), а к "несовершенному виду", если он употребляется в прошедшем времени (*Jis atėjo* 'Он пришел')<sup>23</sup>. Ложность такой аргументации заключается в том, что грамматический характер оппозиции принимается за данное и не учитывается, что грамматический vs. лексический статус этой оппозиции поддается градации. Поскольку этот статус в литовском и русском языках разный, сопоставление литовского "вида"

<sup>23</sup> См. [Dambriūnas 1959; Galnaityte 1963: 130; Jakaitiene et al. 1976: 138 и сл.; Paulauskienė 1994: 295; Мустейкис 1972: 150].

с русской видовой системой часто сводилось к "подгонке" фактов под систему русского (или польского) языка<sup>24</sup>.

**3.7. Синкретизмы как признак продвинувшейся грамматикализации.** Вернемся еще к наблюдению, касающемуся настоящего нарративного. Важно отметить, что тенденцию предпочтительного употребления глаголов с якобы "лексически опустошенной" приставкой (*pa-*, *su-*) в этом контексте – явление иного порядка, чем другие грамматические категории, как время и наклонение. Во-первых, тенденция употребления таких приставочных глаголов в настоящем времени не охватывает всех глаголов какого-нибудь четкого определяемого разряда, так как в ней участвуют глаголы довольно различных семантических и морфологических групп. Во-вторых, отмеченная тенденция не ведет к изменению функций самих взаимодействующих категорий времени и наклонения. Естественно предполагать, что отмеченное явление к изменению этих функций не ведет именно потому, что оно всего лишь тенденция, а не закономерность или правило.

Эти оговорки позволяют различать разные стадии развития в сторону грамматикализации аспектуальных свойств, которое в русском и польском языках близко к концу, тогда как в литовском оно до сих пор осталось на гораздо более "девичьей" стадии. Более продвинутый этап эволюции в славянских языках отражается в том, что видовая характеристика начала образовывать функциональные и формальные синкретизмы ("кластеры") с другими парадигмами форм и функций, см. 3.3–3.4, где были обсуждены синкретизмы, т.е. имплицативные связи, между видом и грамматическим временем, наклонением и залогом. Кроме того, были упомянуты формальные синкретизмы между выбором вида и типами причастий и деепричастий (ограничения на выбор основы инфинитива или настоящего времени). Все это синкретизмы на уровне как форм, так и функций. В литовском языке, как было показано, никаких таких ограничений нет, синкретизмов на уровне грамматических парадигм не обнаруживается. Поэтому выбор глагола из пары производящего–производного продолжает подчиняться практически полностью лексическому потенциалу каждого глагола. И поэтому богатый и продуктивный набор аффиксов литовского языка приходится охарактеризовать как чрезвычайно развитую систему способов действия, которая не выкристаллизовалась, однако, до сих пор в систему видовых оппозиций, удовлетворяющих условиям грамматикализации, которые обсуждались в разделах 1–2.

**3.8. Выводы.** Факты, показанные выше, нуждаются в уточнении. Общая картина, однако, ясна. Проанализированные примеры позволяют сделать вывод, что даже те глагольные пары литовского языка, которые по своей форме, по своему аспектуальному поведению и по соотношению лексического значения больше всего напоминают русские видовые пары, таковыми считаться не могут, потому что нет ни одного типа контекста, в которых лексические различия снимались бы полностью и в которых выбор одного глагола из пары обуславливался бы лишь грамматическими соображениями. Разница в смысле доказывает, что толкования морфологически соотносимых глаголов не могут быть совсем тождественны. Более того: что ни в одном контексте (даже в настоящем историческом и в контексте многократности) они не могут быть тождественны.

В остальных аспектуальных классах глаголов либо не наблюдается никакого парного соотношения, либо употребление морфологически производных глаголов возможно лишь факультативно, но, снова-таки, не подлежит каким-нибудь правилам, делающим выбор одного из двух глаголов обязательным в каком-нибудь контексте.

В общей сложности оправдано утверждение, что в литовском языке нет пар, отвечающих условиям тривиальности (тривиальной замены). А эти условия являются предпосылкой для того, чтобы два морфологически соотносительных глагола создавали одну сложную парадигму, в которую входят как видо-временные характеристики, так и наклонение и залог.

<sup>24</sup> Подобное обобщение высказал и Кренцле [Kränzle 1997: 137].

В следующем разделе мы ближе присмотримся к лексическим соотношениям морфологически соотносительных глаголов с тем, чтобы выявить единую лексикологическую основу одного из решающих факторов развития славянской видовой системы и его проявлений в современном состоянии литовского языка, а также чтобы указать на "отголоски" такого состояния в современном русском языке.

#### 4. ЛЕКСИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Полностью тривиальные пары, в которых значение глаголов НСВ и глаголов СВ во всех контекстах имеет одинаковое толкование (как *прийти / приходит, заметить / замечать, споткнуться / спотыкаться* и т.п.), составляют меньшинство. В большинстве же случаев пары не вполне тривиальные, потому что в них хотя один глагол и толкуется через значение другого, но при этом включает в себя тот или иной семантический прирост. Эта семантическая "надбавка" может мешать реализации тривиального значения. Какой из двух глаголов при этом трактуется как семантически более сложный, для излагаемых здесь рассуждений не имеет особого значения. Ср., например, соотношение в *отговорить / отговаривать*. Значение глагола НСВ *отговаривать* полностью входит в значение СВ *отговорить*, но не исчерпывает его. Гловинская [Гловинская 1982: 89–91] относит эту пару к семантическому типу 'действовать с целью – цель реализована'; ср. предложение с глаголом СВ:

(21) *X отговорил Y-а от рискованной поездки.*

Тривиальное употребление НСВ *отговаривать* повторяет это значение без какой-либо "примеси"; функция обозначения многократного действия типа *отговорил* не влияет на лексическое значение, а связана со своего рода оператором, сфера действия которого охватывает всю пропозицию (предложение) в целом, как бы извне. То же самое касается нарративного настоящего. Поэтому можно сказать

(22) *X отговаривал Y-а от рискованных поездок,*

имея в виду, что 'X многократно преуспевал в том, чтобы отговорить Y-а от рискованных поездок (каждый раз от другой рискованной поездки)' ( $\cong$  'X действовал на Y-а с целью P и эта цель каждый раз была реализована, т.е. Y не ехал в планируемые им поездки из-за уговоров X-а'). Однако *отговаривать* допускает и нетривиальное употребление, в соответствии с которым предложение (22) – особенно если дополнение стоит в единственном числе (*от поездки*) – можно понять как 'X в какой-то один промежуток времени действовал на Y-а словами (аргументами) с тем, чтобы склонить или убедить Y-а не ехать в планируемую им (рискованную) поездку' ( $\cong$  'X действовал на Y-а с целью P'). Нетривиальный прирост значения состоит в вводе некоторого (квази)процессного компонента в предельное значение, и в данной видовой паре только глагол НСВ способен выражать этот дополнительный компонент<sup>25</sup>.

Если в русском и польском языках наличие нетривиального соотношения между глаголами пары может усложнять тривиальное употребление глагола НСВ, то в литовских парах вообще нет никакого тривиального соотношения (см. 3.5–3.6). Лексическое соотношение литовских "парных" предельных глаголов (типа *įtikinti-įtikinėti*) сводится к различиям в асертивной части (фокусе) толкования, т.е. в том, что

<sup>25</sup> Во многих подобного рода парах глагол НСВ (по крайней мере в прошедшем времени) может приобретать конативную импликацию ('X пытался сделать P, но ему это не удалось'). Такая импликация влечет за собой различные последствия на прагматическом уровне, которые в той или иной степени должны быть учтены в толкованиях. Здесь вникать в эту проблему глубже не будем (см. об этом [Wiemer 2000a]), поскольку для сопоставления с литовским языком достаточно заметить, что подобные импликации могут возникать в парах типа *rašyti-parašyti* 'писать / написать', *įtikinti-įtikinėti*  $\approx$  'убедить / убеждать', напоминающие и морфологически и семантически соотношение между ближайшими русскими эквивалентами (см. 3.5).

собственно утверждается: почти все компоненты значения у обоих глаголов общие, но различно соотношение между пресуппозитивной, ассертивной и имплицативной частями толкования. Между НСВ и СВ в предельной паре устанавливается нетривиальная, но регулярная обоюдная связь, которую в обобщенном и несколько упрощенном виде можно сформулировать так: процесс, фокусируемый в значении НСВ, имплицитует естественный предел, а этот предел, фокусируемый парным глаголом СВ, пресуппонирует предшествующий предельный процесс (см. [Wiemer 2000a]). На этом соотношении и "оперируют" известные тесты на предельность (см. 3.5). Пары этого типа чрезвычайно "разношерстны"<sup>26</sup>: лексическое соотношение между парными предельными глаголами настолько разнообразно, что бывает трудно подвергнуть их какому-то одному лексикологическому описанию (см. подробнее [Wiemer 2000a; Вегу 1980:205–210; Гловинская 1982:71–115].) Единственная основа, оправдывающая объединение их в видовые пары, – это вновь их функциональное распределение, связанное с критериями тривиальности.

**4.1. Модификация, фокусация и контурация.** На этом фоне рассмотрим теперь вопрос, каково может быть нетривиальное соотношение между толкованиями производной и производящей единиц. Ответ на этот вопрос должен помочь нам понять, как, скорее всего, изначально выглядели лексические операции, которые содействовали возникновению современной видовой системы в славянских языках и как они отражаются еще в современном состоянии литовского языка (и отчасти в самих славянских), а также – как они могут описываться с помощью толкований. При этом главный упор мы будем делать на соотношении бесприставочных глаголов с их приставочными дериватами.

Описывать смысловое соотношение между морфологически соотносительными глаголами удобно с помощью понятия "функциональных операций", недавно введенного в научный оборот Ф. Леманом [V. Lehmann 1996; 1999a : 232–252]. Под "функциональными операциями" (ФО) он понимает "общие принципы, по которым изменяются значения в семантическом инвентаре какого-нибудь языка" [V. Lehmann 1996 : 255]. Их экспликация опирается на опыт толкования московской лексикологии, в первую очередь на работу Апресян [Апресян 1995a]. Однако, в отличие от Апресяна и его последователей Леман применяет эти принципы не только к вопросам словообразования и полисемии на синхронном уровне какого-нибудь языка, но и к диахроническому развитию в составе лексических единиц языков. ФО в принципе придуманы и для описания изменений в грамматических системах, но в этой области они пока что оказываются относительно мало использованными (за исключением, пожалуй, эволюции видовой системы; ср. [V. Lehmann 1999a; Mende 1999].

Леман оперирует семью ФО, но нас здесь будут интересовать только три, а именно: 'модификация', '(ре)фокусация' и 'контурация'. Для того, чтобы лучше уяснить себе эти термины, рассмотрим, как явления, которые ими называются, отражаются на семантическом соотношении морфологически парных глаголов как в литовском, так и в русском и польском языках.

Модификация может состоять либо в добавлении, либо в устранении какого-нибудь элемента в толковании производной единицы, либо в замене одного элемента другим. Наверное, наиболее известный случай модификации в области глагольного словообразования представляют собой так наз. способы действия (в их традиционном понимании; см. 3.1). Способы действия – морфологически маркированные (чаще всего с помощью приставок) модификации лексического значения производящего (как правило бесприставочного) глагола; напр., *искать* 'стараться найти что-либо спрятанное, потерянное, скрытое' ⇒ *разыскивать* 'усиленно и на большой территории стараться

<sup>26</sup> Другие пары этого типа: русск. *убеждать / убедить, строить / построить дом, добиваться / добиться визы, решать / решить задачу*; пол. *namawiać / namówić* 'уговорить / уговаривать', *zdawać / zdać egzamin* 'сдать / сдавать экзамен', *dowiadawać się / dowiedzieć się* 'узнать / узнавать' (ср. также сноску 22).

найти что-либо спрятанное, потерянное, скрытое'. Или: *солить* 'класть соль в пищу' ⇒ *пересолить* 'положить слишком много соли в пищу'; *идти* ≈ 'передвигаться определенным образом так, чтобы оказаться в каком-то месте' ⇒ *перейти (через площадь)* 'передвигаться определенным образом так, чтобы преодолеть какое-то пространство' + 'преодолеть это пространство'. (Часть после '+' в этом толковании появляется потому, что данный глагол принадлежит к СВ, так что ассертивный фокус его значения охватывает и предел.) Способы действия представляют собой частный случай модификации, который можно назвать 'включением'. В этом случае все значение семантически производящей единицы входит в значение производной единицы, а в этой последней появляются дополнительные компоненты.

(Ре)фокусация отличается от модификации тем, что состав компонентов в толкованиях сопоставляемых единиц не меняется, зато между хотя бы двумя компонентами происходит перемещение акцента. Иными словами: весь состав компонентов производящей и производной единиц совпадает, но внутреннее соотношение этих компонентов и их "удельный вес" отличаются. Поэтому уместно говорить о перемещении лексического фокуса (ассерции). Подобный сдвиг наблюдается как раз у предельных видовых пар русского и польского языков, в которых глагол НСВ способен обозначать процесс, который имплицитно естественный (внутренний) предел, а этот последний обозначается парным глаголом СВ. Так же ведут себя лексические парные эквиваленты в литовском языке (см. 3.5). В терминологии когнитивной лингвистики перемещению фокуса соответствует '(ре)фокусация' или '(ре)профиляция', т.е. это, по сути дела, перераспределение фигуры ("гештальта") и фона<sup>27</sup>. Для краткости я в дальнейшем буду говорить просто о 'фокусации'.

Наконец, 'контурация' – это процесс и результат устранения диффузности, свойственной производящей единице (или исходному значению); производная единица соответственно называется 'контурированной'. Диффузность отражается в наличии двух или более вариантов значения, причем равноправных. В толковании ее символизирует элемент 'и / или' (или '∨'), причем компоненты, стоящие по обеим сторонам знака дизъюнкции, представляют собой варианты, которые на синтагматическом уровне (в предложении) могут быть выражены совместно (один за другим)<sup>28</sup>. Диффузным является, например, литовское вопросительное местоимение *kas* (и все производные от него неопределенные местоимения *kai kas*, *kas nors*, *kaž(in)kas*) по сравнению с его русскими эквивалентами *кто* и *что*. Эти местоимения как раз соответствуют каждое одному из вариантов диффузного значения лит. *kas* 'кто ∨ что', которые могут реализоваться в рамках одного предложения (напр., *Kas atėjo ir ką atnešė?* 'Кто / что пришел / пришло и кого / что принес / принесло / принесли?'). У глаголов диффузность может быть не только лексической, но и аспектуальной. Диффузны как раз аспектуальные функции большого количества литовских глаголов, которые в прошедшем времени по умолчанию обозначают событие (*l susirinkimą jis atėjo pavėluotai* 'На собрание он пришел с опозданием'), а в настоящем (ненарративном) времени реализуют прогрессивное значение (*Ziūrėk, va jis ateina* 'Посмотри, вот он идет' [поморф. 'придет']). Об аспектуальной диффузности в принципе шла речь уже в 3.5. Ниже мы сосредоточимся на лексической диффузности, чтобы затем показать, каким образом устранение лексической диффузности может повлиять на устранение аспектуальной диффузности<sup>29</sup>.

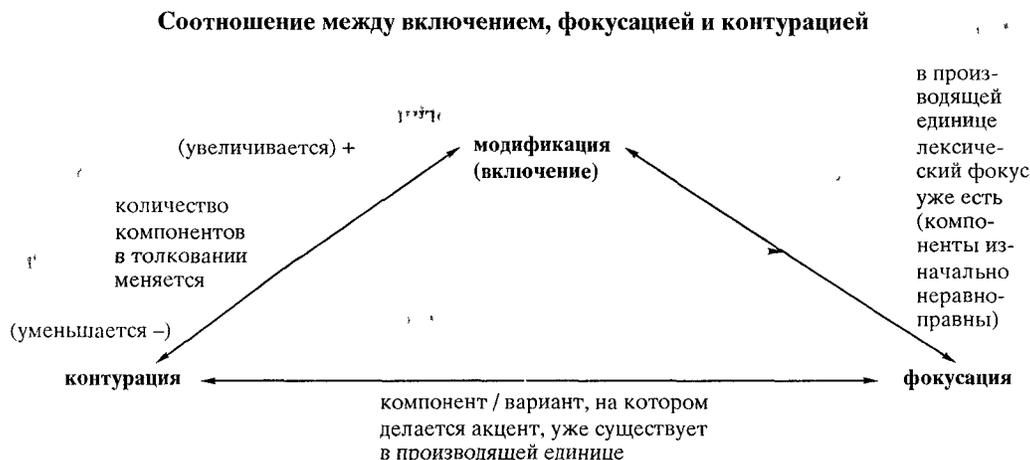
<sup>27</sup> Поскольку элементы ситуации (положения дел), которые эксплицируются компонентами толкования обоих глаголов в паре, предстают как 'фигура' и 'фон' и расположены друг к другу по смежности, в данном соотношении можно, если угодно, усмотреть частный случай метонимии. Но здесь этот вопрос хотелось бы оставить в стороне.

<sup>28</sup> См. [V. Lehmann 1996: 279 и сл.; Урысон 1997], где, однако, перепутаны включительная (инклюзивная) и исключительная дизъюнкции.

<sup>29</sup> То, что аспектуальные и собственно лексические компоненты в толковании следует разъединять, убедительно показала Гловинская [Гловинская 1982: 37 и сл.].

Различия и сходства трех названных ФО можно сформулировать следующим образом. В значении единицы, подлежащей контурации, не добавляется какой-либо элемент к компонентам производящей единицы и не видоизменяется ни один из ее компонентов, а просто "вычеркивается" один из равноправных вариантов значения производящей единицы (до того дизъюнктивно создающих варианты одного значения). В этом состоит отличие от включения (разновидности модификации) и фокусации, поскольку эти операции действуют на единицах, в которых лексическое значение уже контурировано, т.е. которые уже обладают своим лексическим фокусом (изначально отсутствует дизъюнкция). Далее, еще одно отличие контурации от включения состоит в том, что в последнем количество компонентов в толковании возрастает, тогда как в случае контурации хотя бы один компонент (вариант) уходит. Контурация и фокусация оперирует только на уже существующих компонентах значения и по этому критерию обе вместе противопоставляются модификации. Сказанное изображается в следующей схеме:

Схема 5



**4.2. Лексическая диффузность.** Лексическая диффузность характерна для большого количества бесприставочных глаголов современного литовского языка. Те приставки, которые как бы повторяют один из вариантов в толковании бесприставочных основ, подчеркивают ("контурируют") его и, тем самым, устраняют диффузность. Ср., например, глагол *stūmti* 'толкать, выталкивать-вытолкнуть' в примере (13) и *braukti* 'черкать, вычеркивать-вычеркнуть' в следующем:

(23) (...) *taip / brauk* [= *išbrauk*] *mus iš visų savo popierių / mes toliau gyvensim savo galva / lik sveika* / (...) (из телевидения)  
'так / **вычеркни** [поморф. 'черкай'] нас из всех своих бумаг / мы дальше будем жить своей головой / будь здорова (...)'

Вместо *braukti* в данном примере можно было бы употребить также *išbraukti*. Однако совпадение значения обоих глаголов в данном контексте объясняется тем, что приставочный дериват лишь эксплицитно подчеркивает тот вариант значения *braukti*, который вытекает из контекста. Иными словами: приставка, сочетаясь с данной основой, перенимает на себя эксплицитно функцию указания того варианта значения, который иначе приходилось бы "вычислять" из взаимодействия бесприставочной основы глагола с контекстом.

Лексическую диффузность нередко сопровождает полисемия, а границы между

диффузностью и полисемией установить бывает трудно (см. ниже). Ср. другие лексически диффузные бесприставочные глаголы в литовском языке:

- (24a) *keisti* 'менять, разменивать (= *iškeisti*), изменять, заменять (= *pakeisti*)'  
(24б) *kratytis* 'избавляться (= *atsikratyti*), избегать, отказываться'  
(24в) *kraustyti* 'переезжать (в новую квартиру = *persikraustyti*)'  
(24г) *leisti* 'пускать, пропускать (= *praleisti*), издавать (= *išleisti*), отпускать, увольнять (= *atleisti*), прощать (= *atleisti*)'  
(24д) *lenkti* 'гнуть, сгибать (= *sulenkti*), отгибать (= *nulenkti*), обходить (= *aplenkti*), перегонять (= *aplenkti*), превосходить (= *aplenkti*)'  
(24е) *skirti* 'делить, выделять (= *išskirti*, *paskirti*), отделять (= *atskirti*), разделять (= *išskirti*), назначать (= *paskirti*)'  
(24ж) *taikytis* 'приспосабливаться (= *prisitaikyti*), мириться (= *susitaikyti*)'  
(24з) *veikti* 'действовать, преодолевать (*įveikti*), влиять (= *paveikti*)'

В отличие от типичного случая модификации глаголы, соотносимые как лексически диффузный и контурированный глаголы, при замене в одинаковом контексте (предложении) не ведут к изменению смысла высказывания. Однако объем возможных контекстов, в которых может употребляться диффузный бесприставочный глагол, больше, чем у контурированного приставочного деривата. Так, например, у *рвать* больше возможных контекстов, чем у *сорвать* / *срывать*, *оторвать* / *отрывать*, *вырвать* / *вырывать* и *разорвать* / *разрывать*, вместо которых может быть употреблен бесприставочный *рвать*<sup>30</sup>; ср.:

- (25a) *Смотри, никто не рвет этот одиночный гриб* (= 'срывает')  
(25б) *Смотри, хулиган рвет афишу со стены* (= 'срывает', в разговорной речи)  
(25в) *Осторожно, ребенок рвет пуговицу с рубашки* (= 'отрывает от')  
(25г) *Не входи в комнату! Врач рвет зуб* (= 'вырывает')  
(25д) *Несколько раз начинала она свое письмо, – и рвала его* (= 'разрывала')

(Пушкин; пример из МАС).

Из этого вытекает, что бесприставочные диффузные глаголы и их контурированные приставочные производные не вступают в дополнительное распределение. В отличие от этого при модификации производящий и производный глаголы не могут заменить друг друга в каком-то одном значении. Ср.

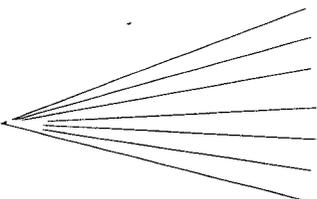
- (26) *Террористы взрывают / взорвали ('рвут' / 'порвали) мост.*  
(27) *Она пишет / написала письмо ≠ Она переписывает / переписала письмо.*  
(28) *Он идет / пошел к зданию парламента.*  
≠ *Он переходит / перешел к зданию парламента.*

Примеры с *рвать* показывают, что контурация может касаться более, чем одного варианта значения диффузного глагола. Тогда диффузному глаголу противостоят два приставочных глагола (или даже больше). Два производных образуются прежде всего тогда, когда у диффузного глагола ровно два варианта, создающих антонимию. В современном русском языке таких глаголов нет, но в литовском можно указать на следующие примеры: *jungti* 'включать √ выключать' ⇒ *įjungti* 'включать' vs. *išjungti*

<sup>30</sup> В толкование *рвать* входит примерно такая формулировка: 'резким движением отделять от какой-нибудь (вертикальной или горизонтальной) поверхности √ вынимать из почвы или какой-нибудь другой основы √ разъединять какой-нибудь цельный предмет'. В толкованиях его приставочных дериватов мы найдем тогда: *оторвать* 'резким движением отделять от какой-нибудь поверхности', *сорвать* 'резким движением отделять от какой-нибудь поверхности', *вырвать* 'резким движением вынимать из почвы или какой-нибудь другой основы', *разорвать* 'резким движением разъединять какой-нибудь цельный предмет'.

‘выключать’, *rengtis* ‘одеваться ∨ раздеваться’ ⇒ *apsirengti* ‘одеваться’ vs. *nusirengti* ‘раздеваться’, *daryti duris* ‘открывать ∨ закрывать дверь’ ⇒ *atidaryti duris* ‘открывать дверь’ vs. *uždaryti duris* ‘закрывать дверь’, *lipti* ‘садиться [поморф. ‘лезть’] (в автобус) ∨ выходить (из автобуса)’ ⇒ *ilipti (i autobusq)* ‘садиться (“влезать”) в автобус’ vs. *išlipti (iš autobuso)* ‘выходить (“вылезать”) из автобуса’<sup>31</sup>.

Картина осложняется по крайней мере двумя обстоятельствами. Во-первых, контурация бесприставочного глагола может сопровождаться модификацией и фокусацией. Во-вторых, продукты модификации и фокусации, существенно отдаляясь от значения мотивирующей основы, могут лексикализоваться. Так, например, лит. *versti* имеет широкую “палитру” значений, из которых исходным, по-видимому, приходится признавать конкретное значение ‘переворачивать, скидывать’ (например, *камень*). Этому значению соответствуют дериваты *apversti<sub>1</sub>*, *perversti*, *užversti* ‘переворачивать’ и *nuversti<sub>1</sub>* ‘скидывать, сбрасывать’. Но от *versti* существуют еще производный *apversti<sub>2</sub>* со значением ‘запахать (навоз в землю)’, видимо возникшим через метонимическую (или синекдохическую) ассоциацию с пере- или об-ворачиванием почвы на поле (*ap-* = *o(b(-)*, и производный *nuversti<sub>2</sub>* в значении ‘устранить, свергнуть власть (правительство и т.п.)’, связанный с конкретным значением *nuversti<sub>1</sub>* скорее всего метафорическим переносом. Кроме того, от *versti* образованы приставочные *išversti* ‘переводить (текст)’, *priversti* ‘заставлять, принуждать’ и *paversti* ‘превращать (во что-л.)’, в которых предположительно первоначальное конкретное значение *versti* утрачено или по крайней мере сильно затемнено. *Priversti* и *paversti* к тому же близки к вспомогательным глаголам (сочетаемость с инфинитивом). Помимо всего этого само *versti* продолжает употребляться во всех названных семи значениях; ср.

- (29) *versti* 
1. *perversti*, *užversti* ‘переворачивать’
  2. *nuversti<sub>1</sub>* ‘сбрасывать (камень с холма)’
  3. *nuversti<sub>2</sub>* ‘устранить (власть, режим)’
  4. *apversti<sub>1</sub>* ‘переворачивать; опрокидывать’
  5. *apversti<sub>2</sub>* ‘запахать (навоз в землю)’
  6. *išversti* ‘переводить (текст)’
  7. *priversti* ‘заставлять (сделать что-л.)’
  8. *paversti* ‘превращать (во что-л.)’.

*Versti* можно расценивать как лексически диффузный глагол по сравнению с дериватами *perversti*, *užversti*, *nuversti<sub>1</sub>* и *apversti<sub>1</sub>*. Т.е. в деривации *versti* ⇒ *perversti*, *užversti*, *nuversti<sub>1</sub>*, *apversti<sub>1</sub>* можно усмотреть пример подчеркивания и, тем самым, повторения семантикой приставки одного из элементов толкования *versti* в данном значении; т.е. эти приставки в данных случаях контурируют заложенное в *versti* конкретное значение. По отношению к остальным дериватам *versti* предстает как полисемический глагол.

Что касается аспектуального поведения, то – помимо отсутствия надежных статистик – можно сказать, что бесприставочные глаголы типа *versti* во всех своих значениях регулярно употребляются в большинстве аспектуально релевантных контекстов, довольно свободно “заменяя” производные приставочные глаголы. Правда, наблюдается тенденция к использованию именно этих дериватов не только тогда, когда необходимо однозначно обозначить, какое из лексических значений, заложенных в бесприставочном глаголе, актуализируется, но и тогда, когда нужно подчеркнуть

<sup>31</sup> Определенную трудность составляют однонаправленные глаголы движения (типа *идти*) и их каузативные соответствия (типа *нести*), поскольку в их значении может контурироваться либо начало движения, либо его конец. Эта проблема заслуживает более подробного анализа.

потенциальность действия (напр.. *Jis išverčia bet kokį tekstą* 'Он переводит / переведет какой угодно текст') или его результат. безразлично к кратностным характеристикам изображаемой ситуации (ср. *Poezija jis verčia puikiai* 'Поэзию он переводит великолепно' vs. *Užsakytus jam tekstus jis visada išverčia sutartu laiku* 'Заказанные ему тексты он всегда переводит в срок').

Как отмечалось в 3.5–3.6. аспектуальные функции глаголов, вступающих в морфологические пары. внешне похожие на русские (польские) видовые и частично ведущие себя так же как они. не распределяются дополнительно именно потому, что лексические различия между ними никогда не стираются полностью. Только что проделанный анализ с применением трех ФО позволяет дать этому наблюдению лексикологическое объяснение. Префиксация лексически диффузных бесприставочных основ может привести к строго дополнительному аспектуальному распределению с приставочным дериватом только в том случае. если снимается лексическая диффузность также и у бесприставочного глагола. При этом в процессе, ведущем к появлению производного глагола с приставкой. не должна участвовать модификация. Тогда, т.е. если оба глагола (производящий и производный) контурированы и заодно описывают принципиально одну и ту же ситуацию (т.е. их толкования содержат одинаковое количество общих нетривиальных компонентов). различие между ними будет сводиться либо к результатам фокусации (каждый глагол имеет разный ассертивный фокус), либо к полной лексической синонимии. Первый случай представлен в русских собственно предельных парах (типа *строить / построить, доказать / доказывать*), второй лежит в основе чисто тривиальных пар типа *прийти / приходиться, заметить / замечать*. Оба случая объединяются тем, что для них можно найти общий набор аспектуальных функций, установимых из выбора глагола (из пары) с взаимно исключаящими "поднаборами" функций для каждого глагола в паре (ср. 3.3).

Для истории русского языка случаи контурации бесприставочного глагола были упомянуты – хотя и под несколько другим углом зрения и в другой терминологии – в работах [Вен 1980: 201 и сл.; 1984: 132–137; 1992: 121 и сл.; Bermel 1997: 290–298]. Подобным образом, еще в 50-е годы было замечено, что значение приставки может совпадать с одним из вариантов значения бесприставочного глагола и что этим следует объяснить якобы "нулевой" эффект так наз. "чистовидовых" приставок (см. обзор в [Кронгауз 1998: 81 и сл.]). По работе Авиловой [Авилова 1964] можно судить, что лексически диффузных бесприставочных глаголов в русском языке было гораздо больше еще в XIX веке; ср., например, *нудить* (= *принуждать*), *щитить* (= *защищать*), *полнить* (= *наполнять, переполнять, заполнять*), *крыть* (= *покрывать, закрывать, скрывать*), *винить* (= *обвинять*), *греть* (= *согревать*), *страшить* (= *устрашать*) [Авилова 1964: 12–21].

Это историческое состояние достаточно верно отражает современную ситуацию в литовском языке. Иначе говоря: в литовском языке по большому счету сохранилось архаичное лексическое соотношение между глагольными основами и их дериватами. Здесь уместно напомнить, что "техника" аффиксации в литовском и славянских языках одинаковая и в течение веков не изменилась. Все эти доводы вместе дают основание предполагать, что тщательное изучение литовского глагольного словообразования, если оно будет вестись с систематическим учетом связанных с ним функций и с лексикологической точки зрения, поможет прояснить эволюцию видовой системы в русском и других славянских языках.

**4.3. Диффузность и "тройки" в современном русском языке.** Остается теперь показать, как с этими выводами согласовывается современное положение видообразования в русском и польском языках. В них лексически диффузные бесприставочные глаголы не исчезли совсем. Ср., напр., *резать* и его производные в [ТКС 1984] и *рвать* с примерами, приведенными в (25). Другие примеры: *крепить* (*знамя, плакат*), *ломать* (*шоколад*), *вязать* (*арестованного*), *копать* (*картошку*).

О существовании лексически диффузных глаголов можно судить косвенно также по

недавней работе [Апресян 1995]. В ней автор обратил внимание на проблемы лексикографической трактовки хорошо известных "троек" типа *множиться – умножиться – умножаться*, в которых участвуют по два глагола НСВ с одинаковым или почти одинаковым значением. Анализируемое Апресяном явление подпадает под обсуждаемые здесь лексические механизмы, содействующие видообразованию. Сам он, правда, не отказывается от характеристики русской видовой системы как словоизменительной<sup>32</sup>. Но такой взгляд вызван, скорее всего, традиционным представлением о том, что словообразование не может приобретать грамматического характера (см. 2.1), и не отменяет того факта, что вид определяется в русском языке выбором глагольной основы, а не посредством прибавления какого-нибудь флективного аффикса. Особенность троек заключается единственно в том, что нарушается принцип парности и что перед лексикографом (и лексикологом) стоит задача обосновать, какому из двух конкурирующих глаголов НСВ следует отдать предпочтение как менее "ущербному" в образовании парадигмы совместно с глаголом СВ.

Решая именно эту задачу, Апресян приходит к выводу, что такие тройки нужно разделить на четыре группы. Из них первая отличается тем, что приставочный глагол НСВ является вариантом бесприставочного, поскольку он лексически и по своим синтаксическим свойствам не отличается от бесприставочного глагола НСВ, но он стилистически отмечен и, вместе с тем, менее употребителен и обладает не всеми функциями, которые свойственны конкурирующему бесприставочному глаголу НСВ. Из примеров Апресяна можно привести: *лепить (великана из снега) – слепить – слепливать, бить (Часы бьют полночь) – пробить – пробивать, слушать (курс лекций) – прослушать – прослушивать, вязать – связать – связывать* (там же: 109). В них соотношение бесприставочных глаголов НСВ и приставочных дериватов СВ близко к описанному выше соотношению литовских бесприставочных и образованных от них приставочных глаголов (*keisti – pa-lap-liš-keisti, jungti – išjungti / įjungti* и т.д.). Однако этот лексикологический тип в русском языке представлен относительно небольшим числом троек. Самым многочисленным из четырех лексикографических типов троек оказывается третий подтип, в котором приставочный и бесприставочный глаголы НСВ существенно отличаются по смыслу, а видовую пару с глаголом СВ образует только глагол НСВ с приставкой<sup>33</sup>. См. примеры: *гореть – сгореть / сгорать, травить (крыс) – отравить / отравлять, чесать – расчесать / расчесывать*. Характерно, что "большинство глаголов этого подтипа обозначают изменение физического состояния объекта" [Апресян 1995: 112].

Результаты анализа Апресяна показывают, что в русском языке лексическая модификация при приставочной деривации и фокусация в рамках создаваемой пары глаголов с одинаковой приставкой приводят в большинстве случаев к лексическому отрыву бесприставочного глагола от такой пары. Об этом свидетельствует количественный перевес третьего подтипа троек (того, в котором собственно видовая пара образуется только с вторично суффиксированным глаголом) над первым (в котором в собственно видовую пару входит исходный глагол без приставки). Суть префиксации в третьем подтипе состоит в модификации значения бесприставочной основы, как это имеет место в подавляющем большинстве случаев, когда к основе добавляется приставка. Там, где этого не происходит и образуется пара из бесприставочного глагола и приставочного деривата (первый подтип Апресяна), префиксация маркирует контурацию, которая в дальнейшем может превратиться в фокусацию (см. 4.1). А это

<sup>32</sup> См. [Апресян 108]. Стоит отметить, что те же самые принципы "использования собственной формы", которые Апресян выявляет для соотношения обоих глаголов НСВ в подобных тройках, он в равной мере относит и к общепризнанным словообразовательным явлениям, например, для тех, которые затрагивают частеречную принадлежность (ср. его пример *соответствовать / отвечать (требованиям) – соответствие* [Апресян 1995а]).

<sup>33</sup> Во втором подтипе троек оба глагола НСВ практически равноправны, в четвертом лексический отрыв между обоими глаголами НСВ еще больше, чем в третьем.

наступает именно тогда, когда значения обеих основ не отрываются друг от друга вследствие лексикализации. Так, видимо, и следует объяснить появление таких видовых пар как *строить / построить, писать / написать*, между членами которых нужно усмотреть фокусацию.

Переведа результаты анализа Апресяна в плоскость обоснованных в 4.1–4.2 различий между тремя Функциональными операциями, мы можем сейчас указать значимость описанных им лексикографических особенностей "троек" в современном русском языке для понимания диахронических процессов, в результате которых сложилась русская (польская) видовая система. В современном русском (польском) языке контурация значения бесприставочного глагола в приставочном деривате, не сопровождаемая другими лексическими процессами – явление редкое и диахронически остаточное. Современный литературный литовский язык отличается от русского (польского) языка по крайней мере в двух отношениях. Во-первых, у большого количества бесприставочных глаголов (причем довольно частотных) никакой контурации (ни лексической, ни аспектуальной) до сих пор не произошло, т.е. диффузные бесприставочные глаголы – явление в нем гораздо более распространенное, чем в русском и польском языках (см. 4.2). Вместе с тем, у большого количества бесприставочных глаголов не наступило ни модификации, ни фокусации. Поэтому с точки зрения лексической семантики в литовском языке продолжает преобладать первый подтип троек Апресяна, а третий в нем малочислен. Во-вторых, если от приставочных основ путем вторичной суффиксации образуются дальнейшие дериваты и создается внешнее подобие русских "видовых троек" (напр., *leisti* 'оставлять, пускать и т.д.' – *atleisti* 'отпускать, прощать' – *atleidinėti* 'то же с множественно-дистрибутивным объектом'), ни бесприставочный, ни "вторично суффиксированный" приставочный глагол не может претендовать на собственно видовую парность с приставочным, "серединным" членом такой тройки. Не может потому, что нет дополнительного распределения между какими-нибудь двумя из этих трех глаголов, в котором оставалось бы идентичным лексическое значение, а аспектуальные и прочие функции менялись бы систематически вследствие дополнительной аспектуальной контурации. Нет собственно видовой парности (с возможностью полного сохранения лексического значения при замене одного глагола другим в каком-то хотя бы одном типе контекста) также в тех случаях, когда приставка служит выражением модификации и к такому деривату образуется дальнейшей суффиксированный дериват, поскольку этот последний обладает тем или иным дополнительным оттенком по сравнению со значением производящей основы. Т.е. он сам в свою очередь вносит модификацию по сравнению с приставочным глаголом (ср., напр., *likti* 'оставаться' ⇒ *atlikti* 'выполнять' – *atlikinėti* 'то же, но с дистрибутивно-множественным объектом действия'; см. 3.5, сноску 19).

##### 5. ЛЕКСИЧЕСКИЙ VS. ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТАТУС И КАТЕГОРИАЛЬНАЯ РЕКАТЕГОРИЗАЦИЯ

[Апресян 1995] анализируя современное состояние русского литературного языка, исходит из существования видовых оппозиций как из данного. Поскольку, однако, в современном литовском языке, как было показано выше, четких видовых оппозиций нет, а есть только некие явные зачатки видовой системы, ограниченные отдельными аспектуальными группами глаголов, остается еще выяснить, как л е к с и ч е с к и е параллели и отличия в глагольном словообразовании, проявляющиеся особенно на примере так наз. троек, соотносятся с г р а м м а т и ч е с к о й оппозицией между двумя функциональными классами, т.е. видами.

Изменение аспектуального потенциала производного глагола (с приставкой), не затрагивающее его лексического значения, чаще всего обеспечивается дальнейшей деривацией (так наз. "вторичной суффиксацией"). Вместе с тем, в русском и польском языках лексически диффузных бесприставочных глаголов осталось меньше, чем в литовском. Однако для грамматического характера видовой системы гораздо важнее

то, что диапазон аспектуальных функций практически всех глаголов значительно сужен (контурирован) по сравнению с древним состоянием и что бесприставочные глаголы – независимо от того, контурированы они лексически или нет – не составляют здесь исключения: в принципе каждый глагол приобретает более узкий диапазон уже в силу того, что так или иначе он попадает в класс СВ или НСВ<sup>34</sup>. То, что бесприставочные глаголы, относимые сейчас к НСВ, могут еще и вступать в лексическую оппозицию с "вторично суффиксированными" глаголами (ср. *множиться* vs. *умножаться*), которые, в свою очередь, начинают создавать видовые пары с непосредственными дериватами бесприставочных глаголов (*умножиться* и т.д.), нужно считать скорее побочным следствием тенденции к последовательному оформлению бинарной оппозиции (НСВ vs. СВ).

В отличие от этого, в литовском языке контурация, фокусация и модификация в основном затрагивают всего лишь лексическое толкование глагольных единиц. Эти ФО действуют независимо от того, установилась ли в данном языке видовая система или нет. Для того, чтобы обсуждаемые здесь соотношения в лексическом значении морфологически производящих и производных глаголов вошли в видовую систему с грамматическим статусом, необходимо не только, чтобы данные соотношения имели массовый характер и вовлекали в принципе все глаголы языка. Необходимо прежде всего, чтобы производящие и производные глаголы заменяли друг друга предсказуемым образом, т.е. по достаточно четким правилам в устойчивом наборе контекстов, в которых различия в лексических значениях глаголов, создающих пару, сводились бы к нулю. Иначе говоря: должны существовать такие контексты, в которых при замене глагола не происходит никакой модификации, но заменяющий и заменяемый глаголы аспектуально контурированы, т.е. у каждого из них есть свой устойчивый аспектуальный фокус (ср. предельный процесс vs. предельное событие, состояние vs. начало того же состояния и т.п.).

Таким образом, сопоставление аспектуально релевантных наборов функций в русском, польском и литовском языках (см. разделы 2–3) с анализом аспектуально релевантных частей их толкований (см. раздел 4) приводит к выводу, что лексически заложенные различия в аспектуальном поведении между морфологически соотносительными глаголами (в парах) начинают переходить в собственно видовую систему только тогда, когда их лексические различия (выявляемые наряду с общими нетривиальными компонентами значения) могут уступать более абстрактным функциональным различиям, а именно тем, которые обсуждались в разделах 2–3 этой статьи. В русском и польском языках лексически релевантные различия в парных глаголах могут в известном смысле игнорироваться, о чем лучше всего свидетельствуют тривиальные критерии видовой парности и общефактическое значение. В литовском литературном языке (*lietuvių bendrinė kalba*) такие различия не могут регулярно отступать на задний план, так как преобладает такое глагольное словообразование, вследствие которого новые лексические единицы вступают в те же комбинаторные связи с контекстом и другими глагольными категориями, что и их производящие основы. Поэтому между ними не сложилось функционально дополнительного распределения и все глагольное словообразование этого языка в основном не перестало быть богатым и сложным "агломератом" продуктивных способов действия.

Суть видообразования в современных русском и польском языках, напротив, сводится к тому, что при деривации одного глагола из другого замена поднаборов видовых функций (т.е. тех, которые проводились в 3.3–3.5) преобладает над изменениями в лексических значениях. Вслед за Ф. Леманом такое явление можно подвести под 'грамматическую рекатегоризацию': рекатегоризация заключается в переводе какой-то единицы из одной категории в противоположную, "чуждую" ей по ее лексическим характеристикам. В данном случае эти категории называются 'совершенным' и

<sup>34</sup> Мы отвлекаемся здесь от двувидовых глаголов. Но они в явном меньшинстве и среди них преобладают заимствования. Тем самым, как исключения, они подтверждают правило.

‘несовершенным видом’, а в каждую из них входят как глаголы, лексическое значение которых обуславливает аспектуальный “дефолт” (употребление по умолчанию), совпадающий по прототипу с функциями данного вида, так и глаголы, которые принадлежат данному виду как лексически непрототипические представители. Так, напр., *сидеть, улыбаться, смотреть (телевизор)* – прототипические глаголы НСВ, а *спотыкаться, открывать (дверь), отговаривать* [см. (21–22)] – глаголы, попавшие в класс НСВ вопреки лексическому прототипу производящей основы (*споткнуться, открыть, отговорить*), но в силу того, что они обладают по крайней мере частью того набора функций, который свойствен глаголам данного класса в целом – в первую очередь тем, которые мотивируют его лексически<sup>35</sup>. Грамматический статус данная рекатегоризация имеет потому, что (а) практически каждый русский (польский) глагол относится к одному из классов категории и что (б) морфологическая деривация создает парные соотношения оппозитивных на основе этой бинарной категории функций.

## 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если мы готовы различать лексический и грамматический статус глагольной аффиксации (словообразования), то сравнение современного состояния русского и польского языков с литовским может помочь в объяснении странного типологического облика современного славянского вида. Принимая во внимание, что словообразовательная морфология современного литовского языка с функциональной точки зрения более архаична, чем русская и польская, и учитывая итоги некоторых исследований последнего времени по развитию славянской видовой системы<sup>36</sup>, в современном литовском языке мы можем обнаружить много свидетельств более раннего состояния севернославянского глагольного словообразования, т.е. стадии, когда разнообразные дериваты простых и сложных основ только начали складываться в грамматическую систему.

Исходным пунктом как для исторического развития славянской видовой системы, так и для оценки современного литовского языка служит тот факт, что эти дериваты чаще всего представляли собой лишь лексические варианты или модификации мотивирующих основ (глаголов). Поэтому на пути от разветвленной системы лексических модификаций (способов действия) к видовой системе в современном русском и польском языках стали затрагиваться все большие пласты глагольного словаря, а не отдельные морфемы. “Стандартный” путь образования грамматических категорий, как он обычно представляется в литературе по грамматикализации, напротив, заключается в постепенном переходе автосемантических слов (или конструкций) в синсемантические, прежде всего в их постепенном превращении в словоизменяемые средства [Bubec et al. 1994]. Р е з у л ь т а т ы обоих типов генезиса грамматического вида с точки зрения выше названных критериев в принципе одинаковы, но п у т и с т а н о в л е н и я кардинально отличны.

Возникновение славянской видовой системы опиралось на запасы глагольного словаря (т.е. на значение целых автосемантических единиц) и словообразовательных морфем. В этом смысле этот процесс протекал на основаниях, противоположных тем, к которым мы “привыкли” на материале языков с флективным или перифрастическим видом. Он связывался с многочисленными случаями лексикализации и релексикализации глаголов и с частичной делексикализацией словообразовательных аффиксов. В литовском языке обнаруживаются случаи (ре)лексикализации основ и делексикализации аффиксов, но эти явления (в кодифицированном языке) до сих пор не сложились в систему с четко очерченными и дополнительными поднаборами функций для двух бинарно противопоставленных классов (НСВ vs. СВ).

Конечно, эти итоги во многом представляют лишь общую картину в сопостав-

<sup>35</sup> См. [V. Lehmann 1997; 1999a: 209 и сл.; 1999b: 215 и сл., 223 и сл.], а также [Mende 1999: 289–294].

<sup>36</sup> Ср. [Bermel 1997; Böttger 1998; V. Lehmann 1999a; Mende 1999].

ляемых здесь языках. Также роль, которую при выяснении возникновения видовой системы севернославянского типа может сыграть опыт толкования морфологически производящих и производных глаголов, в данной статье указана выборочно, хотя и для представительных и решающих для изучаемого вопроса групп глаголов. Тем не менее, здесь хотелось бы сделать первый существенный шаг в нужном направлении для дальнейшей систематической программы исследования сложных вопросов, связанных с путем грамматикализации вида на словообразовательной основе.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Авилова Н.С.* 1964 – Изменения в системе глагола // В.В. Виноградов, Н.Ю. Шведова (ред.). Глагол, наречие, предлоги и союзы в русском языке XIX века. М., 1964.
- Апресян Ю.Д.* 1983 – О структуре значений языковых единиц // Т. Dobrzinska, E. Janus (red.). Tekst i zdanie. Wroclaw, 1983.
- Апресян Ю.Д.* 1995а – Лексическая семантика (синонимические средства языка). М., 1995 (второе исправленное и дополненное издание работы 1974 года). 1995.
- Апресян Ю.Д.* 1995б – Глаголы моментального действия и перформативы в русском языке // Ю.Д. Апресян. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.
- Апресян Ю.Д.* 1995в – Трактовка избыточных аспектуальных парадигм в толковом словаре // Ю.Д. Апресян. Избранные труды. Т. II: Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.
- Бондарко А.В.* 1987 – Аспектуальность: Содержание и типы аспектуальных отношений // А.В. Бондарко (отв. ред.). Теория функциональной грамматики. Т. I: введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.
- Булыгина Т.В.* 1980 – Грамматические и семантические категории и их связи // Н.Д. Арутюнова, А.А. Уфимцева (ред.). Аспекты семантических исследований. М., 1980.
- Булыгина Т.В., Шмелев А.Д.* 1989 – Ментальные предикаты в аспекте аспектологии // Н.Д. Арутюнова (ред.). Логический анализ языка. Проблемы интенциональных и прагматических контекстов. М., 1989.
- Гловинская М.Я.* 1982 – Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М., 1982.
- ГДЯ 1985 – В. Амбразас (гл. ред.). Грамматика литовского языка. Вильнюс, 1985.
- Зализняк А.А., Шмелев А.Д.* 1997 – Лекции по русской аспектологии. Munchen, 1997.
- Клобуков Е.В., Рыжих Ю.М.* 1998 – К изучению продуктивных типов видовой соотносительности русских глаголов // М.Ю. Черткова (ред.). Типология вида (проблемы, поиски, решения). М., 1998.
- Кронгауз М.М.* 1998 – Приставки и глаголы в русском языке: семантическая грамматика. М., 1998.
- Маслов Ю.С.* 1948 – Вид и лексическое значение глагола в современном русском литературном языке // ИАН СЛЯ. 1948. Вып. 4.
- Маслов Ю.С.* 1959 – Zur Entstehungsgeschichte des slavischen Verbalaspekts // Zeitschrift fur Slawistik. 1959. 4.
- Мустейкис К.* 1972 – Сопоставительная морфология русского и литовского языков. Вильнюс, 1972.
- Падучева Е.В.* 1996 – Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке // Семантика нарратива. М., 1996.
- Силина В.Б.* 1982 – История категории глагольного вида // Р.И. Аванесов, В.В. Иванов (Ред.). Историческая грамматика русского языка. М., 1982.
- ТКС 1984 – И.А. Мельчук, А.К. Жолковский. Толково-комбинаторный словарь русского языка (Опыт семантико-синтаксического описания русской лексики). Wien, 1984.
- ТРК 1983 – В.П. Недеялков (ред.). Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект). Л., 1983.
- Урысон Е.В.* 1997 – Несостоявшаяся полисемия (типы толкований с союзом 'или') // Л.П. Крысин (Сост.). Облик слова (Сб. статей памяти Дмитрия Николаевича Шмелева). М., 1997.
- Bermel N.* 1997 – Context and the lexicon in the development of Russian aspect. Berkeley: Los Angeles; London, 1997.

- Bottgei K* 1998 – Die Diachronie der Aspektfunktionen im Russischen // M Gijer, T Menzel, B Wiemer *Lezikologie und Sprachveränderung in der Slavia Oldenburg*, 1998
- Bieu W* 1980 – Semantische Untersuchungen zum Verbalaspekt im Russischen München, 1980
- Bieu W* 1984 – Zur Rolle der Lexik in der Adpektologie // *Die Welt der Slaven* 1984 29
- Bieu W* 1988 – Resultativität, Perfekt und die Gliederung der Aspektdimension // *J Raecke, Slavistische Linguistik* 1987 München 1988
- Bieu W* 1992 – Zur Rolle der Prafirierung bei der Entsteung von Aspektsystemen // M Guiraud–Weber, Ch Zaremba (Ed) *Linguistique er slavistique Melanges offerts a Paul Garde T I Aix-en Provence Paris*, 1992
- Bieu W* 1997 – Семантика глагольного вида как ответвление от предельных свойств лексем (иерархическая модель компонентов) // S Karolak (Red) *Семантика и структура славянского вида II Krakow* 1997
- Bybee I L* 1985 – *Morphology (A study of the relation between meaning and form)* Amsterdam, Philadelphia, 1985
- Bybee I L* 1997 – Semantic aspects of morphological typology // J Bybee, J Haiman S A Thomson (Eds) *Essays on language type (Dedicated to T Givón)* Amsterdam, Philadelphia, 1997
- Bybee I L Perkins R Pauluca W* 1994 – *The evolution of grammar (Tense, aspect and modality in the languages of the world)* Chicago, London, 1994
- Dahl O* 1985 – *Tense and aspect systems* Oxford New York, 1985
- Dambiuinas L* 1959 – Verbal aspects in Lithuanian // *Lingua Posnansiensis*, 1959 7
- Dumašiūte E* 1961 – Dabartines literatūrinės lietuvių kalbos veiksmažodžio vientisinio esamojo laiko reikšmė ir vartojimas Дис канд филол наук Vilnius, 1961
- Galnaityte E* 1963 – Особенности категории вида глаголов в литовском языке (в сопоставлении с русским языком) // *Kalbotyra* 1963, 7
- Galnaityte E* 1966 – К вопросу об имперфективации глаголов в литовском языке // *Baltistica* XI 2
- Genustiene E* 1987 – *The typology of reflexives* Berlin, New York, 1987
- Jalaitiene E, Laigonaite A, Paulauskiene A* 1976 – *Lietuvių kalbos morfologija* Vilnius, 1976
- Knjazev Ju P* (в печати) – Lexical reciprocals as a means of expressing situations // V P Nedjalkov (Ed) *Typology of reciprocal constructions*
- Koschmieder C* 1934 – *Nauka o aspektach czasownika polskiego w zarysie Proba syntezy* Wilno, 1934
- Kozmiski I S* 1988 – Resultatives results and discussion // V P Nedjalkov (Ed) *Typology of resultative constructions* Amsterdam, Philadelphia, 1998
- Kianzle M* 1997 – Anmerkungen zum litauischen Aspekt // *Linguistica Lettica Latviešu valodas instituta žurnāls* Riga, 1997 № 1
- Lehmann C* 1989 – Grammatikalisierung und Lexikalisierung // *Zeitschrift für Phonetik Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung* 1989 Bd 43 № 1
- Lehmann C* 1995 – *Thoughts on Grammaticalization* München, Newcastle, 1995
- Lehmann V* 1992 – Grammaticale Zeitkonzepte und ihre Erklärung // *Kognitionswissenschaft* 1995 № 2
- Lehmann V* 1996 – Die Rekonstruktion von Bedeutungsentwicklung und-motiviertheit mit Funktionalen Operationen // W Girke (Hrsg) *Slavistische Linguistik* 1995 München, 1996
- Lehmann V* 1997 – Грамматическая деривация вида и типы глагольных лексем / М Ю Чертова (ред) Труды аспектологического семинара Филологического факультета МГУ им М В Ломоносова Т 2 М, 1997
- Lehmann V* 1998 – Eine Kritik der progressiven Funktion als Kriterium aspektueller Verbkategorisierung // *Die Welt der Slaven* Bd 43 1998
- Lehmann V* 1999a – Sprachliche Entwicklung als Expansion und Reduction // T Anstatt (Hrsg) *Entwicklungen in slavistischen Sprachen* München, 1999
- Lehmann V* 1999b – Aspekt // H Jachnow (Hrsg) *Handbuch der sprachwissenschaftlichen Russistik und ihrer Grenzdisziplinen* Wiesbaden, 1999
- Lazinski M Wiemer B* 1996 – Terminatywnose jako kategoria stopniowalna // *Prace filologiczne* XL 1996
- Mende I* 1999 – Derivation und reinterpretation die Grammatikalisierung des russischen Aspekts // T Anstatt (Hrsg) *Entwicklungen in slavistischen Sprachen* München, 1999
- Paulauskiene A* 1994 – *Lietuvių kalbos morfologija (Paskaitos lituanistams)* Vilnius, 1994

- Safarewicz J.* 1938 – Stan badań nad aspektem czasownikowym w języku litewskim // *Balticoslavica III*. Wilno, 1938.
- Traugott E.S.* 1988 – Pragmatic strengthening and grammaticalization // Sh. Axmaker, A. Jaisser, H. Singmaster (Eds.). *Barkeley Linguistic Society: Proceedings of the Fourteenth annual meeting. General Session and Parasession on grammaticalization*. Barkeley. 1988.
- Wiemer B.* 1977 – Diskursreferenz im Polnischen und Deutschen – aufgezeigt an der narrativen Rede ein- und zweisprachiger Schuler. München, 1997.
- Wiemer B.* 2000a – Пресуппозиция и импликатуры в толкованиях предельных событий и соотносимых с ними процессов // *Научно-техническая информация*. 2000. № 1.
- Wiemer B.* 2000b – Aspect choice in non-declarative and modalized utterances as extensions from assertive domains (Lexical semantics, scopes, and categorial distinctions in Russian and Polish) // H. Bartels, N. Stormer, E. Walusiak (Hrsg.). *Untersuchungen zur Morphologie und Syntax im Slavischen*. Oldenburg, 2000.

© 2001 г. А.Н. СОБОЛЕВ

**БАЛКАНСКАЯ ЛЕКСИКА В АРЕАЛЬНОМ  
И АРЕАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ**

**1. ДВА НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ БАЛКАНСКОЙ ЛЕКСИКИ**

Традиционным для балканского языкознания является восходящее еще к общеизвестному тезису В. Копитара представление о том, что конвергентное единство языков Балканского полуострова манифестируется прежде всего на грамматическом (синтаксическом и морфосинтаксическом) уровне, так что при переходе от одного балканского языка к другому – если отвлечься от турецкого, а часто также и от сербохорватского, – наблюдается лишь смена лексики и флексии, в то время как "манера выражения" остается, в сущности, одной и той же [Sandfeld 1930: 6]. Полагают, что в области лексики, с одной стороны, разным балканским языкам соответствуют "различные лексические наборы" [Цивьян 1979: 7], а с другой, "не имеется специфически балканских черт" [Holiolčev et al. 1977: 67]. Поэтому традиционная балканистика со времен Ф. Миклошича [Miklosich 1861; 1869; 1870–1871; 1884] и Г. Мейера [Meyer 1891; 1895] обращает внимание преимущественно на лексические заимствования из одного балканского (живого или мертвого) языка в другой или из небалканского источника в балканский ареал, что также "предоставляет ощутимые доказательства о характере и степени взаимовлияний между балканскими языками" [Асенова 1989: 30] и позволяет реконструировать историю лингвистического взаимодействия в регионе [Десницкая 1988: 134–135]. Более того, поскольку о происхождении того или иного лексического заимствования мы можем судить с достаточно большой степенью уверенности, то их исследование, предоставив нам надежную базу для оценки степени воздействия одних языков на другие, будет способствовать, далее, историческому анализу грамматических взаимодействий [Sandfeld 1930: 15]. В литературе встречаются утверждения о том, что "в настоящее время балканистические интересы в этой области должны еще почти исключительно ограничиться сведениями о двуязычных зонах контакта" [Mladenov, Steinke 1978: 80].

В то же время, уже сам К. Сандфельд обращал внимание на наличие значительных межбалканских соответствий прежде всего благодаря очень многочисленным словам греческого и турецкого происхождения, известным всем языкам полуострова, что напоминает некоторым образом впечатление единства, приданное языкам Западной Европы латинскими заимствованиями [Sandfeld 1930: 11]. Современной балканистикой к корпусу общебалканских лексем добавляется значительное число балканолатинских, славянских и субстратных единиц, так что в результате можно говорить о "внушительном корпусе одинаковых лексем, который образовался вследствие культурного симбиоза этнических групп, населявших Балканский полуостров" [Асенова 1989: 30]. В качестве дополнительных возможностей объяснения их возникновения приводятся географическое соседство, культурные различия, политическое доминирование и общее наследие [Solta 1998: 1025–1026]. Вполне правомерно применение к балканскому ареалу соображений, высказанных в российской науке по поводу другого конвергентного ареала, а именно карпатского: "Рассматривать ли множества

тождественных для ряда языков (= микрозон) лексико-семантических единиц как обычные заимствования из одного языка в другой (= в другие). или можно видеть в них общие инвентари лексем, сложившиеся в процессе многократных перекрестных заимствований, многоступенчатых преобразований, используемые для обозначения тех или иных реалий в диалектах различных языков. – и тем самым свидетельствующие о формировании в макрозоне структурированных фрагментов языковой общности конвергентного типа" [Бернштейн, Клепикова 1996: 79]. При применении этого подхода приходится все же учитывать, что "лишь небольшая часть заимствований обнаруживается во всех балканских языках" [Schaller 1999: 475] и что при определении общебалканского характера лексемы до настоящего времени решающим остается количественный критерий: "Общебалканскими называются такие заимствования (Einflüsse), которые встречаются во всех или как минимум в трех балканских языках" [Tzitzilis 1999: 612].

Оба направления исследования обращают внимание как на формально-лексические, так и на семантические связи между балканскими языками.

### 1.1. Формально-лексические связи: классическая парадигма изучения

Рассмотрение формы лексических заимствований между балканскими языками К. Сандфельдом [Sandfeld 1930: 16–99] не выходит за рамки классической для сравнительно-исторического языкознания парадигмы, включающей в себя следующие аспекты: реконструкция экстралингвистических условий заимствования (контакта), установление источника заимствования, оценка степени влияния одного языка на другой, хронологизация заимствований на основании фонетических или ареальных критериев, установление путей заимствования лексем и наличия языков-посредников, установление общебалканского или узкодиалектного характера распространения заимствования. Интересно сопоставление суммированных еще в 1901 году К. Дитрихом задач "исторического, культурно-исторического и лингвистического" изучения латинских и романских заимствований в новогреческом (установление географического и диалектного происхождения заимствования; изучение развития семантики заимствования; установление ареала распространения заимствования на греческой территории и его общего или диалектного характера; установление ареального соотношения древних и новых заимствований [Dietrich 1901: 596]), с пожеланиями, высказанными в 1999 году У. Хинрихсом относительно исследования балканских славизмов: "Дезидератами современных исследований лексических заимствований сегодня является не столько полнота списков заимствований, сколько, прежде всего, анализ семантических изменений, анализ лексико-семантической роли славянских заимствований в исторической и современной лексикологии заимствующих языков (синонимия и др.), относительное распределение заимствований по территории каждого конкретного языка и значение местных диалектов" [Hinrichs 1999: 620]. При всей давности поставленных задач очевидно, что до настоящего времени все эти аспекты далеки от того, чтобы быть изученными во всех деталях [Naarmann 1999]; более того, для некоторых современных обобщающих работ по балканистике даже характерна некоторая редукция спектра классических задач (ср. [Schaller 1999]).

Для реконструкции экстралингвистических условий заимствования (контакта) для всех балканских языков прежде всего существенны вопросы о времени появления их носителей в Балканском регионе или в конкретной его части, вопросы установления территории распространения как влияющего, так и заимствующего языка в разные исторические периоды. Так, например, К. Сандфельд полагал, что вследствие романизации северной части Балканского полуострова греческий в течение первых веков новой эры соседствовал с латинской языковой территорией [Sandfeld 1930: 51]. Давно дебатруется вопрос о значении культурно-языковой границы между обоими языками высокой культуры (Hochkultursprachen), латинским на севере и греческим на юге, установленной К. Иречком в 1901 г. (так называемая линия Иречка). По

современным представлениям, эту границу следует представлять не как узкий коридор, а как своеобразную буферную зону, в которой греческий и латинский не находились в прямом контакте. "На западе этой буферной зоны долгое время говорили на иллирийском, на востоке – на фракийском языке. В то время как латинский утвердился в качестве языка администрации и образования также и на юге, греческий язык и греческая городская культура лишь в незначительной степени проникали на север по другую сторону буферной зоны и влияли на образ жизни иллирийцев южной Албании. Древние следы этого влияния обнаруживаются почти в 30 древнегреческих лексических заимствованиях, сохранившихся в албанском" [Naarmann 1999: 549]; ср. также [Gerov 1980; Tzitzilis 1999: 600; Solta 1998: 1020]. Большое внимание уделяется вопросу о возможном присутствии иных этнических групп на территории распространения какого-либо балканского языка в прошлом (так, например, привлекаются исторические сведения о том, что Траян колонизовал Дакию *ex toto orbe romanis*, а, следовательно, и греками: так, при рассмотрении роли румынского во влиянии на соседние языки во многих случаях речь идет о языке румынского населения, ныне исчезнувшего). На собственно лингвистических данных сделаны, например, следующие наблюдения. Концентрация топонимов латинского происхождения в горных районах северной Албании, а также наличие в гегском ряду грецизмов, не отмеченных в тоскском, может свидетельствовать об автохтонности албанцев в этой части их территории расселения и об их более поздних миграциях на юг [Naarmann 1999: 561; Tzitzilis 1999: 603]. Широко распространено мнение о том, что балканские славяне селились в основном в низинах и долинах рек, в то время как автохтонное население оставалось в горах [Hinrichs 1999: 622], что, однако, не подтверждается современными исследованиями Дж. Юллы [Ylli 2000], по крайней мере относительно славянской топонимии албанской языковой территории. Наличие в арумьнском славизмов, отсутствующих в дакорумынском, можно трактовать как свидетельство о самостоятельных контактах арумьн со славянами и тем самым об автохтонности арумьн в Македонии к югу от линии Иречека [Trummer 1998: 169]. Греческие заимствования в хорватских диалектах Далмации свидетельствуют о наличии здесь в прошлом центров греческой культуры и напоминают о периоде византийского господства [Tzitzilis 1999: 608], ряд же романских служат свидетельством о далматинско-хорватских контактах [Trummer 1998: 158].

Считается общепринятым положение о большей степени влияния непосредственно контактирующих языков (так, в языках, непосредственно соседствующих с греческим – албанском, болгарском, арумьнском, – грецизмов больше, чем в остальных; это имеет и обратную перспективу – наличие большого числа взаимных заимствований между несоседствующими языками говорит об их связях в прошлом). Важным полагается установление диалектной ограниченности влияния с указанием соответствующей области (так, большинство албанских заимствований в греческом концентрируется в северногреческих диалектах; и славянское влияние на греческий язык географически ограничивается Эпиром, Македонией, Фракией и Фессалией, так что обычно славянские элементы не являются общегреческими). Невозможность точной атрибуции общей лексики двух языков (например, румынского и албанского) может свидетельствовать об общем и одновременном развитии, результирующем из симбиоза обоих этносов в прошлом.

Вопросы **установления источника заимствования** часто приводили традиционные национальные филологии к преувеличению роли влияния одного языка на другой (так, существовала тенденция, в случае румыно-болгарских соответствий рассматривать румынский всегда как заимствующий язык). В ряде случаев неустановленные этимологии приводят к объявлению той или иной лексемы субстратной (случай с албанскими заимствованиями в общерумынском). С другой стороны, особое значение всегда придается установлению автохтонных элементов какого-либо балканского языка (обзор соответствующей проблематики, например, румынского языкознания см. в [Калужская 1977]).

**Оценка степени влияния одного языка на другой** производится на основании как экстралингвистических, так и собственно лингвистических признаков. В традиционной лингвистике был принят и такой критерий, как относительный уровень развития контактирующих культур (так, за греческой культурой признается более высокий уровень развития, чем у всех соседних), причем полагали, что о нем можно судить по количеству заимствований из одного языка в другой (так, албанское влияние на другие языки оценивается как достаточно слабое). Важным моментом полагалась оценка характера заимствования в качестве устного или литературного (к последним часто относят религиозную терминологию) или его социальная атрибуция лексикону господствующих классов или "народа" (так, например, из балканской народной латыни получены лексемы, не относящиеся к военной, юридической или политической терминологии; ср. и подчеркивание значения изучения отношений бесписьменных автохтонных языков к латинскому как языку высокой культуры в [Haarmann 1999: 546]).

Достаточно часто обращают внимание на частеречную принадлежность заимствованных лексем (так, заимствование, например, во все балканские языки глаголов и служебных слов из греческого или турецкого свидетельствует об интенсивном влиянии; наоборот, отмечается, что из славянского в греческий глаголов заимствовано очень мало, а их распространение ограничивается северногреческими диалектами). Наконец, производится семантический анализ лексики и ее классификация по тематическим группам, например [Gutschmidt 1966; Десницкая 1987; Svane 1992]. Так, для греческого влияния отмечают его наличие "во всех сферах материальной и нравственной жизни", в то время как, с другой стороны, итальянские заимствования в том же греческом также охватывают все лексико-семантические группы (ЛСГ) [Sandfeld 1930: 21–22, 56]. Напротив, арумьнский передал во все окружающие языки большое число терминов пастушеской культуры, а славянские заимствования в греческом, хоть и относятся к различным категориям, но обозначения животных и растений, а также скотоводческие термины среди них все же преобладают. Албанский заимствовал из древнегреческого названия культурных растений и орудий труда [Tzitzilis 1999: 601]. И в современной балканистике принято полагать, что концентрация, например, латинских заимствований в албанском или греческих в арумьнском в сферах терминологии родства и названий частей тела есть индикатор интенсивности контакта и высокого престижа латинского как языка-донора [Haarmann 1999: 562–563; Tzitzilis 1999: 596]. Из принадлежности большого числа латинских заимствований в славянском к тематической группе "Жилищное строительство" делается вывод об использовании славянами соответствующих технических знаний романизованного населения [Haarmann 1999: 569]. Греческие заимствования в анатолийских турецких диалектах свидетельствуют о переходе турок от номадизма к оседлому образу жизни [Tzitzilis 1999: 587]. Используются и простые количественные подсчеты заимствованных лексем в имеющихся словарях балканских языков (так, для арумьнского процент грецизмов составляет 27% [Tzitzilis 1999: 595]; отмечается минимальное славянское лексическое влияние на греческий [Hinrichs 1999: 641]). Ранее полагалось также, что интенсивность влияния отражают многочисленные "элементарные" слова (типа "дорогой", "богатый" и др., что характерно, например, для славянского влияния на румынский). Повторяя тезис о возможности оценки интенсивности культурно-исторических связей на основании изучения группировки заимствований по различным тематическим группам, Г. Шаллер поднимает вопрос и о направлениях заимствования лексики из одного конкретного языка-донора – в какие именно языки заимствование происходит, а в какие нет [Schaller 1999: 465].

Существеннейшее значение имеют вопросы **хронологизации заимствований**, которая осуществляется с применением либо историко-фонетических, либо ареальных критериев. Заслуживает упоминания также достаточно распространенный в современной науке семантический критерий хронологической стратификации лексем, который, однако, требует чрезвычайно осторожного с собой обращения (например, при попытках

различать средне- и новогреческий пласт заимствований в балканских языках) [Tzitzilis 1999: 586, особ. 595, 602]. В отличие от карпатского языкознания, в балканистике отсутствует особое терминологическое различение древних и новых заимствований.

**Фонетические критерии** позволяют обычно различить древний и новый слой заимствованных лексем. Например, немногочисленные древнегреческие элементы в албанском могут характеризоваться наличием перехода  $pi > k'i$ , так что на этом основании, например, форму *piznā* "вражда, ненависть" можно считать недавним заимствованием [Sandfeld 1930: 31]. Имеются и специфические фонетические черты балканских латинизмов, например, сохранение краткого *и* в формах типа *furkā* "вилка, вилы и т.п." [Sandfeld 1930: 52, 55], позволяющие отделить латинизмы от романизмов. Существенны и фонетические процессы в заимствующих языках, позволяющие относительно датировать заимствования (ротацизм, переход  $s > \mathring{s}$  в албанском: *vessika > pshikā* "пузырь, прыщ") [Sandfeld 1930: 52–53, 78]. Среди славянских заимствований в том же албанском (которые значительны) следует различать сербские и болгарские, с одной стороны, и древние, с другой, чему помогают данные славянской исторической фонетики (сохранение носовых, например) [Sandfeld 1930: 77]. Во многих случаях формы грецизмов в арумьинском и албанском наиболее близки к исходным греческим, что, правда, не всегда обязательно свидетельствует о недавности заимствования, – речь может идти о его подновлении в постоянном контакте. На основании количественного анализа заимствований различных хронологических слоев можно делать выводы об изменениях характера контакта между отдельными балканскими языками (так, малое число древнегреческих заимствований в албанском свидетельствует, возможно, об иной области бытования албанского в античности; большая многочисленность романских заимствований в нероманских балканских языках, чем латинизмов, говорит о разной степени интенсивности контактов в прошлом).

Среди **ареальных критериев**, также широко использовавшихся уже К. Сандфельдом, особое место занимает экстенсивный – наличие заимствования на большой территории говорит о его возможной относительной древности (ср. его применение в современной литературе [Tzitzilis 1999: 588–589]). Кроме того, следует обращать внимание на распространение заимствования в различных диалектных или языковых группах. Так, грецизмы, обнаруживаемые только в албанском тосском, обычно недавние заимствования; слова же, обнаруживаемые в диалектах арберешей Италии, могут быть датированы временем до миграций XV–XVI вв. Факт наличия заимствования – славизма или албанизма – во всех ответвлениях румынского, если форма или значение не позволяют трактовать их как параллельные заимствования, свидетельствует о его древности, обнаружение чего, правда, осложняется сильным славянским влиянием на истрорумынский, затрудняющим нахождение таких полных соответствий.

Большое внимание обращается на **пути заимствования лексем и наличие при этом языков-посредников**, что устанавливается обычно по форме слова. Так, значительное число лексем латинского происхождения было передано в балканские языки через греческое посредничество (для болгарского отмечено уже в [Romansky 1909: 134]), причем такого рода не прямые латинские заимствования известны и румынскому и арумьинскому языкам (лат. *furnus* > греч. *furno* > арумьин. *furni* "печь" и др.) [Naarmann 1999: 553]. Так, болгарский язык является часто посредником при передаче грецизмов и турцизмов в румынский [Tzitzilis 1999: 591], такова же могла быть в прошлом и роль албанского. Албанский и арумьинский могли быть посредниками при передаче славизмов в греческий. Очень часто таким посредником для других балканских языков был турецкий (например [Romansky 1909: 134]), в то время как большое число итальянизмов турецкого языка попало в него через греческий. Проблема ряда сербохорватских итальянизмов, отмеченных не только в греческом и албанском, но и в болгарском, ставившая в тупик К. Сандфельда [Sandfeld 1930: 60], видимо, находит свое хотя бы частичное разрешение с учетом факта наличия колоний Дубровника в Софии и Шумене [Mladenova 1999: 55] и посреднической роли греческого и турецкого в

гаванях западного Черноморского побережья [Trummer 1998: 153]. Возможно заимствование слова на одной части языковой территории непосредственно из языка-источника (сербохорв. *fortuna* "буря" из итал. *fortuna*), в то время как на другую эта же лексема проникает через языковое посредничество (сербохорв. и болг. *frtuna* "буря" через турецк. *fyrtuna*). Практически общебалканская посредническая роль греческого и турецкого при передаче лексем самого различного происхождения ([Sandfeld 1930: 89]; о передаче турецким грецизмов см. также [Tzitzilis 1999: 587], в заимствующих языках их предлагается рассматривать, соответственно, как грецизмы и турцизмы [Trummer 1998: 158], ср. также [Бернштейн 1984]), наряду с многократным посредничеством при передаче заимствования из одного языка в другой приводит к образованию общебалканских ареалов распространения разных по происхождению лексем, что также, видимо, имеет свою обратную перспективу: наличие общебалканского ареала лексемы может означать наличие посредников в ее распространении.

**Общебалканское распространение лексемы** часто затемняет вопрос о времени ее заимствования. Так, например, наличие лексемы *livadă* "луг" в румынском, арумынском, мегленорумынском "не доказывает ничего", поскольку это же слово обнаруживается и в болгарском и сербском. Таким образом, одно из лингвогеографических правил должно звучать так: если обнаруживается в румынском, арумынском и мегленорумынском, но не обнаруживается в болгарском, его заимствование можно полагать скорее древним. Поскольку же большинство румынских грецизмов обнаруживается также в болгарском, сербском или албанском, не всегда возможно определить, имеем ли мы дело с непосредственным заимствованием, или же слово попало в румынский через один из балканских языков [Sandfeld 1930: 30–31].

При изучении общебалканского лексического фонда можно различать общераспространенные заимствованные элементы греческого или турецкого, реже латинского (и еще реже славянского) происхождения, с одной стороны, и общебалканские субстратные элементы, с другой [Schaller 1999: 469]. Именно последние чаще всего рассматриваются как объект собственно балканистического исследования [Асенова 1989: 31; Solta 1998: 1025]. П. Асенова [Асенова 1989: 32] обращает внимание: 1) на их принадлежность к одной лексико-семантической группе "Скотоводство и пастушество" (названия животных по их внешним качествам, сооружений, связанных с их разведением, названия продуктов переработки молока, предметов быта пастухов и т.п.), что позволяет связать их с культурами фракийцев и полуномадов типа арумын и каракачан (отмечена также лексика из ЛСГ "Рельеф", "Названия животных и растений" [Solta 1998: 1025]); 2) на их наиболее компактное распространение в албанском и арумынском, диалектное употребление в болгарском и греческом (особенно в Эпире); 3) на неясность их этимологии в рамках отдельного балканского языка.

Установление **диалектной принадлежности заимствований в языке-источнике** также может пролить свет на характер и время межъязыковых контактов. Так, некоторые балканские романизмы могут быть определены конкретнее как венецианизмы, генуанизмы или лексемы из далматинско-итальянского. Для современной балканистики актуальными являются вопросы реконструкции следов ныне не существующей диалектной дифференциации древних балканских языков на основании лексических заимствований и унаследованного словаря в языках живых. Так, например, дебатировался вопрос о количестве территориальных вариантов балканского латыни и их специфических чертах в *area dalmatica* (заимствования в сербохорватском и албанском), в *area danubiana* (общий унаследованный румынский и арумынский лексикон) и в *area della Via Egnazia* (следы древнего латинско-греческого контакта), а также их отношение к далматинскому языку [Haarmann 1999: 559–560; Trummer 1998: 157]. Так, среди относительно новых славизмов в балканских языках следует различать болгарский и сербский, а для румынского, возможно, и дакославянский слой [Byhan 1898].

Постоянно в центре внимания балканистики находятся и вопросы фонетической и морфологической **адаптации** заимствованных лексических элементов отдельными балканскими языками [Schmaus 1955; Бернштейн 1984].

## 1.2. Семантические связи: классическая парадигма изучения

Уже традиционная балканистика обратила внимание на то, что наряду с двусторонними материальными лексическими заимствованиями балканские языки также демонстрируют с е м а н т и ч е с к и е з а и м с т в о в а н и я из одного языка в другой, обозначавшиеся К. Сандфельдом термином "кальки". По мнению К. Сандфельда, примеры показывают, с какой легкостью происходят заимствования такого рода [Sandfeld 1930: 35]. В современной балканистике одинаковые или параллельные явления в семантической структуре на лексическом уровне получили определение *межъязыковая изосемия* [Семчинский 1977], а "лексические единицы, материальная реализация которых в каждом отдельном балканском языке имеет самостоятельную форму при параллельности или тождестве семасиологических признаков", называются *изосемными* [Асенова 1989: 35]. Этот вид межъязыковой интерференции – "самая интимная форма взаимовлияний в лексике. Она не только простое свидетельство языкового контакта, но результат духовного проникновения и близости между балканскими народами, явление, которое проливает свет на балканский менталитет" [Асенова 1989: 40]; см. также [Бернштейн, Клепикова 1996: 80–81]. С возникновения балканистики до сегодняшнего дня отмечается исключительно недостаточная изученность этой предметной области (ср. утверждение Г. Шаллера о невозможности обобщения результатов изучения калек в балканских языках), хотя и считается, что она является центральной для балканистических исследований [Schaller 1999: 464, 469, 482]. На положении дел здесь до сих пор негативно сказывается отсутствие исторического словаря балканских языков.

В плане парадигмы исследования традиционная балканистика и в этой области не выходит за рамки сравнительно-исторического языкознания. Так, при реконструкции экстралингвистических условий заимствования традиционно отмечают, что кальки наиболее многочисленны в непосредственно контактирующих языках (кальки с греческого многочисленны в арумьинском, албанском, болгарском) [Sandfeld 1930: 40]. Установление источника заимствования часто затруднено общим семантическим развитием (например, латинских элементов в румынском и албанском) [Sandfeld 1930: 74]. Для оценки степени влияния языка на язык также возможно обращение к классификации калек по ЛСГ. Так, Х. Дзидзилис отмечает наличие турецких калек с греческого в области названий рыб и рыболовства [Tzitzilis 1999: 589]. При хронологизации семантических заимствований также используются ареальные критерии; например, если калька с греческого находится во всех ответвлениях румынского, то можно говорить о ее древности [Sandfeld 1930: 42–43].

Традиционная балканистика при исследовании балканской межъязыковой изосемии не различает параллельные словообразовательные мотивации, с одной стороны, и лексические нейтрализации, с другой.

В качестве примеров заимствования словообразовательной мотивации одним балканским языком из другого можно, опираясь на материал К. Сандфельда, привести следующие:

- 1) мотивации, заимствованные арумьинским из албанского: "больной" < "не мочь" [Sandfeld 1930: 69];
- 2) мотивации, заимствованные румынским из славянского: "руководитель" < "лоб (чело)", "недостаток" < "доставать", "бельмо" < "белый" [Sandfeld 1930: 86], часто представленные также и в албанском: "пчелиная матка" < "мать", "висок" < "слепое око" [Sandfeld 1930: 88–89];
- 3) мотивации, заимствованные албанским из славянского: "июнь" < "красный", "июль или август" < "серп", "перчатка (рукавица)" < "рука" [Sandfeld 1930: 78, 79].

В качестве примеров заимствования лексической нейтрализации одним балканским языком из другого можно привести следующие:

- 1) румынские кальки с греческого: "рот" = "разрезанный ножом", "спасибо" =

"за много лет", "друзья" = "крестные братья", "доход" = "работа" [Sandfeld 1930: 42];

- 2) арумьинские кальки с албанского: "быть необходимым" = "не хватать", "лицо" = "щека", "корова" = "проститутка" [Sandfeld 1930: 70];
- 3) румынские кальки со славянского: "свет" = "мир", "тьма" = "большое число", "жизнь" = "животное", "кукуруза" = "голубь" и др., часто представленные также и в албанском: "сторона" = "область", "жила" = "нерв", "играть" = "танцевать", "кривой" = "несправедливый", "путь" = "раз" [Sandfeld 1930: 85, 86, 88, 89].

Как и в случае формальных связей, при наличии румынско-албанской параллели принято говорить о межъязыковом соответствии, а не о заимствовании из одного языка в другой. Параллельными мотивациями здесь следует признать "пчела" < "улей", "снег" < "падать", а нейтрализациями – "богатый" = "имеющий", "сам" = "персона", "делать" = "идти". К этим соответствиям часто подключение болгарского языка: "горсть" = "маленькая рука, ручка", "язычок (анат.)" = "маленький человек, человек", "спина" = "лопатки", "пояс" = "поколение", "знать" = "верить" [Sandfeld 1930: 72–73].

Наибольшее значение имеют, однако, примеры общебалканской изосемии (появление которых Э. Сандфельд связывал с воздействием греческого языка по той причине, что именно этот язык оказал наибольшее формально-лексическое влияние на все остальные). Во всех языках полуострова отмечены следующие словообразовательные мотивации: "совет" > "разговор", "венки, корона" > "венчаться, жениться", "сладкий" > "получать удовольствие, наслаждаться", "весь" > "постоянно (всегда)". Общебалканскими являются следующие лексические нейтрализации: "пасхальная неделя" = "великая неделя", "масленичная неделя" = "сырная неделя", "век (столетие)" = "жизнь", "язык" = "народ", "смола" = "пекло", "пупок" = "центр", "Плеяды (созвездие)" = "курица", "губа" = "край", "лицо" = "персона", "жених" = "зять", "невеста" = "невестка", "направлять" = "делать", "проходить, идти" = "жить", "брат" = "покупать", "расстилать" = "накрывать на стол" = "стелить кровать", "убивать" = "бить", ударять", "удивляться" = "думать", "связанный" = "бессильный", "писать" = "рисовать", "писаний" = "красивый", "зрелый" = "печеный", "бледный, побледнеть" = "желтый, пожелтеть" [Sandfeld 1930: 34–39]. По мнению Г.Р. Золты, "здесь определенное балканское единство проявляется также в лексиконе" [Solta 1998: 1024]. Установление фактов общебалканской изосемии (также безотносительно к ее источнику [Семчинский 1977]) является поэтому одной из центральных задач современного балканского языкознания. Некоторое число новых фактов параллельных мотиваций и лексических нейтрализаций введено недавно в научный оборот П. Асеновой [Асенова 1989: 38–39] и М.В. Домосилецкой [Домосилецкая 1999].

Фактически общебалканское распространение получила изосемия, возникшая в результате прямого греческого и турецкого влияния. Речь идет о греческих словообразовательных мотивациях ("открывать" > "весна", "смех" > "высмеивать") и лексических нейтрализациях ("знаменитый" = страд. прич. от "слышать", "крепкий" = "здоровый", "способный, сильный" = "плохой", "очень" = "плохо", "пустой" = "свободный, праздный", "черный" = "плохой", "новый" = "молодой", "знак" = "чудо", "любить" = "хотеть", "принести" = "привести", "входить" = "(в)падать", "выходить" = "(вы)падать", "восток" = "выход"), распространенных в арумьинском, албанском и болгарском языках [Sandfeld 1930: 41]. Также широко распространены и турецкие словообразовательные мотивации ("коммерция" < "дато-взято") и лексические нейтрализации ("место" = "земля", "лев" = "денежная единица, монета", "читать" = "петь") [Sandfeld 1930: 93]. В современной балканистике встречается утверждение о большем значении семантических, чем собственно лексических турцизмов в балканских языках, поскольку первые "свидетельствуют о более сильном проникновении в язык" [Hazai, Kappler 1999: 667].

При анализе явлений межъязыковой изосемии центральной проблемой является

разграничение собственно семантического заимствования (расширение смысла данного слова под влиянием значений соответствующего слова другого языка), общего семантического развития при наличии единого импульса и независимой ассоциации. Ее нерешенностью "объясняется отсутствие системных исследований в этой области балканского языкознания" [Асенова 1989: 35–37]. Так, обнаружение подобных случаев изосемии и вне балканского ареала, по мнению К. Сандфельда, свидетельствует либо о том, что балканское семантическое развитие расширилось и вне Балкан, либо о том, что внебалканские примеры отражают случайное совпадение с балканскими моделями, либо о спонтанности и независимости семантического развития во всех этих языках, причем в последнем случае важную роль будет играть выделение языковых семантических универсалий (типа нейтрализации "голова" = "верхняя часть") [Sandfeld 1930: 33–34]. Это заставляет некоторых балканистов сомневаться в доказательности таких параллелей для постулирования балканского единства [Solta 1998: 1025]. При том, что методика такого исследования пока разработана недостаточно, трудно выполнить следующее требование, выдвинутое П. Асеновой: "Прежде чем приступить к выяснению происхождения данной изосемии, нужно доказать, что она не является результатом независимой ассоциации в каждом отдельном языке" [Асенова 1989: 40]. Решение этой проблемы видится с одной стороны, в создании предметных словарей с привлечением материала из балканских и небалканских языков [Batowski 1939; Schröpfer 1956], с другой, – в расширении именно лингвогеографических исследований, которые часто "подтверждают интерференционный характер некоторых лексико-семантических явлений в говорах того или иного языка" [Семчинский 1977: 122].

## 2. АРЕАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ БАЛКАНСКОЙ ЛЕКСИКИ

### 2.1. Лингвистическая география и ареальная лингвистика

Лингвистическая география рассматривается нами в качестве основного метода отдельной лингвистической дисциплины – ареальной лингвистики. Рожденная в рамках индоевропейской компаративистики в середине XIX в. в качестве дополнения к сравнительно-историческому методу и в ходе дискуссии о понятии "диалект", она связана с общетеоретическим представлением о языках как о непрерывном континууме их диалектов, о языковых явлениях как о волне, распространяющейся из центра и, формируя изоглоссы, дифференцирующей инновационную часть языковой территории от архаичной, и о диалектах как об индивидуальных комбинациях таких инноваций. Основные процедуры этого метода состоят в выборе обследуемой территории, в выборе обследуемых пунктов, в разработке вопросника (программы), в полевой работе, в составлении базы данных, в картографировании языковых явлений, т.е. в составлении лингвистических карт и атласов (существуют различия в конкретной реализации этих процедур в германской, романской и славянской школах лингвогеографии). Лингвогеография внесла большой вклад в методологию лингвистики точным отражением пространственной стороны языка как целого, но прежде всего, установлением относительной хронологии и динамики развития отдельных явлений (что часто раскрывает и их происхождение), особенно в сопоставлении с так называемой "некартографической монографической диалектологией" (которая, со своей стороны, имеет в качестве преимущества глубину и детализированность описания).

Давая ответы на ряд вопросов сравнительно-исторической грамматики отдельных языков и их семей, этот метод открывает и новую лингвистическую реальность – языковую ландшафт, формируемый изоглоссами с их направлением распространения и ареалами с их формами; при этом вскрываются и взаимные отношения между отдельными изоглоссами и между отдельными ареалами. Языковой ландшафт является объектом исследования ареальной лингвистики, цель которой состоит в его содержательной, т.е. исторической и структурной интерпретации. Изучая причины, развитие, фронт прохождения и направление какой-либо инновации,

ареальная лингвистика оперирует понятиями инновативного центра ареала, его архаичной периферии и зоны диффузии. Изучая структуру дифференциации, она обращает наибольшее внимание на изоглоссы, совпадающие по направлению и формирующие таким образом пучок. Ареальная лингвистика делает возможным как сравнительно-историческое, так и синхронно-типологическое изучение как генетических (например, южнославянская), так и ареально-типологических (например, балканская) групп языков. Со сравнительно-исторической точки зрения ключевое место занимают ареалогические понятия континум и арханизм, а с синхронно-типологической – общелингвистическое понятие фрагмент языковой системы. В сравнительно-историческом аспекте встают вопросы о путях балканской языковой конвергенции, и прежде всего о ее инновационном центре и архаичской периферии. Здесь речь идет об исследовании географической дистрибуции известных и еще неизвестных балканских межъязыковых параллелей (основными задачами такого исследования являются раскрытие направлений и динамики процессов балканизации, раскрытие центров иррадиации балканских параллелей, раскрытие их происхождения и хронологии формирования). Несмотря на отсутствие исследований в этой области, в балканистике как будто бы утвердилось мнение о наличии ядерной зоны балканского языкового сообщества в юго-западной части полуострова, "где встретились албанцы, греки, македонцы, арумыны, сербы и турки, где господствовал не только билингвизм, но и три- и многоязычие: это область южной Албании, Эпира и западной Македонии, соответствующая римской провинции Dardania" [Solta 1998: 1021], хотя и допускается теоретическая возможность нескольких ареально не связанных источников возникновения одной и той же балканской инновации (ср. [Цыхун 1981]). В синхронно-типологическом аспекте встает вопрос об ареальной обусловленности параллелизма между отдельными балканскими (диалектными) системами, что достигается лишь путем установления балканских междиалектных микроареалов. Для решения задач обоих аспектов следует считать чрезвычайно перспективным признание наличия у балканской языковой общности собственного и а лектного ландшафта.

В науке никогда не существовало сомнения в применимости ареальных методов в исследовании балканских языков, а составление Балканского лингвистического атласа часто даже полагается важнейшей задачей балканистики [Solta 1998: 1021]. "Углубление наших знаний о балканском языковом сообществе сегодня невозможно без учета лингвогеографии как направления исследования и ее результатов" [Choliolchev 1979: 49]. Лингвогеография давно и достаточно успешно привлекается для установления ареалов распространения лексических заимствований в отдельных балканских языках (так, назовем из относительно недавних работ статьи М. Младенова о румынских и греческих элементах в болгарском и славянских – в румынском [Младенов 1983; 1991], или ожидающие публикации обобщающие труды К. Лешбер о славизмах в румынском [Leschber 1998; Hinrichs 1999: 628], или ареальный словарь славянских заимствований в албанском Дж. Юллы [Ylli 1997]), хотя зачастую обнаруживается поразительное незнание публикаций на эти темы даже ведущими специалистами [Tzitzilis 1999: 607].

Большую роль в изучении лексики балканских языков методом лингвогеографии может сыграть Atlas linguarum Europae [ALE 1983–1997], карты которого представляют значительный материал как для сравнительно-исторического, так и синхронно-типологического подходов. Прежде всего, однако, следует отметить, что достаточно большое число карт ALE фактически отражает распределение лексики по генетическим языковым группам (греческий, албанский, турецкий, романские и славянские языки) с возможной внутрдиалектной дифференциацией на территории одного из языков, что позволяет установить лексические сферы, в которых взаимопроникновение балканских языков отсутствует. Таковы лексические карты: I.1. "Солнце", I.2. "Луна", I.4. "Туча", I.5. "Ветер", I.16. "Море", I.21. "Цветок", I.24. "Береза", I.29. "Гром", I.30. "Foudre. Молния", I.39. "Ежевика", I.47. "Ячмень", I.51. "Собака"; такова же мотивационная карта I.23. "Ветка".

Собственно лексические карты ALE отражают значительное число широко распространенных заимствований в балканских языках (древних и новых, в основном, турецких и ряда латинских и романских), например:

Карта I.5. "Ветер" (алб. *erë*, греч. *a'eras* из лат.);

Карта I.12. "Лужа" (болг., мак., сербохорв.. греч. *bara* из тур., болг., греч. *gól* из тур.; ср. распространение лексемы *gól* в значении "Пруд" на карте I.14. и в значении "Озеро" в алб., греч., тур., болг. на карте I.15. "Озеро");

Карта I.34. "Свинец" (алб. *plumb* из романск.);

Карта I.35. "Олово" (общербалк. *kalaj* из тур.);

Карта I.36. "Дуб" (сербохорв., болг. *cer*, алб. *çarr* из лат.);

Карта I.41. "Огурец" (сербохорв., мак., болг., рум., греч., алб. *kastravec* и слав.);

Карта I.48. "Кукуруза" (с чрезвычайно сложной конфигурацией ареалов большого числа лексем).

Значительное число карт отражает локальные лексические заимствования:

Карта I.3. "Туман" (алб. *jez'e:ŋ* из слав.);

Карта I.17. "Река" (сев.-зап. болг. *bara* из тур.);

Карта I.25. "Осина" (юго-вост. болг.. греч. *lavac* из тур.);

Карта I.26. "Груша" (греч. *g'ortso* из слав. через алб. посредничество);

~~Карта~~ Карта I.31. "éclair. Молния" (сербохорв. в Далмации *lamp* из итал.);

Карта I.23. "Медь" (сербохорв. в Далмации *ram* из ром.);

Карта I.34. "Свинец" (болг.. мак. *kuršum* из тур.);

Карта I.35. "Олово" (сербохорв. в Далмации *stań*, греч. *stango* из ром.);

Карта I.35. "Олово" (сербохорв. *kositer* из греч.);

Карта I.36. "Дуб" (болг.. греч. *meše* из тур.);

Карта I.37. "Гора" (болг. *halkan* из тур.);

Карта I.38. "Сосна" (сербохорв., болг. *çam* из тур.);

Карта I.41. "Огурец" (сербохорв. в Далмации *kukumer* из итал.).

Примером решения некоторых задач собственно балканской ареальной лексикологии в сравнительно-историческом аспекте является исследование Х. Холиолчева [Choliolchev 1979] о некоторых названиях культурных растений (кукурузы, картофеля, арбуза, дыни и др.), достаточно поздно появившихся на Балканах и потому получивших свои названия во всех балканских языках и диалектах более или менее одновременно и в более или менее сходных экономических и культурно-исторических условиях. Устанавливаются три лексических ареала: 1) **центрально- и западнобалканский**, 2) **южнобалканский** и 3) **восточнобалканский**. Центрально- и западнобалканский ареал (с ядром в Сербии, юго-западной Румынии и северо-западной Болгарии) формируют области распространения различных по происхождению лексем *kukuruz*, *krompir*, *lubenica*. Южнобалканский ареал (с ядром в южной Болгарии и Фракии) формируют области распространения лексем *misir*, *patat(i)*, *karpuz(a)*, *pipon*. Восточнобалканский ареал (румыно-болгарская контактная зона в нижнем течении Дуная) формируют области распространения лексем *porumb* и *galabi* (обе в значении "кукуруза"), *kartoff(i)*. Таким образом установлены "зоны лингвогеографической концентрации" на Балканах, особенностью которых является то, что они суть не зоны иррадиации инноваций в обычном понимании лингвогеографии, а зоны сбора результатов инноваций, исходящих из различных направлений и источников. Тем не менее, в них можно видеть области собственно реализации балканского языкового сообщества [Choliolchev 1979: 49].

Таким образом, очевидно, что расширение ареально-лингвистических исследований может внести существенный вклад в изучение формы лексических заимствований между балканскими языками в рамках рассмотренной выше классической для сравнительно-исторического языкознания парадигмы в ее основных аспектах.

В последнее время, однако, часто высказывается мнение о том, что "сходство балканских языков не может быть адекватно описано методами генеалогического языкового родства". причем привлечение концепции языкового союза отнюдь не рассматривается как обязательное [Solta 1998: 1022, 1023]. Наиболее продуктивным представляется применение синхронно-типологического подхода, заключающегося в стремлении описать и ареалогически истолковать целые фрагменты языковых (диалектных) систем. Этот подход в ареальной лингвистике связан, главным образом, с работами над Общеславянским лингвистическим атласом (ОЛА) (несмотря на то, что речь здесь идет о близкородственной группе языков), а с недавнего времени и над Atlas linguarum Europae (ALE) (несмотря на то, что языки Европы не формируют отдельной лингвистической группы). В ОЛА исследуется взаимоотношение между консонантизмом и вокализмом, системное место сонантов, просодии, консонантных корреляций по веларности, палатализованности, палатальности. В морфологии речь идет о характере склонения, о взаимоотношениях между синтетизмом и аналитизмом в системе существительного, о категориях лица, одушевленности, о категории определенности прилагательных, о системе временных форм глагола, о категориях вид и залог. В словообразовании наиболее интересными оказываются специфические функции общеславянских формантов. Наконец, речь идет и о системном исследовании лексико-семантических групп, что предоставляет возможность раскрыть "внутреннюю словообразовательную форму", мотивацию именования без учета этимологического родства. Так, например, семема "прием пищи в полдень" в южнославянских языках выражается лексемами, мотивированными: 1) темпорально (\**južina* в хорватских славонских говорах; \**poldǎnina* в южномакедонских говорах в Греции); 2) процессуально (~*obědъ* в южномакедонских говорах в Греции, в сербохорватских косовских, тимокских, черногорских приморских, герцеговинских, южнодалматинских, истрийских, кайкавских, градишчанских, в словенских в Италии; \**qgsidlo* в западнословенских); 3) лексемой "рука" (\**ročььъ* в основной части сербохорватских и македонских говоров) [Вялкина 1995]. Основным вопросом подобных исследований генетических групп языков остается следующий: в каких случаях (или в какой степени) при наличии системных соответствий между родственными языками и диалектами речь идет о генетической, в каких об ареально-типологической, а в каких об универсально-типологической обусловленности?

Обращение к опубликованным картам ALE позволяет обнаружить общие или сходные словообразовательные мотивы во многих балканских языках и диалектах (отметим как само собой разумеющееся, что этот же диалектный материал может быть привлечен и для исследования ареалов и продуктивности определенных словообразовательных моделей на картографируемой территории), причем в настоящей статье не принимаются во внимание возможные параллели за пределами географической зоны Балкан:

- Карта I.7. "Радуга" (сербохорв., болг., алб., греч., тур. "пояс", "ремень" и т.п.);
- Карта I.18. "Кузнечик" (сербохорв., мак., болг., греч. "прыгун");
- Карта I.20. "Сосулька" (сербохорв., мак., тур. "расти; отросток");
- Карта I.20. "Сосулька" (сербохорв., болг., алб., греч. "блестеть");
- Карта I.28. "Ласка" (общербалк. "молодуха", "супруга");
- Карта I.42. "Божья коровка" (сербохорв., тур., греч. родовое название "насекомое");
- Карта I.43. "Божья коровка" (сербохорв., мак., болг., греч. "дева Мария");
- Карта I.44. "Божья коровка" (болг., алб. "свекла", "малина", "красное яблоко" и под.);
- Карта I.50. "Подсолнух" (болг., тур. "солнце" + глагол "смотреть");
- Карта I.59. "Рождество" (алб., греч. "Христос").

Как видно, речь идет как о двусторонних, так и об общербалканских явлениях.

Центральный для анализа межъязыковой изосемии вопрос об универсальной или ареальной обусловленности этих системных межъязыковых сходств наиболее остро встает в довольно частых случаях разорванности и неконтактности образуемых ими ареалов (что отражено на картах). Видимо, установление пучков системных изоглосс и обнаружение совпадения целого ряда подобных ареалов, являющееся, очевидно, делом будущего, сможет послужить дополнительным аргументом в пользу их собственно ареалогического объяснения. Кроме того, совпадение ареалов лексических заимствований (при известном источнике) и ареалов изосемии может помочь установлению источника (импульса) явления и во втором случае.

М. Помимо изучения параллельных словообразовательных мотиваций в рамках синхронно-типологического ареального подхода к балканским языкам возможно обращение к фактам параллельных лексических не й т р а л и з а ц и й. В этой области значительны достижения российской науки, связанные с работами по типологии славянской лексики Н.И. Толстого [Толстой 1997]. Моделирование славянских диалектных лексических и семасиологических систем привело Н.И. Толстого к выделению лексико-семантических м и к р о п о л е й как "искусственной, внутренне непротиворечивой модели-сетки с максимальным набором дифференциальных признаков", релевантных для суммы изучаемых диалектов. Границы семантического микрополя устанавливаются на основании междиалектной а м п л и т у д ы к о л е б а н и я так называемой опорной лексемы, представляющей собой сумму всех зафиксированных семантических сдвигов, выраженных одной лексемой в группе близкородственных диалектов. Метод был продемонстрирован Н.И. Толстым на примере анализа семантического поля "дождь – погода – время – год – час". С формально-логической точки зрения семантические фрагменты "дождь – погода" и "время – год – час" не связаны, поскольку относятся к разным понятийным полям, однако при определении границ семантического поля на основании амплитуды колебания опорной лексемы + *godina* в различных славянских диалектах было показано, что данная лексема соответствует единому метаязыковому семантическому пространству, включающему все перечисленные семемы. На этом же основании была установлена максимальная (и эталонная) семантическая сетка, по-разному заполненная в разных славянских диалектах, что, собственно, и становится объектом дальнейшего типологического изучения.

Случаи заполнения одной лексемой двух и более семантических клеток наддиалектной сетки-модели Н.И. Толстой называл "неразличением" [Толстой 1997: 82, 83]. Представляется, однако, что следует различать случаи заполнения одной лексемой двух клеток семантической сетки, относящихся к одному понятийному полю (например, "время = год", или "время" = "час", или "год" = "час" в гипотетическом славянском примере), что может называться собственно не р а з л и ч е н и е м, и случаи заполнения одной лексемой двух клеток семантической сетки, относящихся к разным понятийным полям (например, "время" = "погода" также в гипотетическом славянском примере), которые предпосредительно называть не й т р а л и з а ц и е й.

Сам Н.И. Толстой открыто полагал, что "предложенный способ конструирования микрополей, основанный на формально-генетическом тождестве лексем, не применим в сфере языковых союзов, объединяющих языки различных семей (например, в сфере балканского союза)" [Толстой 1997: 59]. Отметим, что и в исторически ориентированной карпатской лексикологии, достаточно близкой методологически к лексикологии балканской, было принято исследовать "возможные направления эволюции семантики" (т.е. семантическую амплитуду) карпатских лексем, например, + *man(n)a*, + *koliba* и др., на материале генетически единой группы диалектов (украинских или словацких, например) и сопоставлять их затем с материалом неславянских языков [Клепикова 1977: 9. 12–13; Овчинникова 1983: 162–163]; ср., однако [Клепикова 1999a].

В настоящее время очевидно, что и в области балканской лексикологии возможно использование некоторых достоинств этого метода. Так, при наличии формального общебалканского лексического элемента возможно установление его семантической

амплитуды в ареале в целом и конструирование на этой основе семантических микрополей. Опубликованные карты ALE позволяют, например, установить амплитуду широко распространенной в балканских языках турецкой по происхождению лексемы *ğol*: "лужа – пруд – озеро" (Карты I.12., I.14., I.15), на основе которой можно конструировать соответствующее семантическое поле (очевидно, что в этом конкретном случае лишь фрагментарно и лишь в пределах одного понятийного поля, конструирование которого возможно, кстати, и a priori). Картографирование конкретного семантического наполнения (конкретных семантических амплитуд) как этой лексемы, так и других, участвующих в оформлении данного поля, в отдельных балканских диалектах позволит установить ареалы типологической близости последних. При этом интерес представляют не столько случаи однозначного соответствия "лексема – семема" типа *ğol* "лужа" или *ğol* "озеро" и др., сколько гипотетические случаи семантических не р а з л и ч е н и й типа "лужа" = "озеро" или н е й т р а л и з а ц и й вне зависимости от их лексического оформления в том или ином балканском диалекте (т.е. случаи межъязыковой изосемии), подлежащие дальнейшему ареальному анализу. Следует отметить, что в ALE уже представлены карты подобного рода, например, I.32. "Tonnerre / foudre / éclair". Накопление достаточно большого числа подобных примеров позволит описать общеполубалканскую лексическую систему как систему отношений между общеполубалканским набором лексем и общеполубалканским же набором заполняемых этими лексемами клеток семантической сетки.

Синхронно-типологическое исследование балканской лексики не может обойти своим вниманием и вопрос об относительной п р о н и ц а е м о с т и различных уровней и участков языковой структуры для внешнего воздействия. Рассматривая явления языковой интерференции "как равнодействующую двух противоположно направленных сил – стимулов интерференции и сопротивления ей" [Вайнрайх 1979: 104], современная теория балканского контакта устанавливает следующую иерархию проницаемости языковых уровней: с л о в а р ь < с и н т а к с и с < ф о н е т и к а < м о р ф о л о г и я [Solta 1998: 1023]. Необходимо изучение также относительной проницаемости отдельных участков каждого из этих уровней, в области словаря, например, относительной проницаемости для заимствований различных лексико-семантических групп. Поскольку структурными стимулами лексической интерференции могут быть любые факты различия между двумя системами (отсутствие соответствующих различий в языке-доноре или структурно слабые пункты в словаре языка-реципиента), "следовало бы, по-видимому, сначала найти способ, как определить степень внутренней целостности (integrateness) системы и как измерить долю той области, которая охватывается данным воздействием, а уж после этого проводить сравнение" [Вайнрайх 1979: 110]. Традиционные исследования лексики по ЛСГ (например, описание лексики латинского происхождения в румынском по тематическим группам [Domaschke 1919], многочисленные работы о лексических заимствованиях в отдельных балканских языках) не позволяют определить, какую именно с и с т е м н у роль в оформлении каждой конкретной ЛСГ играет унаследованная, а какую – благоприобретенная лексика, хотя определенные достижения в области анализа не изолированных лексем, а тематически связанных лексических (микро)групп (например, изучение коэффициентов заимствования) известны славистике [Михалк 1980], балканистике [Weigand 1911; Reiter 1990; Rocchi 1990; Birken-Silvermann 1992–1993] и карпатистике [Бернштейн, Клепикова 1998: 55].

### 3. ЛЕКСИКА В "МАЛОМ ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОМ АТЛАСЕ БАЛКАНСКИХ ЯЗЫКОВ"

Описание лексики в "Малом диалектологическом атласе балканских языков" (МДАБЯ) [Соболев 1998; Домосилецкая и др. 1998; Sobolev 2000] нацелено на решение как традиционных для балканистики задач с р а в н и т е л ь н о - и с т о р и ч е с к о г о, так и наиболее актуальных в последнее время задач с и н х р о н н о - т и п о л о г и ч е с к о г о ее изучения: описание дву- и многосторонних лексических связей между балканскими языками; описание источников формирования и путей развития словарного состава каждого конкретного балканского языка; описание лек-

сического уровня балканской языковой общности [Домосилецкая, Жугра 1997], ср. также [Десницкая 1988]. Для представления в пространственной проекции основных пластов словарного состава балканских языков используется преимущественно классический лингвогеографический метод; для последовательного освещения наиболее релевантных для Балкан частей лексической системы диалектов наиболее адекватным является применение методов типологического и ареально-типологического, позволяющих получение сопоставимого (семантически соотносимого) лексического материала по основным балканским диалектам. Исследованию подлежит как формально-лексическая, так и семантическая сторона лексики в их неразрывной связи, в соответствии с чем предполагается разрабатывать несколько типов карт. Карты лексические отражают названия одного и того же объекта номинации в разных диалектах и языках, в то время как карты семантические отражают различные значения формально тождественных слов. Мотивационные карты и карты междиалектных лексических неразличений и нейтрализаций отражают параллелизм "внутренней формы" номинации одного и того же объекта в разных балканских языках.

Принципиальной является методологическая открытость МДАБЯ, предусматривающего возможность применения самых различных методов для описания путей формирования балканского лингвистического ландшафта и диасистемы балканской языковой общности. Например, накопление идеографически организованного лексического материала предоставит в будущем также возможность рассмотреть и мультиязычные парадигматические отношения в рамках семантических полей или проводить исследования минимальных семантических единиц ("сем").

81  
:(

### 3.1. Ареальное изучение балканской лексики

Традиционное ареальное освещение формально-лексических и лексико-семантических связей между балканскими диалектами имеет своей наиболее очевидной первоочередной задачей установление географического распространения каждого заимствованного слова (и его фонетико-морфологических характеристик) во всем спектре его возможных значений по диалектам полуострова. Случай, когда заимствование имеет во всех диалектах одно и то же значение (при возможности наличия полисемии внутри одного диалекта), т.е. когда его межъязыковая семантическая амплитуда равна единице, предоставляют наиболее прямые свидетельства о географических зонах лексического влияния тех или иных языков. Более сложны случаи, когда заимствование имеет разные значения как минимум в двух диалектах балканского ареала (также при возможности наличия полисемии внутри одного диалекта), т.е. когда его межъязыковая семантическая амплитуда охватывает не менее двух клеток семантической сетки. Здесь для балканистики особый интерес представляет реконструкция развития семантики слова, определение степени самостоятельности каждого говора в этом развитии и установление фактов его ареальной обусловленности. При семантическом анализе представляется правомерным различать семантические амплитуды лексем, остающиеся в пределах одной понятийной группы (межъязыковая полисемия), и семантические амплитуды, входящие за эти пределы (межъязыковая омонимия). При этом можно полагать, что именно факты параллельной межъязыковой омонимии наиболее надежно могут свидетельствовать о собственно ареальной связи между соответствующими диалектами, поскольку колебание значения слова в пределах тематической группы в большинстве случаев с большой долей вероятности может быть объяснено за счет собственно внутриязыкового и независимого в каждом диалекте развития.

Каждое балканское лексическое заимствование обладает, таким образом, формальным и семантическим ареалом, которые совпадают лишь в случае минимальности его семантической амплитуды (о наличии ареала мы предпочитаем говорить в случае соответствия как минимум между двумя пунктами, связанными географически; при

наличии соответствия между двумя несоседствующими пунктами предпочтительнее говорить о с в я з и, соответственно, лексической или семантической).

Формальные ареалы многозначных заимствований закономерно больше ареалов семантических, которых в каждом конкретном случае устанавливается не менее двух. Картографирование семантических различий (так же, как и картографирование различных фонетических, словообразовательных и морфологических) дает возможность установить внутреннее членение установленных формальных балканских ареалов, а в ряде случаев выделить их я д е р н ы е з о н ы и п е р и ф е р и ю.

Материал, собранный по так называемой "семантической" части программы МДАБЯ (составитель Г.П. Клепикова) и состоящий из 73 предположительно общепалканских лексем греческого, латинского, турецкого, славянского и субстратного происхождения [Домосилецкая, Жугра 1997: 70–73], может быть предварительно картографирован уже на настоящем этапе работы. При этом оказывается возможным представление обобщенной характеристики ареальной дифференциации балканской группы языков без привлечения данных других источников (например, уже опубликованных материалов атласов [ОКДА 1989–1994], собраний лексики [Петрович 1983] или данных диалектных словарей) (см., однако [Клепикова 1999б]). В дальнейшем изложении генетическая атрибуция рассматриваемых лексем производится в соответствии с текстом программы МДАБЯ, поскольку на настоящем этапе работы рассмотрение иных возможных решений представляется нецелесообразным. При допущении некоторых обобщений оказалось возможным выделить следующие основные типы лексических и семантических ареалов полуострова: **общепалканский** ареал, **восточный** ареал, **западный** ареал, **юго-восточный** ареал, **центральный** ареал, **южный** ареал.

**Общепалканский** ареал распространения (при возможном отсутствии в одном-двух ареально не связанных пунктах) имеют следующие грецизмы (здесь и далее для грецизмов приводится форма, зафиксированная для греческого пункта Эратира): *yum'ar* "осел", *dis'ak* "двойной мешок", *kal'iva* "хижина", *trjandafilu* "роза". Таково же распространение двух романизмов (для романизмов приводится форма, зафиксированная для арумьинского пункта Белица): *kul'astrā* "молозиво", *must'aki* "усы". Наибольшее число собственно общепалканских лексем представляют турцизмы (вследствие отсутствия данных из турецкого пункта здесь и далее для турцизмов приводится форма, зафиксированная для одного из балканских диалектов): *č'izmi* "сапоги" (Равна), *č'oxa*, *č'ox'a* "вид (плотной) ткани" (Гела), *dol'ap* "шкаф (стенной)" (Гела), *mlxl'ə* "квартал, часть населенного пункта" (Гела), *ğerd'an* "ожерелье" (Гега), *p'enžer* "окно" (Гега), *plp'uca* "тапки" (Гела), *pešk'ir* "полотенце" (Равна), *rak'ijl* "фруктовая водка" (Гега), *t'enžere* "кастрюля" (Гега). Количественный анализ общепалканских лексических элементов, н е п р е д с т а в л е н н ы х в обследованных говорах, приводит к выводу о противопоставленности северо-западной окраины картографируемой территории (хорватский далматинский говор не знает лексем \**trendafil*, \**kolastra*, \**mustači*, \**dolap*, \**ma(h)ala*, \**tenžera*) территории собственно п а л к а н с к о й, в говорах которой концентрация этих лексем наиболее высока (количество отрицательных ответов в селах Гела и Каменница – 0, в Белице, Лешне, Эратире, Пештанах и Гега – 1, в Равне – 2). Общепалканский ареал продемонстрирован на Карте 1.

Этот же ареал распространения имеют формы ряда полисемных заимствований: грецизм *m'urgus*, *murg'os* "пестрый" – "коричневый, красноватый" – "серый" – "черный" – "темный"; романтизм *fust'ani* "платье" – "юбка" – "пола" – "ткань" и турцизм *č'erga* (Равна) "домотканый ковер" – "покрывало" – "одеяло". Картографирование семантики обнаруживает ареальную противопоставленность, а в ряде случаев, видимо, и ареальную взаимозависимость отдельных значений (Карта 2). Так, очевидно, что значение "платье" у лексемы *fust'ani* концентрируется на неславянском юго-западе ареала (в греческом, албанском и арумьинском пунктах), в то время как в славянских пунктах господствует значение "юбка". Заметим, что аналогичное внутреннее чле-

Карта 1  
*triand'afilu* "роза"



Условные обозначения:

● *triand'afilu, trend'afil* и т. п. "роза"

○ отсутствие лексемы

нение общевалканского ареала может быть получено и путем картографирования формальных характеристик заимствования. Так, следует отметить наличие метатезы в заимствованном грецизме *mlg'are* "осел" (Гега) во всех южнославянских пунктах и ее отсутствие именно в греческом, албанском и арумунском. Подобным же образом следует отметить наличие словообразовательной адаптации турцизма *rak'i* (Эратира) "фруктовая водка" во всех южнославянских (а под влиянием македонского и в арумунском) пунктах – *rlk'ija* (Гега) – и ее отсутствие в греческом и албанском пунктах.

Общевалканскими являются формальные ареалы и практически общевалканскими семантические ареалы ряда межъязыковых омонимов, демонстрирующих отклонение в семантическом развитии лишь в одном пункте и не обладающих, таким образом, как минимум двумя противопоставленными семантическими ареалами. Таковы, например, грецизм *kil'ar* "кладовая (для продуктов)" – "багажник" / "хлев" (отмечено единично), романизм *furka* "прялка (вид прялки)" / "вилка" (единично), субстратный элемент *stop'an* (Лешня) "хозяин" / "обработчик молока в селе" (единично).



Условные обозначения:

● "платье"

● "юбка"

● "пола"

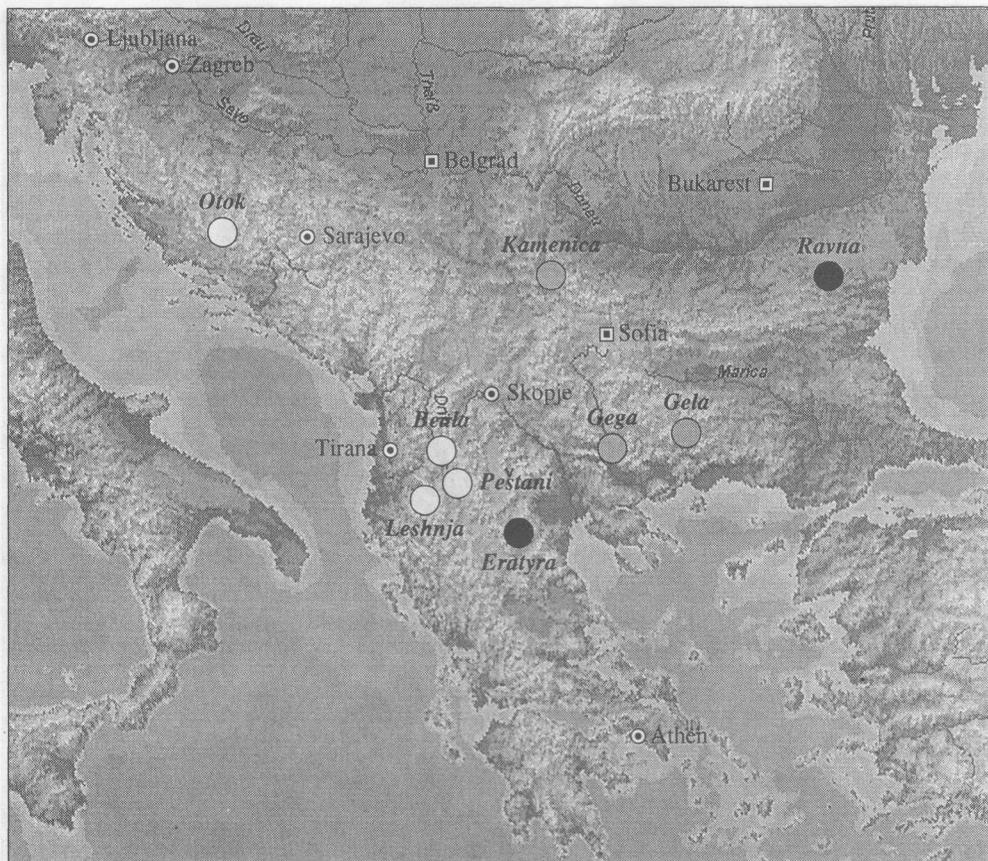
▲ "ткань"

○ отсутствие лексемы

**Восточный** ареал (греческо-македонско-болгарско-восточносербские параллели, с выборочным подключением арумунского или албанского) формируют зоны распространения следующих грецизмов: *d'askalus* "учитель", *kiram'id* "черепица", *m'irzma* "запах", *pirj'on* "пила (вид пилы)" (Карта 3). Картографирование семантики такого межъязыкового омонима, как грецизм *kum'at* "кусок" / "кусок хлеба" – "вид хлеба", позволяет вычленил в пределах восточного формального ареала два семантических – ядерный юго-восточный греческо-болгарский и его западную периферию (с подключением Далмации к ядерной, а не к периферийной зоне). Обратим внимание на представленность среди лексем, зоны распространения которых формируют этот ареал, исключительно грецизмов.

**Западный** ареал (албанско-арумынско-сербохорватские связи), достаточно четко

Карта 3  
*pir'ion* "пила"



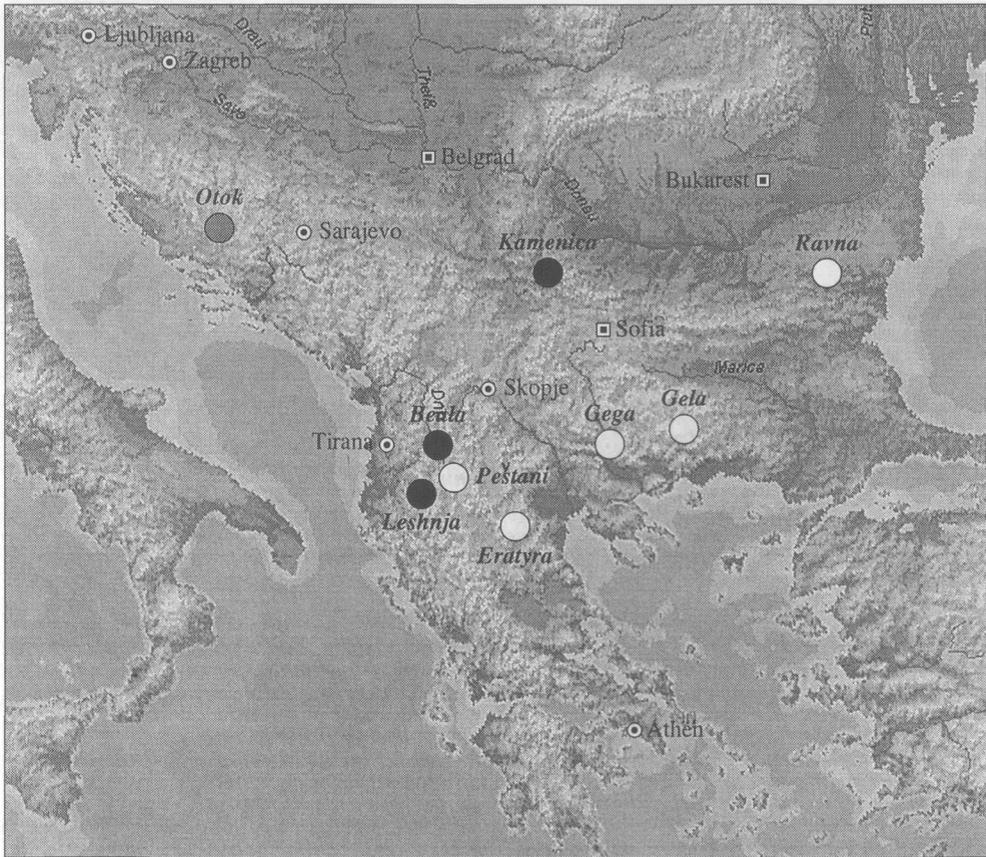
Условные обозначения:

- *pir'ion* и под. "пила"
- *triv'on* и под. "пила"
- отсутствие лексемы

противостоящий восточному, формируют зоны распространения субстратного элемента *b'al'igə* "навоз (крупного скота)" – Белица и турцизма *duh'an* "табак" (Лешня) (Карта 4). Этот же ареал отражает зона распространения формы полисемного субстратного элемента *v'atər* (Лешня) "огонь" – "передняя часть очага" (единично) и формы романского по происхождению межбалканского омонима *biš'ika* "мочевой пузырь" / "прыщ" (в далматинском хорватском говоре отмечен омоним *bešika* "колыбель" турецкого происхождения). Можно выделить также юго-западный ареал (албанско-арумынские связи), который формируется зоной распространения субстратного элемента *sj'ar* "козел" (Лешня). Отметим особо отсутствие грецизмов среди лексем, зоны распространения которых формируют этот ареал.

**Юго-восточный** ареал (греческо-албанско-арумынско-македонско-южноболгарско-восточноболгарские связи) выделяется очень отчетливо на основании зон распространения большого числа лексем: грецизма *pirusti'a* "треножник", романизмов *bast'um* "палка, трость (с загнутым верхом)", *furt'unə* "буря (сильный ветер)" и, наконец,

Карта 4  
b'al'igə "навоз"



Условные обозначения:

- *b'al'igə* и под. "навоз"
- *g'aleba* "навоз"
- отсутствие лексемы

Условные обозначения:  
● "вид" доп и "кошачья"  
● "вид" доп и "кошачья"  
○ отсутствие лексемы

турцизма *slx'an'* "вид (медной) посуды; миска" (Гела), не отмечаемого в греческом пункте. Этому ареалу близки зоны распространения грецизмов *ar'es'*, *ar'ez'* "нравиться, любить", *ziv'ar'* "парная упряжка", *kat'a* "каждый" (Карта 5), не отмечаемых в албанском пункте, и также грецизма *d'afn* "лавр", отсутствующего в арумынском говоре. Этот же ареал устанавливается на основе картографирования форм ряда полисемных грецизмов *ay'ezma* "источник (святой) воды" – "освященная вода", *s'inuru* "угодяя села" – "межа" – "граница" – "пространство между двумя выгонами" (Карта 6) и *tenek'ijl* (Равна) "жесть" – "вид (жестяной) посуды". Нанесение на карту семантики этих полисемных заимствований обнаруживает противопоставленность юго-западной (часто албанско-арумынской) и юго-восточной (часто греческо-болгарской) частей ареала, и, видимо, именно ареальную обусловленность соответствующих значений в каждой из этих частей. Подобное же противопоставление вскрывает и параллельное картографирование формы и семантики таких межбалканских омонимов как грецизмы *m'andri* "постройка для переработки молока" – "место производства сыра" / "загон" –

Карта 5  
kat'a "каждый"



Условные обозначения:

- *kat'a* и под. "каждый"
- отсутствие лексемы

"скотный двор" и *s'oni* "прибывать, достигать; идти, прийти" – "подходить, годиться" / "заканчивать; кончаться" – "быть помолвленным" (Карта 7), а также субстратного элемента *kač'ulā* (Белица) "вид головного убора" / "хохол".

**Центральный ареал** выделяется на основании зон распространения форм таких полисемных заимствований, как грецизм *r'izma* (или производный глагол) "неприязнь" – "ненависть" – "злоба" – "вражда" – "мечь" (Карта 8) и субстратный элемент *pərru'a* (Лешня) "речка" – "ручей" – "ручей после дождя" – "сильный дождь" – "поток" – "нанос (после воды)". Картографирование диалектной семантики распространенных в центральном ареале таких межбалканских омонимов как грецизм *k'amara* "ниша (с дверцей)" – "кладовая" – "комната, помещение" / "кучка" – "собранный солома" (Карта 9), турцизм *čumb'er* (Равна) "(белый) платок" – "фата невесты" / "коса (волос)" и субстратный элемент *šp'užə* (Лешня) "горячий пепел" – "жар" – "холодный пепел" / "скотина (о плохом человеке)" демонстрирует отчетливое противопоставление ядерной (юго-западной) зоны и северо-восточной периферии (при этом возможны подключения географически не центральных пунктов к ядерной зоне).



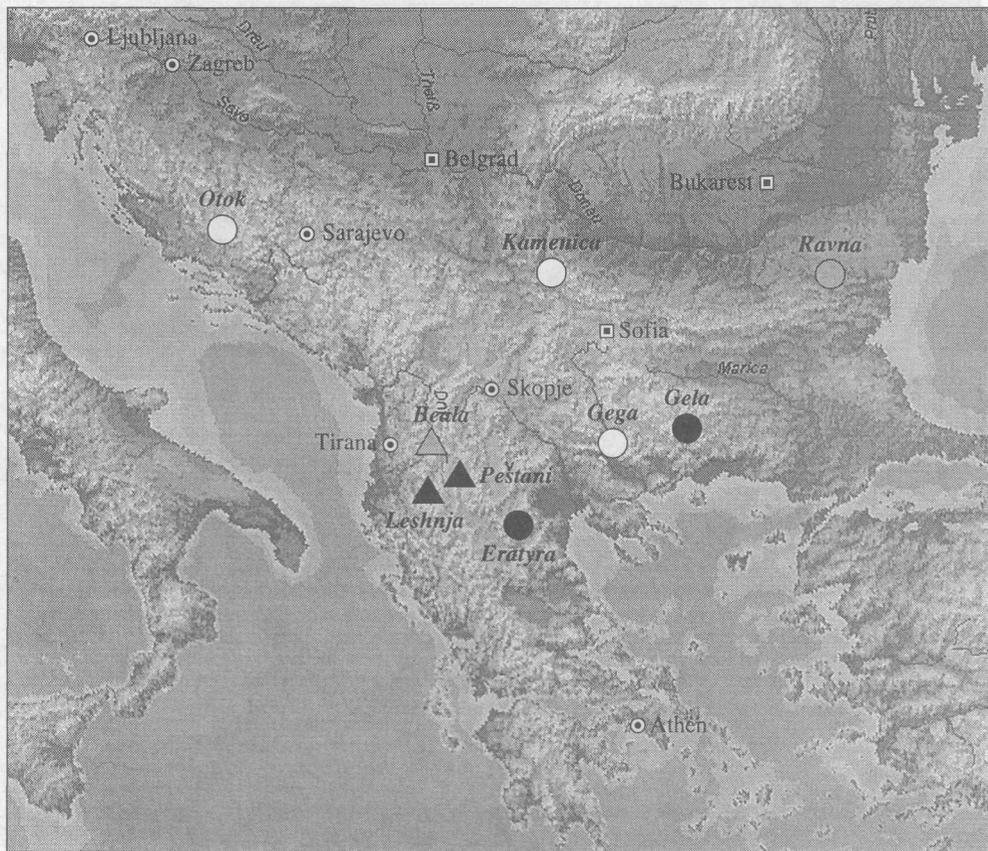
Условные обозначения:

- "граница", "межа"
- "угодья села"
- "пространство между двумя выгонами"
- отсутствие лексемы

Наименее ярко выражен **южный** ареал (греческо-арумынско-македонско-южно-болгарские связи), который формирует зона распространения грецизма *pk'el* "мотыга". К этому же ареалу подключается и область распространения грецизма *pr'ika* "приданое (в вещах)", отмеченного дополнительно и в хорватском далматинском говоре (Карта 10). Особый ареал греческо-албанско-арумынско-южноболгарской связи формирует зона распространения романизма *kəp'estru* "узда".

**Особые ареалы** отмечены, главным образом, в области семантики межъязыковых омонимов, таких как: грецизмы *dr'omus* "путь, дорога (ровная, насыпная)" – "улица" / "(необработанная) земля", *k'amatus* "тяжелый" / "долговой (банковский) процент" / "красивый", турцизм *blž'a* (Равна) "очаг" – "отверстие для выхода дыма посреди крыши" – "дымовая труба" / "лаз на чердак" / "окошко под крышей"; славизм *ob'or* (Равна) "двор" / "хлев (часть хлева)".

Примером **семантических связей** между ареально не связанными пунктами могут

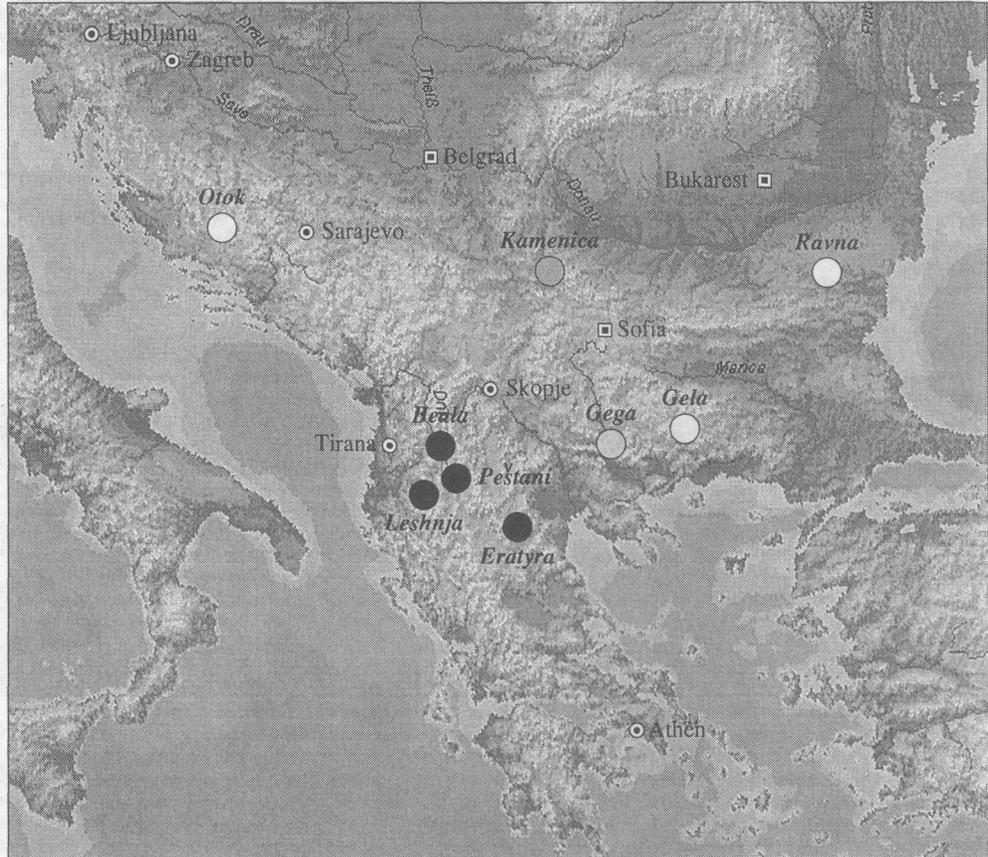


Условные обозначения:

- "прибывать, достигать", "идти, прийти"
- "подходить, годиться"
- ▲ "заканчиваться", "кончатся"
- △ "быть помолвленным"
- отсутствие лексемы

служить такие формально общебалканские омонимы, как грецизм *ary'ac* "наемный работник (за еду, в поле)" / "мастеровой" (последнее значение связывает греческий и болгарский мизийский пункт), как распространенный на юго-востоке грецизм *pir'un* "вилка" и под. / "гвоздь" (демонстрирующий связь хорватского далматинского пункта с балканским югом) и как грецизм *l'iru* "оставлять" – "не хватать" – "быть нужным" / "падать от усталости" – "умереть" – "сдохнуть (о скоте)", который демонстрирует связи болгарского говора в Пиринской Македонии с сербохорватскими. Некоторые из таких связей находят свое подтверждение и в области формы заимствования. Так, близость фонетики грецизма *piri'on* "пила (вид пилы)" в собственно греческом и восточноболгарском мизийском пункте (см. Карту 3) свидетельствует об особом пути или источнике заимствования в болгарский говор.

Одной из актуальных задач балканской реальной лексикологии является рас-



Условные обозначения:

- “неприязнь”, “ненависть”, “вражда”, “злоба”
- “мечь”
- “думать о вещах хуже, чем они есть”
- отсутствие лексемы

смотрение зон распространения заимствований по этимологическим группам (грецизмы, романизмы, турцизмы, славизмы и субстратные элементы) с последующим установлением наиболее характерных ареалов, т.е. закономерностей распространения лексем для каждой из этих групп отдельно и сопоставлением полученных результатов. В случае обнаружения таких закономерностей окажется возможным привлечение ареальных критериев для установления неясных этимологий или для реконструкции путей проникновения тех или иных лексем в конкретные балканские языки. На основании ареальных данных можно делать выводы и об относительной хронологии заимствований, а именно, периферийную фазу (например, ареалы наиболее широко распространенных грецизмов) можно оценить как более архаичную, а центральную как новую. Чрезвычайно важны и вопросы абсолютной хронологии формирования балканских лексических ареалов, решение которых, выходит за рамки собственно ареальной лингвистики.

Принципиально важным, однако, является тот установленный выше факт, что



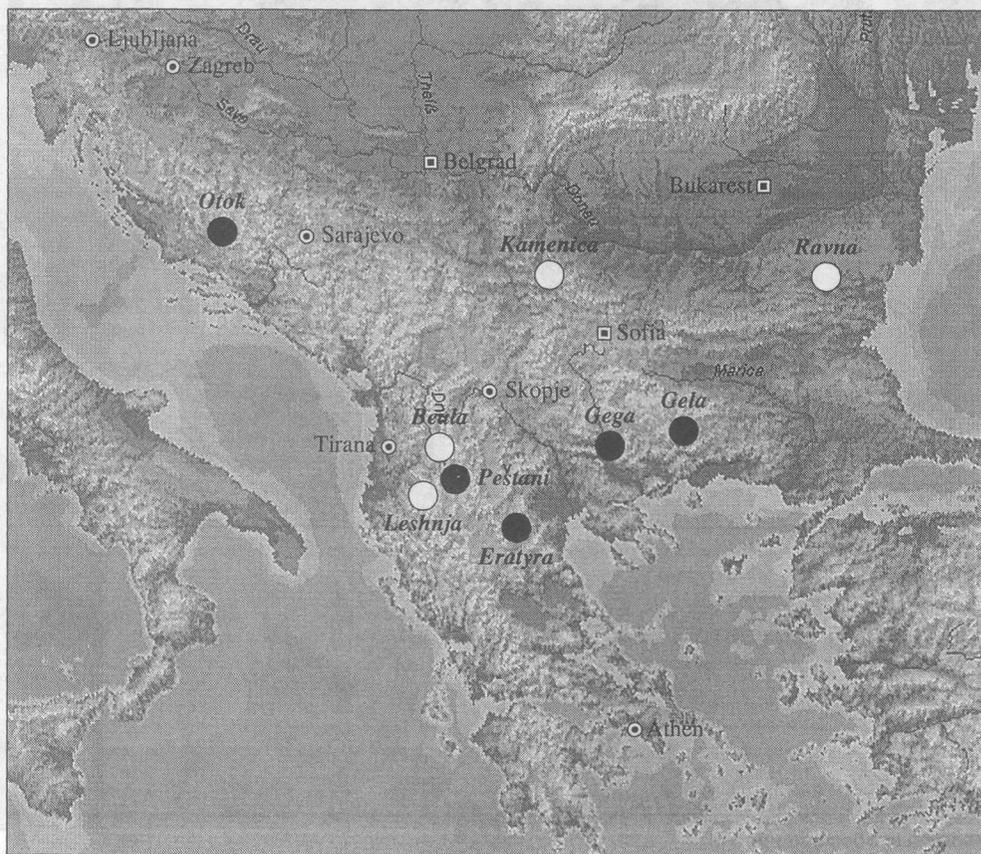
Условные обозначения:

- “ниша (с дверцей)”, “кладовая”
- “комната, помещение”
- ▲ “кучка”
- ▲ “собранная солома”
- отсутствие лексемы

некоторое число заимствований различного происхождения и очень различной хронологии имеют одинаковые или как минимум очень сходные ареалы распространения. Так, в юго-восточном ареале, формируемом в основном грецизмами, и в западном ареале, в котором именно грецизмы отсутствуют, отмечается по одному различному по происхождению субстратному элементу, романизму и турцизму, т.е. в формировании обоих ареалов участвуют различные по источнику и хронологии появления на Балканах лексемы. Одно из возможных объяснений этому было выдвинуто еще в классической балканистике, которая подчеркивала роль языков-посредников (и прежде всего греческого и турецкого) и распространении лексических заимствований на полуострове, стирающую ареальные различия между лексемами различного происхождения, хотя нельзя полностью исключить и возможность единичных случайных совпадений неодновременно сформировавшихся различных ареалов.

Представленные данные позволяют говорить о балканском языковом ареале в целом как о непрерывном континуме балканских диалектов, в котором от-

Карта 10  
pr'ika "приданое"



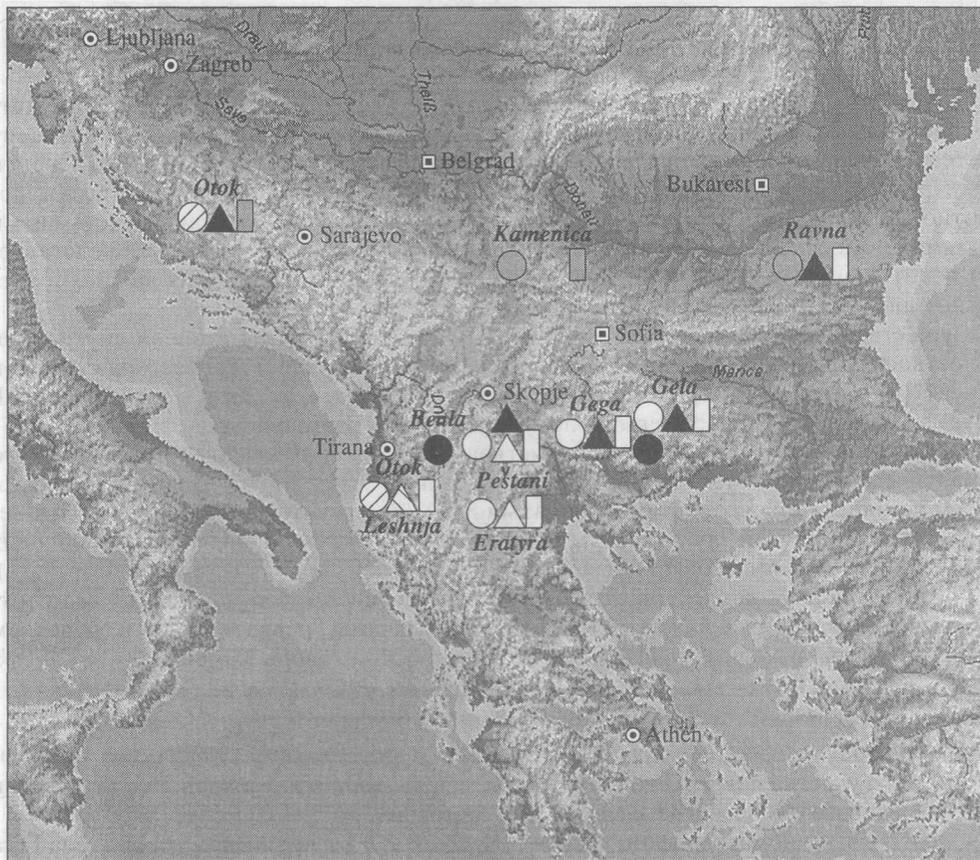
Условные обозначения:

● *pr'ika* и под. "приданое"

○ отсутствие лексемы

сутствуют барьеры для заимствования и распространения формальных, т.е лексических элементов от одного пункта к другому. Возможным оказалось вычленение чрезвычайно устойчивых лексических ареалов, в ряде случаев с их (семантическим) центром и периферией; это позволяет говорить о диалектной структуре балканской языковой общности (не совпадающей с ее генетическим членением), манифестируемой на лексическом уровне (можно, далее, предположить, что и на других языковых уровнях – грамматическом, например, – обнаружатся как минимум элементы такой структуры). Интересен тот факт, что **основное направление** границ ареалов (за исключением наименее ярко выделяющегося, южного) – северо-восток – юго-запад – в принципе повторяет направление основных изоглосс в южнославянской диалектной области, перпендикулярных относительно основных географических доминант полуострова [Ивић 1991]. Накопление сведений в области ареальной дифференциации на Балканах может заложить основы исторической диалектологии конвергентных языковых общностей.

Поскольку подавляющее большинство проанализированных лексем концентрируется в юго-восточном ареале (отражающем прежде всего греческо-болгарские, затем



Условные обозначения:

- “репчатый лук”
- грецизм *krum'id* и под.
  - турцизм в словосочетании *sug'an luk*
  - славизм (*rep'at*) *l'uk*
  - ◌ романизм *čer, k'apula*
- “лук-севок”
- △ грецизм *kork'ar* и под., *volv'os* и под.
  - ▲ турцизм *mrłž'ik* и под.
  - ◌ албанский дериват романизма *čer'uik*
- “лук-порей”
- грецизм *preš, pras* и под.
  - славизм (*zel'eni, primorski*) *l'uk*

греческо-албанско-арумынско-македонско-болгарские связи), его на этом основании можно рассматривать в качестве лингвистически центрального, т.е. в качестве источника общебалканских лексических инноваций. С одной стороны, это очевидно связано с географическим положением греческого языка как языка-источника и как важнейшего языка-посредника для большого числа принятых к рассмотрению общебалкан-

ских лексем, но, с другой, подключает к балканскому инновационному центру и географически не центральный восточноболгарский мизийский говор.

Возможно, наконец, делать заключения о собственно ареальной обусловленности семантических сдвигов в заимствованиях в ряде диалектов.

### 3.2. Ареально-типологическое изучение балканской лексики

Построение основной части лексической программы МДАБЯ по идеографическому принципу описания лексической составляющей балканской картины мира и по принципу системной целостности впервые в балканистике предоставляет возможность перейти от картографирования отдельных взятых атомарно и часто семантически несоотносимых лексем к репрезентации ареалов групп слов, объединенных системными связями [Домосилецкая, Жугра 1997: 3]. В дальнейшем изложении будут представлены некоторые возможности интерпретации получаемых лексических данных в ареально-типологическом аспекте.

Существенные для типологии языковых контактов вопросы степени внутренней целостности и проницаемости для внешнего воздействия различных участков языковой структуры могут быть продемонстрированы на примере анализа лексики из ЛСГ "Лук", относящейся к сфере терминологии культурных растений.

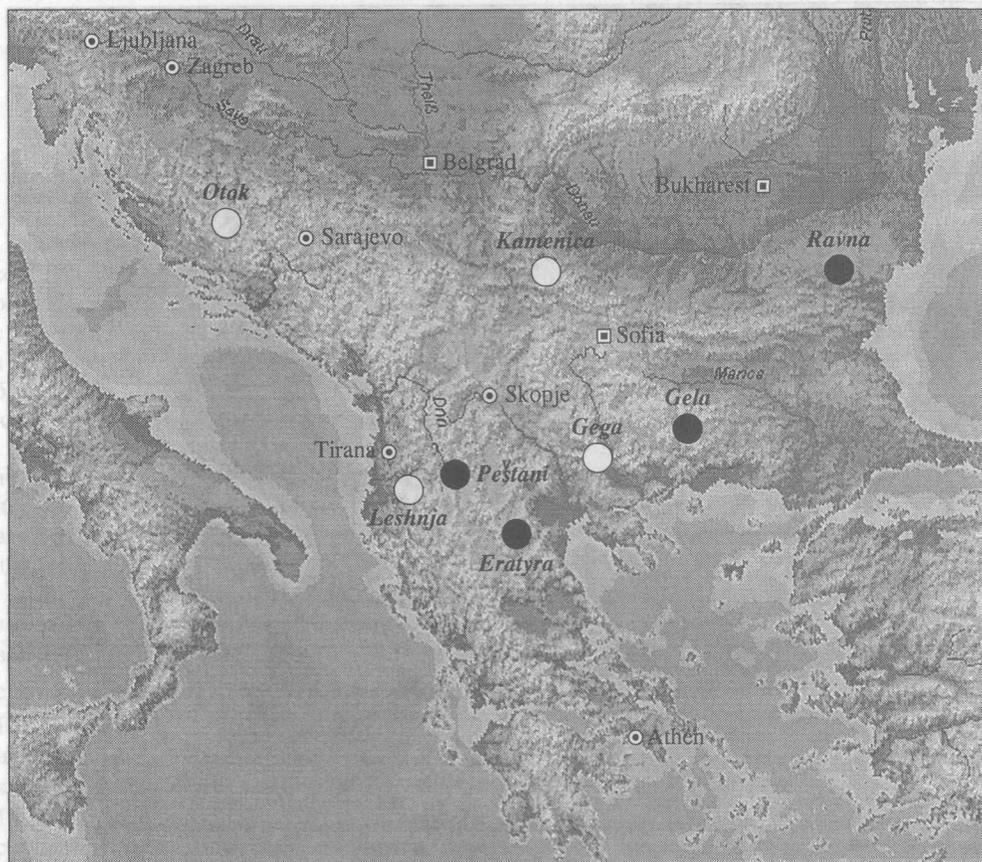
Рассмотрение роли иноязычных заимствований в лексическом оформлении такого семантического микрополя как "Названия видов лука", состоящего из пяти логическим путем установленных семантем ("репчатый лук", "многолетний лук-сеянец", "лук-севок", "лук-выборок" и "лук-порей"), приводит к обнаружению абсолютно различных коэффициентов заимствований, свойственных отдельным диалектам (см. Карту 11). Так, лишь для двух диалектов этот коэффициент равен нулю, поскольку все соответствующие лексемы в них автохтонны. Для семантемы "репчатый лук" в греческом говоре Эратире находим *krum'ிட*, а в восточносербском говоре Каменицы – *rep'at l'uk*. Для семантемы "лук-севок" в Эратире находим *kork'ar* и *volv'os* (в Каменице без ответа). "Лук-порей" в Эратире обозначается лексемой *pr'asu*, а в Каменице – словосочетанием *zel'eni l'uk*. Для обоих говоров, таким образом, свойственна устойчивость этого участка лексической структуры, выражающаяся в сохранении и развитии унаследованного (греческого и славянского) состояния.

Однако в западномакедонском говоре села Пештани и в пиринском говоре села Гега ни одна из этих семантем не оформляется славянскими по происхождению лексемами: в значении "репчатый лук" в обоих пунктах находим грецизм *krum'it*' (Гега), в значении "лук-севок" – турцизм *лрлž'ik* (Гега; в Пештанах в этом же значении также и грецизм *k'okar*), а в значении "лук-порей" – грецизм *pras*. Родопский говор села Гела сохраняет славянское обозначение для "репчатый лук" лишь как элемент словосочетаний *kurm'it luk* и *sug'an luk*, употребляет *лрлž'ik* для "лук-севок" и *pras* для "лук-порей". Также и в албанском говоре Лешни находим лишь древний латинизм *šep* "репчатый лук", албанский дериват от того же корня *šep'uič* "лук-севок" и древнее же заимствование из греческого *preš* "лук-порей". Эти говоры располагают, соответственно, наивысшим коэффициентом заимствования в рассматриваемом семантическом микрополе, что позволяет оценить их как центральные (в ареально-лингвистическом смысле) и инновативные (в историко-лингвистическом). При этом существенно значительное хронологическое расхождение между латинскими и греческими заимствованиями в албанский, с одной стороны, и греческими и турецкими заимствованиями в славянские диалекты, с другой (ср. форму *preš* и отсутствие турцизмов в албанском): однажды заимствовав эту терминологию, албанский не "подновлял" ее далее в общепалканском духе. Факт наличия диалектов со столь высоким коэффициентом и столь различным временем заимствования позволяет оценить само рассматриваемое семантическое микрополе для балканских языков в целом как в высокой степени п р о н и ц а е м о е (как минимум п о т е н ц и а л ь н о и как минимум в некоторый момент языковой истории) для

## Карта 12

Неразличение

“стебель кукурузы с листьями” – “стебель кукурузы без листьев”



Условные обозначения:

- наличие неразличения
- отсутствие неразличения

внешнего воздействия. На этом фоне устойчивость этого участка лексической структуры в восточносербском пункте требует, собственно, социолингвистического или даже экстралингвистического объяснения.

Наконец, имеются говоры со специфической комбинацией унаследованных и заимствованных элементов. Так, лишь в мизийском говоре села Равна находим для “репчатый лук” собственно славянское обозначение *l'uk*, причем для “лук-севок” и “лук-порей” находим уже соответственно *apraž'ik* и *pras*. Единственно этот говор располагает термином для семантемы “лук-выборок” – турцизмом *kab'a*. Хорватский далматинский говор села Оток употребляет для “репчатый лук” романизм *k'apula*, для “лук-севок” – турцизм *rapažak*; “лук-порей” обозначается собственно славянским словосочетанием *primorski luk*.

Материалы, собранные по идеографической части лексической программы МДАБЯ, предоставляют уникальную (хотя и, разумеется, существенно ограниченную набором принятых к изучению в атласе ЛСГ) возможность применения описанного выше метода семантического моделирования микрополей Н.И. Толстого. Это может быть

Карта 13  
 "плетеная связка лука"



Условные обозначения:

- ▲ словообразовательная мотивация от "плести"
- ▬ словообразовательная мотивация от "веревка"
- ▭ лексическое неразличение "веревка" = "связка лука"
- лексическая нейтрализация "венец, корона" = "связка лука"

продемонстрировано на примере анализа семантического поля "кукурузный початок (общее название)" – "початок в обертках" – "початок без обертки с зернами" – "очищенный от зерен початок" – "основание стержня початка" – "стебель кукурузы с листьями" – "стебель без листьев" – "пенек кукурузного стебля, вырванный из земли", устанавливаемого на основании амплитуды колебания славянской или тюркской по происхождению опорной лексики + *košan* как в славянских, так и в неславянских (албанском и греческом) балканских диалектах. Отметим, что данное семантическое пространство, реконструированное на ограниченном диалектном материале МДАБЯ, охватывает 8 семем, относящихся как минимум к двум понятийным микрополям – "кукурузный початок" и "кукурузный стебель", но не выходящих за пределы понятийного поля "Кукуруза". Типологическое изучение лексического заполнения этой

семантической сетки по предварительным материалам позволяет обнаружить следующие случаи не различий, выходящие за пределы одной близкородственной группы языков:

- 1) неразличение "початок (о.н.)" – "початок в обвертках" – "початок без обверток с зернами" носит практически общепалканский характер, хотя во второй своей части, возможно, устранено в говоре с. Пештани;
- 2) неразличение "стебель с листьями" – "стебель без листьев" охватывает говоры сел Эратира (*koč'ani*), Пештани (*mis'erišče = s'tablo*), Гела (*stabl'o*) и Равна (*stabl'o*); различие же, напротив, отмечено в говорах Лешни (*mištr'išt – karcu'ell*), Геги (*š'umla – tu'un'arkl*), Каменицы (*str'uk – bat'aál*) и Отока (*cybalika = tyt'orina – kyzovina*) (Карта 12).

Обратим внимание на то, что если в случае первого неразличения минимальность семантического расстояния между отдельными семемами, сочетаясь с практически общепалканским отсутствием лексического их различия, заставляет сомневаться в его собственно ареальной обусловленности, то во втором случае очевидно именно ареальное противопоставление юго-восточных (греческих, македонских и восточно-болгарских) говоров всем остальным, совпадающее, к тому же, с вычлененным выше юго-восточным лексическим ареалом Балканского полуострова.

С ареально-типологической точки зрения наибольший интерес представляют ареально взаимосвязанные словообразовательные мотивации и нейтрализации лексических противопоставлений при оформлении отдельных семантем, позволяющие вскрыть системный параллелизм между отдельными балканскими диалектами.

Среди способов выражения семантемы "плетеная связка лука (способ хранения на зиму)" в говорах обследованных пунктов отмечается словообразовательная мотивация от глагола "плести" (*pl'ehtra* в Эратире, *pl'itkl* в Геле, *pleten'ica* в Равне), словообразовательная мотивация от существительного "веревка" (*vžen'ica* в Геге), лексическое различие "веревка" = "связка лука" (итальянское заимствование *r'ešta* в Отоке) и, наконец, лексическая нейтрализация "венец, корона" = "связка лука" (*kur'ore* в Лешне, *v'enes* в Пештани, *ven'ac* в Каменице) (Карта 13). Картографирование способа номинации позволяет установить членение балканской территории по первому признаку на западную и восточную часть, в которых противопоставлены словообразование и неразличение / нейтрализация. Картографирование же собственно "внутренней формы" соответствующих лексем устанавливает очевидно ареально обусловленные албанско-македонско-восточносербские и греческо-восточноболгарские связи (следует обратить особое внимание на частичное или полное совпадение этих ареалов с основными ареалами, установленными при анализе формы и значения общепалканских заимствований).

Накопление сведений в области ареальной дифференциации на Балканах может заложить основы синхронной диалектологии конвергентных языковых общностей.

#### 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Балканская лексикология, зародившаяся в рамках сравнительно-исторического изучения балканских языков и имеющая в качестве первоначального объекта изучения форму и значение древних и относительно новых лексических заимствований из одних языков в другие, в ареальном аспекте концентрирует свое внимание на вопросах о центрах лексических инноваций и архаических перифериях, решение которых позволяет раскрыть историю формирования языкового ландшафта Балкан. Обнаружение некоторого корпуса общепалканских лексем разного происхождения, с одной стороны, и некоторого числа явлений межязыковой изосемии в семантической структуре, с другой, приводит балканскую лексикологию к вопросам функционирования балканской конвергентной языковой общности, основным методом изучения которой следует

признать ареально-типологический. В центр внимания при этом попадают вопросы доказательства собственно ареальной, а не универсально-типологической обусловленности межбалканских параллельных словообразовательных мотиваций и лексических нейтрализаций и неразличений. Это достигается путем установления закономерностей членения балканского языкового пространства, т.е. путем обнаружения устойчивых лексических и семантических ареалов, путем обнаружения ареалов системных параллелей между балканскими языками и путем установления связи между ареалами обоих типов. Открываются перспективы исторической и синхронной диалектологии конвергентных языковых общностей\*.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Асенова П.* 1989 – Балканско езикознание. Основни проблеми на балканския езиков съюз. София, 1989.
- Бернштейн С.Б.* 1984 – К изучению тюркизмов (турцизмов) в южнославянских языках // Славянское и балканское языкознание. Язык в этнокультурном аспекте. М., 1984.
- Бернштейн С.Б., Клепикова Г.П.* 1996 – О некоторых итогах работы над "Общекарпатским диалектологическим атласом" (1973–1993) // ОЛА. Материалы и исследования. 1991–1993. М., 1996.
- Бернштейн С.Б., Клепикова Г.П.* 1998 – Славяно-румынские языковые контакты в свете новых данных славянской лингвистической географии // Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов. Краков, 1998. Доклады российской делегации. М., 1998.
- Вайнрайх У.* 1979 – Языковые контакты. Состояние и проблемы исследования. Киев, 1979.
- Вялкина Л.В.* 1995 – Мотивационные признаки одной лексико-семантической группы (по материалам ОЛА) // *Dialectologia slavica*. Сборник к 85-летию Самуила Борисовича Бернштейна / Исследования по славянской диалектологии. 4. М., 1995.
- Десницкая А.В.* 1987 – Славянские элементы в албанской лексике // Десницкая А.В. Албанская литература и албанский язык. Л., 1987.
- Десницкая А.В.* 1988 – Типы лексических взаимосвязей и вопросы образования балканского языкового союза // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1988.
- Домосилецкая М.В.* 1999 – Мотивационные признаки номинации "Помещение для переработки молока на пастушьем стойбище" (по материалам "Албанско-восточнороманского сопоставительного понятийного словаря скотоводческой лексики" и МДАБЯ) // Малый диалектологический атлас балканских языков. Материалы третьего рабочего совещания. С.-Петербург, 18.12.1998. СПб., 1999.
- Домосилецкая М.В., Жугра А.В.* 1997 – Малый диалектологический атлас балканских языков. Лексическая программа. СПб., 1997.
- Домосилецкая М.В. и др.* 1998 – Домосилецкая М.В., Плотникова А.А., Соболев А.Н. Малый диалектологический атлас балканских языков // Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1998.
- Ивић П.* 1991 – Значај лингвистичке географије за упоредно и историјско проучавање јужнословенских језика и њихових односа према осталим словенским језицима // Ивић П. Изабрани огледи. I. О словенским језицима и дијалектима. Ниш, 1991.
- Калужская И.А.* 1977 – Проблема автохтонных элементов румынского языка // Славянское и балканское языкознание. Античная балканистика и сравнительная грамматика. М., 1977.
- Клепикова Г.П.* 1977 – Карпатская лексика в ее отношении к лексике иных зон славянского мира // Славянское и балканское языкознание. Карпато-восточнославянские параллели. Структура балканского текста. М., 1977.
- Клепикова Г.П.* 1999а – К истории изучения славянской диалектной семантики (метод "семантического поля" Н.И. Толстого) // ВЯ. 1999. № 5.
- Клепикова Г.П.* 1999б – Семантические вопросы МДАБЯ в свете литературы по южносла-

\* Автор выражает благодарность А.И. Фалилееву (Дублин, Ирландия), который ознакомился со статьей и сделал ряд замечаний, способствовавших ее улучшению. Настоящая статья легла в основу доклада, прочитанного 16 марта 2000 г. на 4-м Рабочем совещании составителей МДАБЯ в ИЛИ РАН (С.-Петербург).

- вянской диалектной лексикографии // Малый диалектологический атлас балканских языков Материалы третьего рабочего совещания С-Петербург, 18-12-1998 СПб, 1999
- Михалк З* 1980 – Квота заимствований в различных видах терминологии и в различных диалектных зонах // ОЛА Материалы и исследования М, 1980
- Младенов М* 1983 – Българско-румънски езикови ареали // *Die slavischen Sprachen* Вд 5 1983
- Младенов М* 1991 – Ареална характеристика на гръцките заемки в българските диалекти // *Език и литература* Год 46 3/1991 София, 1991
- Овчинникова Е Н* 1983 – К вопросу о семантической эволюции лексемы *koliba* в словацком языке // *Славянское и балканское языкознание Проблемы лексикологии* М, 1983
- ОКДА 1989–1994 – Общекарпатский диалектологический атлас Вып 1–4 Кишинев 1989, Варшава, 1991, Львов, 1993, Москва, 1994
- Петрович Д* 1983 – О карпатологическом аспекте сербохорватско-албанских лексических отношений // *Славянское и балканское языкознание Проблемы языковых контактов* М, 1983
- Семчинский С В* 1977 – Лексико-семантические интерференции славянского происхождения в дакороманском ареале // *Ареальные исследования в языкознании и этнографии* Л 1977
- Соболев А Н* 1998 – К обоснованию проекта Малого диалектологического атласа балканских языков // Малый диалектологический атлас балканских языков Материалы второго рабочего совещания С-Петербург, 19-12-1997 СПб, 1998
- Толстой Н И* 1997 – Избранные труды Том I Славянская лексикология и семасиология М, 1997
- Цивьян Т В* 1979 – Синтаксическая структура балканского языкового союза М, 1979
- Цыхун Г А* 1981 – Типологические проблемы балканославянского ареала Минск, 1981
- ALE 1983–1997 – Atlas Linguarum Europae V I Fasc 1–5 1983–1997
- Batowski H* 1939 – Projet d un dictionnaire de la communauté balkanique // III e Congrès international des slavistes Communications et rapports Belgrad, 1939 № 2
- Buken Silvermann G* 1992–1993 – Aufgaben und Probleme eines Wörterbuchs der Latinismen in den Balkansprachen // *Balkan-Archiv* Bd 17/18, 1992–1993
- Byhan A* 1898 – Die alten – Nasalvokale in den slavischen Elementen des Rumanischen // *Jahresbericht des Instituts für rumanische Sprache zu Leipzig* Jg 5 Leipzig 1898
- Choholchev Ch* 1979 – Sprachgeographische Betrachtungen über die Terminologie der Kulturpflanzen in den Balkansprachen // *Zeitschrift für Balkanologie* Bd XV 1979
- Geiov B* 1980 – Die lateinisch griechische Sprachgrenze auf der Balkanhalbinsel // Neumann G, Untermann J (edd) *Die Sprachen im Römischen Reich der Kaiserzeit* Köln, 1980
- Dietrich K* 1901 – Zu den lateinisch-romanischen Lehnwörtern im Neugriechischen // *Byzantinische Zeitschrift* Bd X 1901
- Domaschke W* 1919 – Der lateinische Wortschatz des Rumanischen // *Jahresbericht des Instituts für rumanische Sprache zu Leipzig* Jg 21–25 Leipzig, 1919
- Gutschmidt K* 1966 – Albanische Tiernamen sudslawischer Herkunft // *ZSL* Bd XI Berlin, 1966
- Haarmann H* 1999 – Der Einfluss des Lateinischen in Südosteuropa // *Handbuch der Südosteuropa-Linguistik* / Hrsg von U Hinrichs Wiesbaden 1999
- Hazai G Kappler M* 1999 – Der Einfluss des Türkischen in Südosteuropa // *Handbuch der Südosteuropa-Linguistik* / Hrsg von U Hinrichs Wiesbaden, 1999
- Hinrichs U* 1999 – Der Einfluß des Slavischen in Südosteuropa // *Handbuch der Südosteuropa Linguistik* / Hrsg von U Hinrichs Wiesbaden, 1999
- Hoholčev et al* 1977 – Fragen der Zusammenstellung eines Atlas linguarum paeninsulae balcanicae // *L'union linguistique balkanique Actes du colloque international sur les problèmes de la linguistique balkanique* Varna, 11–16 octobre 1976 / *Linguistique balkanique* V XX, 1–2 Sofia, 1977
- Lescher C* 1998 – Die Verteilung der Slavismen über das rumanische Sprachgebiet nach den Angaben des rumanischen Sprachatlasses Teil I Worterverzeichnis Teil II Statistik und ethnographische Rückschlüsse Phil Diss Berlin, 1998 (в печати)
- Meyer G* 1891 – *Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache* Straßburg 1891
- Meyer G* 1895 – *Neugriechische Studien III Die lateinischen Lehnworte im Neugriechischen* Wien 1895
- Miklosich F* 1861 – *Die slavischen Elemente im Rumunischen* Wien, 1861

- Miklosich F.* 1869 – Die slavischen Elemente im Neugriechischen. Wien, 1869.
- Miklosich F.* 1870–1871 – Albanische Forschungen I–III. Wien, 1870–1871.
- Miklosich F.* 1884 – Die slavischen Elemente in den südost- und osteuropäischen Sprachen (Griechisch, Albanisch, Rumänisch, Bulgarisch, Serbisch, Kleinrussisch, Großrussisch, Polnisch). Wien, 1884.
- Mladenov M., Steinke K.* 1978 – Die Ergebnisse der neueren bulgarischen Dialektforschung im Lichte der Balkanologie // Zeitschrift für Balkanologie. Bd. XIV. 1978.
- Mladenova O.* 1999 – Benennungen der Gabel in den Balkansprachen // Mitteilungen des bulgarischen Forschungsinstitutes in Österreich. Jg. XI. 1999.
- Reiter N.* 1990 – Slavismen im Gefüge der albanischen Lexik // R. Lachmann et al. (ed.). Tgoli chole Mëstrô. Gedenkschrift für R. Olesch. Wien, 1990.
- Rocchi L.* 1990 – Latinismi e romanismi antichi nelle lingue slave meridionali. Udine, Campanotto. 1990.
- Romansky M.St.* 1909 – Lehnwörter lateinischen Ursprungs im Bulgarischen // Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache zu Leipzig. Jg. 15. Leipzig, 1909.
- Sandfeld Kr.* 1930 – Linguistique balkanique. Problèmes et résultats. Paris, 1930.
- Schaller H.W.* 1999 – Die Lehnwortbeziehungen der Sprachen in Südosteuropa // Handbuch der Südosteuropa-Linguistik / Hrsg. von U. Hinrichs. Wiesbaden, 1999.
- Schröpfer J.* 1956 – Zur inneren Sprachform der Balkanvölker // ZSL. Bd. I. 1956.
- Schmaus A.* 1955 – Zur Lautgestalt der türkischen Lehnwörter in den südslavischen Sprachen // Münchener Studien zur Sprachwissenschaft. Hft. 6. München, 1955.
- Sobolev A.N.* 2000 – Das Petersburger Projekt eines Kleinen Balkansprachatlases // Internationale Tagung "Aktuelle Probleme der Balkanlinguistik". Marburg, 1997 // Studien zum Balkansprachatlas. Bd. I. Marburg, 2000 (в печати).
- Solta R.* 1998 – Balkanologie // Lexikon der Romanistischen Linguistik. Bd. VII. Kontakt, Migration und Kunstsprachen. Kontrastivität, Klassifikation und Typologie. Tübingen, 1998.
- Swane G.* 1992 – Slawische Lehnwörter im Albanischen. Aarhus, 1992.
- Trummer M.* 1998 – Südosteuropäische Sprachen und Romanisch // Lexikon der Romanistischen Linguistik. Bd. VII. Kontakt, Migration und Kunstsprachen. Kontrastivität, Klassifikation und Typologie. Tübingen, 1998.
- Tzizilis Chr.* 1999 – Der Einfluss des Griechischen in Südosteuropa // Handbuch der Südosteuropa-Linguistik / Hrsg. von U. Hinrichs. Wiesbaden, 1999.
- Ylli Xh.* 1997 – Das slavische Lehngut im Albanischen. 1. Teil. Lehnwörter // Slavistische Beiträge. Bd. 350. München, 1997.
- Ylli Xh.* 2000 – Das slavische Lehngut im Albanischen. 2. Teil // Slavistische Beiträge. Bd. 395. München, 2000.
- Weigand G.* 1911 – Die Terminologie des Maises im Bulgarischen, Rumänischen und Kleinrussischen // Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache zu Leipzig. Jg. 17–18. Leipzig, 1911.

#### ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДИАЛЕКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В настоящей статье использованы материалы проекта "Малый диалектологический атлас балканских языков (МДАБЯ)", осуществлявшегося с апреля 1996 по декабрь 1998 года при финансировании РГНФ (грант 96-04-06237) в ИЛИ РАН (С.-Петербург) при участии сотрудников Санкт-Петербургского Госуниверситета, ИнСлав РАН (Москва), Университета г. Ниш (Сербия), Университета г. Салоники (Греция), Университета г. София (Болгария), Македонской академии наук (Скопье) и Албанской академии наук (Тирана). По итогам конкурса РГНФ 1998 г. проекту МДАБЯ было отказано в поддержке. Работы по составлению атласа были тем не менее продолжены в Институте славянской филологии университета г. Марбург, ФРГ, в рамках проекта "Kleiner Balkansprachatlas (KBSA)" (грант DFG, 1999–2000 гг.). По итогам конкурса РГНФ 1999 г. проект ИЛИ РАН "Малый диалектологический атлас балканских языков" вновь поддержан на 2000–2002 гг. и в настоящее время реализуется как совместная работа с Институтом славянской филологии университета г. Марбург при участии специалистов из различных российских и зарубежных научных учреждений.

Материалы, использованные в статье, собраны в 1996–1999 гг. следующими исследователями:

- 1) **Гела**, южная Болгария, Средние Родопы; болгарский говор (Архив МДАБЯ в ИЛИ РАН, А.Н. Соболев);

- 2) **Доња Каменица** в районе Княжеваца, восточная Сербия; сербский говор (Архив МДАБЯ в ИЛИ РАН, Н. Богданович);
- 3) **Равна** в районе Провадии, северо-восточная Болгария, Мизия; болгарский говор (Архив МДАБЯ в ИЛИ РАН, И.А. Седакова);
- 4) **Эратира** в районе Козани (Кожани), северная Греция. Западная Македония; греческий говор (Архив МДАБЯ в ИЛИ РАН, Ю.А. Лопашов);
- 5) **Гега** в районе Петрича, юго-западная Болгария, Пиринская Македония; болгарский говор (Архив МДАБЯ в ИЛИ РАН, В. Жобов, Е.С. Узенева);
- 6) **Оток** в районе Синя, южная Хорватия, Далмация; хорватский говор (KBSA-Archiv im Institut für Slawische Philologie der Universität Marburg, А.Н. Соболев);
- 7) **Пештани** в районе Охрида, юго-западная Македония; македонский говор (А.Н. Соболев, личные записи);
- 8) **Горна Белица** в районе Охрида, юго-западная Македония; арумынский говор (А.Н. Соболев, личные записи, произведенные в г. Охрид совместно с М. Марковичем);
- 9) **Лешня** в районе Чоровода, южная Албания, Скрапар; албанский говор (KBSA-Archiv im Institut für Slawische Philologie der Universität Marburg, Дж. Юллы, А.Н. Соболев).

Карты составлены при технической помощи Шт. Баумгарта.

© 2001 г. О.Ф. ЖОЛОБОВ

ДРЕВНЕСЛАВЯНСКИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ\*

"Числа же, если их брать сами по себе, неувеличиваемы и неуменьшаемы. Как можно увеличить или уменьшить тройку? Три яблока я могу уменьшить, съевши одно из них. Но сама по себе тройка не зависит ни от каких яблок и ни от какой еды... Количество есть только одно из проявлений умного числа в меоне".

А.Ф. Лосев

В историческом языкознании сложилось убеждение в том, что числительные как самостоятельная часть речи в славянских языках являются плодом позднего развития и до XVII в. об этом частеречном классе можно говорить лишь условно [Багрянский 1960: 4; Дровникова 1985: 4; Еленски 1978: 81; Супрун 1969: 5; Хабургаев 1990: 258–259 и сл.; Kiparski 1967: 173]. В. Кипарский указывает, что впервые этот взгляд был сформулирован в книге Ю. Шереха (Шевелева), который пришел к выводу, что в праславянском языке числовые слова не образовывали единой системы, отличаясь морфологической неоднородностью и пестротой синтаксических связей<sup>1</sup>. Нужно уточнить, что точка зрения Ю. Шереха гораздо радикальнее и в книге говорилось не о праславянском, а об исторических славянских языках<sup>2</sup>. Формирование "новой" части речи в имеющихся работах, по существу, так или иначе отождествляется со становлением современной литературной, прежде всего словоизменительной нормы, в которой числительные обретают черты морфологической самодостаточности. Подобный взгляд на проблему числительных высказал Г.А. Хабургаев: "Если к древнерусским счетным словам подойти с позиций тех признаков, по которым числительные должны быть выделены в самостоятельную часть речи в современном русском языке, то придется признать, что в период древнейших восточнославянских памятников такого разряда имен (числительных как части речи) выделять нет оснований" [Хабургаев 1990: 259]. В таком подходе не может устроить исторический редуционизм: исходя из того, что древнерусские числительные отличаются от современных, утверждается, что их нет вовсе, – словно "счетные слова" являются древнеславянским приобре-

\* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, номер проекта 00-04-0313а.

<sup>1</sup> Ю. Шерех заключает, сосредоточив в своем труде основное внимание на анализе украинского диалектного и литературного материала: "Wir erinnern an einige allgemein bekannte Tatsachen: an die Zugehörigkeit der Zahlwörter in den slavischen Sprachen nicht nur zu verschiedenen Stämmen (-i Stämme, konsonantische Stämme), sondern auch zu verschiedenen Klassen: Pronom. (*dva*), Adj.-Subst. (*try, čotyry*), Subst. (*pjat'* und weiter). Dem entsprach die Buntheit der syntaktischen Verbindungen: Kongruenz mit Du. (*dva*), Kongruenz mit Pl. (*try, čotyry*), Regieren (*pjat'* und weiter, aber nicht 11, 12, 13, 14). Mit anderen Worten, das Zahlwort bildete kein System für sich, noch mehr, es bildete nicht einmal einen Redeteil" [Šerech 1952: 39–40]. Здесь и далее цитаты из зарубежных изданий не переводятся, когда даются в подтверждение их изложения по-русски.

<sup>2</sup> Симптоматично, что порядковые числительные в книге не рассматриваются.

тением, а не составляют один из древнейших корнесловов праиндоевропейской эпохи. Вместе с тем даже в рамках традиционного частеречного учения с его триадой флексивных форм, синтаксической функции и лексического значения древнеславянские числительные могут быть выделены в самостоятельный класс слов, если не брать за скобки какое-нибудь из трех оснований классической теории. Иллюзия лексикограмматической неразвитости числовых слов у славян коренится в том, что не были установлены механизм и причины морфологических изменений числительных, так как наиболее важные в этом случае обстоятельства синтаксического плана до сих пор рассматривались лишь попутно, а функционально-семантическая природа числовых обозначений, по существу, не анализировалась. В соответствии с новыми теоретическими представлениями обособленность числительных как частеречного класса задается их парадигматическими и синтагматическими свойствами, среди которых наиболее яркой особенностью является строгая упорядоченность и иерархичность семантической организации<sup>3</sup>. Типологические материалы подтверждают частеречный статус числительных: здесь обнаруживается большое разнообразие морфосинтаксических параметров, которые, имея зачастую именную генезис, носят служебный характер и не затрагивают функционально-семантической природы числительных<sup>4</sup>. "Задача исследователя состоит в том, чтобы, не навязывая тому или ином языку категорий, которые являются для него чуждыми, установить, какие общие и особые лексикограмматические разряды в нем существуют и какую систему они образуют" [Dragunov 1960: 4]<sup>5</sup>. Пристальное внимание к разным сторонам изучаемого предмета не должно заслонить целого, как того требует принцип системности описания [Журавлев 1991: 33–34].

О числительных как целостной системе в праславянском языке говорит сложившийся ограниченный инвентарь лексических единиц, к которому приложимо определение, данное еще Ф.И. Буслаевым: "Имена числительные хотя могут восходить до бесконечности, но отличаются от прочих частей речи тем, что вращаются повторением немногих основных названий" (цит. по: [Виноградов 1938: 120]). Не менее определено о системном характере числительных свидетельствует необычная устойчивость словарного состава: все числительные являются непосредственным продолжением индоевропейских лексем<sup>6</sup>. Нет оснований предполагать, что в праславянском не было числительных как обособленного класса слов, если они унаследовали систему числовых обозначений, которая сложилась еще в праиндоевропейскую эпоху. В индоевропейских языках в целом нет иного такого класса слов, включая обозначения семейных отношений, который бы столь же полно и отчетливо сохранил исходный корнеслов, как имена числительные [Winter

<sup>3</sup> "It is found in the presence of full ordering among the numeral meanings, which is not to such an extent found in the remaining parts of language" [Gvozdanić 1992: 5–6].

<sup>4</sup> См., например [Мещанинов 1978]. Ср., в частности, следующее замечание: "Тем самым даже в гилляцком языке с его инкорпорирующим построением членов предложения числительные оказываются обладателями таких свойств, которыми другие имена не отличаются" [Мещанинов 1978: 265].

<sup>5</sup> "Die Aufgabe des Forschers besteht darin, daß er, ohne einer gegebenen Sprache Kategorien aufzuzwingen, die ihr fremd sind, welche allgemeinen und speziellen lexikogrammatischen Kategorien in ihr zu unterscheiden und welches System sie bilden".

<sup>6</sup> Сложности в установлении исходных корней единичны. Так, не вполне очевидна этимология славянского \**vъtorъ*: здесь предполагается ступень редукции сравнительно с лит. *aĩtras*, *aĩtaras* 'второй, другой', др.-инд. *ántaras* 'другой' (см. [Smoczyński 1989: 61–62]), хотя нет веских доказательств существования здесь в индоевропейском нулевой ступени \**ǵteros* (см. [Winter 1992: 735]), поэтому может быть более вероятной связь с другим индоевропейским корнем (ср. скр. *vítarah* 'следующий'). Высказывается также предположение о развитии индоевропейского \**ǵi-* 'два' (см. [Aitzetmüller 1978: 141]). Сложности вызывает праслав. \**svto* вместо ожидавшегося \**seto* при исходном и.-е. \**k̑mto(m)*. (Литературный язык)

1992: 11]<sup>7</sup>. На системный характер числительных в праславянском указывает неизвестный другим классам слов тип отношений – прочная связь количественного и порядкового разрядов, которая также сложилась еще в индоевропейскую эпоху. Системный характер числительных как части речи доказывается отчетливой генетической зависимостью праславянских морфосинтаксических инноваций от индоевропейского источника<sup>8</sup>. Как отмечает А. Мейе: «В то время как склоняемые числительные "один, два, три, четыре" остались нормально склоняемыми прилагательными, следуя индоевропейскому обыкновению, числительные от "пяти" до "десяти", которые в общиндоевропейском языке были несклоняемыми, заменились отвлеченными существительными *пять* "пятерка", *шесть* "шестерка", *седьмь* "семерка", *осмь* "восьмерка", *девятъ* "девятка", являющимися основами на *-i-* и *десять* "десятка" (и далее во всех названиях десятков), являющимися основами на согласную; числительное *съто* – также существительное» [Мейе 1951: 369–370]. Связывающая индоевропейское и славянское употребление историческая преемственность не вызывает сомнений, хотя в высказывании Мейе обнаруживаются неточности, которые касаются возможности номинального употребления числительного 'десять' в индоевропейском, а также отождествления в славянском числительных с прилагательными, с одной стороны, а с другой стороны – с отвлеченными дериватами, так как ни *седьмь*, ни исходное *деса*, ни даже *пять* генетически не содержат отвлеченной суффиксации. В. Вондрак видел в славянских количественных числительных существительные с собирательным значением<sup>9</sup>, что также сомнительно ввиду отсутствия соответствующих индоевропейских образований<sup>10</sup>, а также ввиду распространения в славянском дистрибутивно-собирательных числительных типа *\*dъvojь*, *\*č'etverь*, наследующих индоевропейские формы.

Исследование О. Семереньи доказало, что числительные как часть речи сложились в индоевропейском, а числительные в праславянском представляют систему форм, которая наследует прежнее состояние и преобразуется в соответствии с их морфосинтаксической природой [Szemerényi 1960: 109–113]<sup>11</sup>. Порядковые числительные образовались в индоевропейском в результате тематизации типа *\*dekmt > \*dekmtos* (в том числе квазисуффиксальной, которая сформировалась в ходе переразложения в паре *\*dekmt – dekmtos*, где первая основа – "preconsonantal sandhivariant of *\*dekmt*" [Szemerényi 1960: 68]). Ранние балтийские и славянские формы количественных и порядковых числительных типа *\*septin – \*septmos* получили разное продолжение. У балтов возникли регулярные формы порядковых числительных типа *septintas*, а у славян развитие прошло через цепь генерализующих трансформаций, в основе которых лежало взаимовлияние количественных и порядковых числительных. Как и в балтийском, в славянском инновации были вызваны образовавшимися в постиндоевропейскую эпоху нерегулярными

<sup>7</sup> Древнеславянские гиперонимы числовых обозначений имеют индоевропейский корень: праслав *\*čislo*, *\*čisme*; др.-инд *kētas* 'мысль, умysel, желание'; авест. *čikrθwā* 'мудрый'; лит *skaitýti* 'читать, считать' [Фасмер IV, 375, VŠSI, 82]

<sup>8</sup> Вместе с письменностью древние славяне обрели и буквенную цифирь, которая фиксирует частеречную обособленность числовых слов. Значения древнеславянского *\*čiteti > \*čisti* 'читать, считать' могут свидетельствовать о появлении цифровых знаков ранее распространения письменности

<sup>9</sup> "Die Zahlworte *petь* 5, *šestь* 6, *sedьmь* 7, *osmь* 8, *devetь* 9, *desetь* 10 sind eigentlich Subst. mit kollektiver Bed. (also *petь* 'Pentade' usw.), die nach den *i*-St. Dekliniert werden" [Vondrák 1928: 65]

<sup>10</sup> Единичные примеры, в известном смысле случайные и не образующие языковой модели, см. ниже

<sup>11</sup> Трудно сказать, что явилось препятствием, но тщательное исследование О. Семереньи осталось не востребованным отечественной славистикой. В другом же нет никакой неожиданности, его результаты приняты Б. Комри в кратком описании числительных у балтов и славян, которое включено в новое монографическое исследование индоевропейских числительных [Comrie 1992].

отношениями между количественными и порядковыми числительными и необходимостью восстановления данной корреляции форм<sup>12</sup> – т.е. внутривидовыми факторами.

Первичным образцом для всех последующих изменений стала пара "семь – седьмой"<sup>13</sup>. В соответствии с индоевропейской парой *\*septm̥ – \*septm̥os* сложилась праславянская параллель *\*setь – \*setmь (>\*sedmь)*, которая была трансформирована в пару *\*sedmь – \*sedmь* в результате основно-флексионной контаминации количественного и порядкового числительного. Эта пара стала образцом для развития соседней пары *\*osta – \*ostovъ > \*ostmь (>\*osmь) – \*ostmь (>\*osmь)*, а затем и пар *\*peče – pečь > \*pečь – pečь*, *\*še – \*šestь – \*šestь – \*šestь*, различающихся лишь качеством флективного гласного и типом именного склонения:

индоевропейские количественные числительные	праславянские количественные числительные	индоевропейские порядковые числительные	праславянские порядковые числительные
<i>*penk<sup>w</sup>e &gt;</i>	<i>*peče &gt; *pečь</i>	<i>*penk<sup>w</sup>tos &gt;</i>	<i>*pečь</i>
<i>*(k)seks &gt;</i>	<i>*še &gt; *šestь</i>	<i>*(k)sekstos &gt;</i>	<i>*šestь</i>
<i>*septm̥ &gt;</i>	<i>*setь &gt; *sedmь</i>	<i>*septm̥os &gt;</i>	<i>*setmь &gt; *sedmь</i>
<i>*oktō &gt;</i>	<i>*osto &gt; *osmь</i>	<i>*oktowos &gt;</i>	<i>*ostovъ &gt; *osmь</i>
<i>*newn̥ &gt;</i>	<i>*nevь &gt; *devь</i>	<i>*newn̥nos &gt;</i>	<i>*nūnъ (nĭnъ?) &gt; *devetь</i>
<i>*dekm̥t̥ &gt;</i>	<i>*dese(t)</i>	<i>*dekm̥tos &gt;</i>	<i>*desetь</i>

По образцу пар *\*dese – \*desetь*, *\*pečь – \*pečь* образовалась параллель *\*devetь – \*devetь*, а затем *\*desetь – desetь*, однако с сохранением исходного консонантного склонения числительным *\*desetь* (*\*dese*).

Таким образом, вопреки традиционной точке зрения числительные на *-(t)ь* генетически вовсе не связаны с индоевропейскими производными на *-ti* (nomina collectivae abstractae). В этом наконец находит объяснение тот примечательный факт, что числительные *\*sedmь*, *\*osmь*, *\*dese* находятся вне рамок предполагавшейся *ti-* суффиксации. Р. Айтцетмюллер предлагал, казалось бы, гибкое решение: праславянские собирательные числительные на *\*-tis*, выступая в ассоциации с порядковыми числительными на *\*-tos*, могли употребляться как количественные числительные<sup>14</sup>. Этот взгляд вновь упирается в вопрос о сомнительном тождестве числительных и дериватов на *-tь*, а также в вопрос о том, каковы же те исходные формы, которые стали производящей базой для новых числительных. Затруднительно усматривать в качестве таковых порядковые числительные, так как семантическая зависимость здесь имеет

<sup>12</sup> Прочная связь количественных и порядковых числительных в древнеславянском может быть проиллюстрирована многими текстуальными примерами. См., например: раздѣлати же таковоє слоуженик • творцимъ на три чинъ • и първыи наричати нгоумену • вѣторгыи же икономоу • третни же коуцьникоу УСт XII. 239 об.; Члѣкъ нѣкъын • имѣаше • ꙗ • дроуць двою любаше • и чташе • а на третъкъмъ велии небрѣженик • имаше Пр 1383, 40г; се соуць шбрази лоунынии четъре • ꙗ • ꙗже новок глѣуть • мѣсачныи наричють • ꙗ • ꙗ перекрон • ꙗ • ꙗ шбоамо горбаво • ꙗ • ꙗ свѣтло КН 1280, 566а–б.

<sup>13</sup> Это весьма симптоматично, так как число "7" – одна из краевых величин в славянской мифологии (см. [Мифы 1997: 2, 452]).

<sup>14</sup> "Das Slavische hat die idg. Kardinalia nicht direkt erhalten, sondern eine Neuregulung getroffen, indem es (wahrscheinlich schon ererbte) Zahlkollektiva auf *\*-tis* in eine Relation zu den Ordinalzahlen auf *\*-tos* setzte und damit erstere als Kardinalzahlen verwenden konnte" [Aitzetmüller 1978: 136].

противоположный характер – порядковые числительные семантически зависят от количественных. Если словообразовательным источником новых форм на -ь считать порядковые числительные, тогда придется столкнуться с неразрешимой задачей, каким образом значения типа ‘свойство пятого’ обрели вид собственно количественного значения. Формально-логический маневр не помогает найти выход из надуманно сложной ситуации и убедить в ее разрешении, ср.: «Между тем семантически слова типа *пять* не оставались неизменными. Если первоначально они, по-видимому, обозначали опредмеченное свойство “быть пятым”, то постепенно связь между словами *пять* и *пяты* (пятый) начинала пониматься не в соответствии с этимологией, а наоборот: *пяты* (пятый) стало пониматься как производное от *пять*; слово, обозначающее порядковый номер, стало пониматься не как непосредственный результат счета, а как установление связи между тем предметом, к которому оно относится, и числом 5: *пятыи предмет = предмет номер пять*» [Супрун 1969: 11]. Согласно О. Семереньи, традиционное представление о связи славянских форм с индоевропейскими собирательными именами на \*-t и \*-ti основывается лишь на единичных примерах (скр. *daśāt-*, греч. δεκάδ- и скр. *panktiḥ* – с необъяснимым расхождением формативов для “10” и “5”), которые не могут рассматриваться в качестве деривационных образцов в индоевропейском. Как числительное санскритская словоформа не имеет соответствий в родственных языках. Она содержит вторичное \*-ti и восходит к и.-е. \*penk<sup>w</sup>sti- ‘кулак, (группа из) пяти’, которое получило продолжение в славянском \*peštъ (а вовсе не \*petь), нем. *Faust*, англ. *fist* <\*funhsti-, лит. *kūmštis* ‘кулак’ <\*punkstis.

Механизм и причины морфологической модификации числительных состояли в восстановлении регулярных морфологических и мотивационных отношений количественных и порядковых числительных. Поэтому переход типа \*peče > \*petь, \*še > \*šestь не имел никаких семантических последствий: количественные числительные в нем остались количественными числительными. Тем более что внутривидовая корреляция сохранялась в двух следующих парах: и.-е. \*treu- и \*tri- o- > \*tri-yo- > \*tri-to-/\*tri-tyo- > праслав. \*trьje и \*tretьjь; \*k<sup>w</sup>etwer- и \*k<sup>w</sup>etur-o- > \*k<sup>w</sup>etur-(i)yo- > \*k<sup>w</sup>etur-to-/\*k<sup>w</sup>etwъ-to- > праслав. \*četyre и \*četvьrtь. Сопряженность количественных и порядковых числительных у славян опосредованно отражает типовое деривационное отношение “субстантив → адъектив”.

В индоевропейском положении числительного \*dekmt как центрального в десятичной системе счисления было двойственно: оно выступало то как неизменяемый адъектив, то как флексивное имя (и в этом случае управляло другим именем в генитиве). В славянском последняя особенность данного числительного была генерализована и распространилась на другие, обретшие флексивный характер числительные. «The inflection of the cardinals as nouns entailed their syntactic use as nouns, the government of the dependent noun in the genitive, supported by the existing nominal use in “10”» [Szemerényi 1960: 113].

Описанное выше взаимовлияние однокоренных форм в столь значительных масштабах другим классам слов было неизвестно. Оно обусловлено в н у т р и ч а с т е р е ч н ы м и факторами – той необычной теснотой синтаксического, текстового ряда, в котором реализовывались счетная или количественная функция числительных. В самом деле, лексическая парадигма числительных представляет собой своего рода текст со строгим порядком следования составляющих – не вполне обычным образом парадигматические и синтагматические отношения здесь совпадают: \*edinъ, \*dъva, \*trьje, \*četyre, \*petь, \*šestь, \*sedmъ, ‘n+1’; \*pygvъ, \*vъtorъ, \*tretьjь, \*četvьrtь, \*petь<sup>15</sup>, \*šestь, \*sedmъ, ‘n+1’; \*četyre – \*petь, \*petь – \*šestь, \*šestь – \*sedmъ и т.д.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> В подобных текстах, которые заучиваются наизусть, числительные являются само- достаточной величиной и не нуждаются в какой-либо морфосинтаксической отменченности, выходящей за рамки данного парадигматического класса.

Существует, кроме того, особый жанр счета-перечисления, в котором числительные составляют опорные единицы и архаичность происхождения которого не вызывает сомнений. Долгое время числительные как имена чисел сохраняют магико-мистическую функцию, приобретая в некоторых типах сакральных текстов статус основных элементов текстостроения<sup>16</sup>.

Числовой текст в праславянском обнаруживает попарное разбиение: ср. \**peřь*–\**šestь*, \**sedьmь*–\**osьmь*, \**deve*(*tb*)–\**desę*(*tb*)<sup>17</sup>. Особенно ярко попарное сближение числительных представлено числительным \**deveřь*, которое стало отличаться от последующего слова лишь одним звуком, тогда как ожидаемая форма \**nevě* < \**newę* ничего общего с ним не имела. Такое же развитие представлено и в балтийском: лит. *devyni*, лтш. *deviņi* (в др.-прусск., однако, *newīnts* ‘девятый’). Консонантная основа, которая могла здесь первоначально появиться под влиянием исконного \**desę*, обнаруживается в *девясил* и *Девягорескъ* (см. [Фасмер I, 491–493]). Парная организация числового текста может быть соотносительна с корреляцией “чет-нечет” в балтославянской мифологии (см. [Мифы 1997: 1, 153; 2, 452])<sup>18</sup>.

По мере стабилизации числительных первого десятка должны были претерпеть трансформацию праславянские обозначения десятков, которые у славян к тому же утратили ясность второго компонента сложения: и.-е. \**wīkñi* “20” > праслав. \**wisinti*, *penk*“*ę*kont “50” > \**penčesъ*(*n*), \**oktōkont* “80” > \**ostasъ*(*n*) и под.<sup>19</sup> Индоевропейские сложения (“compounds”) в праславянском были замещены более ясными составными числительными, которые вместе с тем сохранили логику индоевропейских праформ: \**dьva desęti* “20”, \**peřь desęřь* “50”, \**osьmь desęřь* “80” и под.

Ю. Шерех подчеркивает, что древнеславянские языки зафиксировали то достаточно архаичное состояние, когда числовые слова не являлись абстрактными понятиями, а имели предметное значение<sup>20</sup>. Безусловно, этот взгляд не может быть принят. Он чрезмерно архаизирует реальное положение и, по существу, отсылает ко времени возникновения числовых слов вообще, когда количественное и предметное значения были представлены синкретично. Ср. простейшую количественную модель из трех компонентов в бушменском языке: *nee* < *ne!* *kwé* < *kwai* ‘та нога – один – этот – здесь’. *!kú* ‘обе ноги – два – прыгать’, также одним словом выражаются значения ‘скорпион – три – много’<sup>21</sup> (см. [Stoпа 1963: 196–197]). Между тем уже в праиндоевропейском ничего подобного нет. Мотивированность значения числительных, как правило, отсут-

<sup>16</sup> Масса примеров приведена в подробном исследовании В.Н. Топорова [Топоров 1980]. См. также [Numbers 1961: 406–413].

<sup>17</sup> Числительные \**trьje*–\**četyre* связаны аллитерацией. Два первых числовых слова в индоевропейском обособлены, что имеет ярко выраженную типологическую параллель. Они не имеют порядковых числительных того же корня, что и количественные числительные первой пары.

<sup>18</sup> С этим, вероятно, имеет какую-то связь парное членение индоевропейского пантеона (см. [Дюмезиль 1986: 64–66]). Парное разбиение отчетливо представлено в считалках, текстовая структура которых может быть весьма архаичной. См., например: *Первой, другой – Изба с трубой, Три, четыре – Меня прицепили, Пять, шесть – Бьем шерсть, Семь, восемь – Сено возим, Девять, десять – Деньги весят, Одиннадцать, двенадцать – На улице бранятся. Бабы, мужики, Мальцы-озорники, Душка Матрешка Глядите в окошко: Здесь Семен – Он выйдет вон!* Мудр. нар., 315. В отраженном виде парное членение счетного ряда представлено в звукописи рифмуемого с числительными словосочетания (ср.: *Семь, восемь – Сено возим*).

<sup>19</sup> См. [Szemerényi 1960: 64].

<sup>20</sup> “Man soll nicht meinen, dass dieser Zustand das Fehlen des Zahlwortes als einer besonderen abstrakten Kategorie am Anfang des historischen Weges der slavischen Sprachen bedeutete. aber ursprünglich stellte er sicherlich jenen Zustand dar, wo das Zahlwort kein abstrakter Begriff war, sondern die Bedeutung der Gegenständlichkeit enthielt und wo, im Zusammenhang damit, die Entwicklung des Zahlwortes in einzelnen Schichten vor sich ging” [Šerech 1952: 40].

<sup>21</sup> Т.е. ‘скорпион’ – это ‘трехногий’ или ‘многоногий’, что в данном случае одно и то же.

ствуется или в редких случаях выступает в затемненном виде. а в праславянском вовсе не прослеживается. Так, фундаментальное в индоевропейском десятичном счислении числительное \**dekmt* 'десять'. немотивированное в позднеиндоевропейском. обычно возводят к \**de-kont-* 'две руки', хотя в формальном плане данная этимология не лишена сложностей<sup>22</sup>. Вероятно, немотивированное числительное \**penk<sup>w</sup>e*. наряду с количественным значением, ранее еще могло подразумевать конкретно-предметное значение 'кулак, рука', которое было воспринято дериватом \**pnk<sup>w</sup>stis*, имевшим продолжение в праславянском \**pestь*.

По данным этнолингвистических наблюдений само человеческое тело стало прообразом и источником всех количественных и пространственных представлений: "Die Unterscheidung der Zahlverhältnisse geht, wie die Raumverhältnisse, vom menschlichen Körper und seinen Gliedmaßen aus, um sich von hier aus fortschreitend über das Ganze der sinnlichanschaulichen Welt zu verbreiten. Der eigene Leib bildet überall das Grundmodell der ersten primitiven Zählungen" [Cassirer 1956: 187]. Парные части тела – "скрижали", на которых было записано простейшее количественное представление, самым очевидным образом сопряженное с пространственным представлением<sup>23</sup>. Поэтому психологическая реальность числа первоначально выступает как наглядный пространственно-предметный образ. Именно обозначения парных частей тела человека и животных стоят у истоков количественного ряда. Они же стали источником образования и развития двойственного числа. Кроме прочего, на это недвусмысленно указывают данные типологии, которые свидетельствуют: если употребление дв. ч. у существительных в каком-либо языке ограничено, то минимумом таких форм могут быть только парные существительные<sup>24</sup>. Данные по истории двойственного числа показательны как документы эпохи становления количественных представлений.

В. фон Гумбольдт подчеркивал именно качественный аспект в семантике двойственного числа, тогда как до него здесь констатировалась количественная семантика – значение ограниченного множества (см. [Humboldt 1963: 130–133]). Однако истина находится посередине: парность, явившаяся источником дуалиса, – это количество, которое выступает как род качества. Это окачественное количество, потому что парные предметы, пребывая в количестве двух, являются качественным повторением друг друга и образуют единство совместным воплощением симметричной пространственной конфигурации. Интегральный количественный компонент в семантике парных обозначений способствовал трансформации парного числа в двойственное<sup>25</sup>. Вместе с тем отвлечение счетно-количественного значения в индоевропейском способствует образованию синтаксически противопоставленных форм, которые Б. Дельбрюк обоз-

<sup>22</sup> Вопросы вызывает огласовка \**de-* 'два' без \*-w- (-u-), а также сам факт предпочтения числительного обычному двойственному числу (как в числительном \**oktō(u)* 'восемь < обе группы из четырех (вытянутых) пальцев', которое является остатком четверичного счисления в индоевропейском) [Winter 1992: 13, 17]. Впрочем употребление числового компонента \**de-* 'два' могло быть вызвано именно контрастом со старой кватернарной системой счисления.

<sup>23</sup> Это предопределило закономерности производственной деятельности. Предметно-вещные творения человека, которыми он себя окружил, в ходе своего становления тотально следуют принципу парной симметрии как некоему абсолюту. Они человекообразны, запечатлевая на себе образ и подобие человека – парносимметричность антропометрического пространства. Более того, содержательная фундаментальность парной симметрии сказалась на формировании религиозных воззрений. Так, удалось установить, что архаичный близнечный культ основывается на символическом замещении парных частей тела человека и животных (см. [Lehmann 1988: 378]).

<sup>24</sup> "If in any language some nouns are eligible for dual marking while others are not (or less readily), the criterion is whether or not they denote natural pairs" [Plank 1989: 309].

<sup>25</sup> Значение парности, однако, не поглощалось собственно количественным представлением. Об этом свидетельствуют разные факты. Так, например, согласно В. Краузе, в тохарском А языке паралис ("Paral") и дуалис ("Dual") были морфологически разведены (см. [Krause 1955: 15]).

начил терминами "Dual" и "Zweizahl". Последний термин здесь связывается со случаями семантически избыточного употребления в ведийском числительного *dváu* в сочетаниях с субстантивным дуалисом. Появление подобных квантитативных конструкций всегда обусловлено особыми текстово-речевыми обстоятельствами – включенностью в контекстуальный счетно-количественный ряд, образуемый соположением с другими числительными<sup>26</sup>. Это означает, что "первочисло" 2, давшее начало дуалису, насыщено пространственно-предметными смысловыми связями, которые, однако, были не настолько однозначны и прочны, чтобы не ослабевать и не утрачиваться в составе квантитативной парадигмы<sup>27</sup>.

Таким образом, функционально-семантическая природа числовых обозначений представляется двойственной. За числами стоит онтологическая реальность. "Число есть потенция вещи, рождающее смысловое лоно ее, закон ее осмысления. сила и орган оформления вещи" [Лосев 1993: 175]. В языковом умозрении числовые обозначения обеспечивают мерность и упорядоченность пространственно-количественного строя природной среды и предметного окружения, становясь, по словам В.Н. Топорова, образом мира (*imago mundi*) [Топоров 1980: 5]. Разнообразие и переменчивость предметных связей тем не менее всегда возвращают к числу как исходной константе, лишенной собственных предметных свойств. Становится ясно, что числа суть матрицы или схемы, соразмерность с которыми предметных или событийных явлений создает иллюзию их тождества. Числительные суть свидетельства дискретности, членимости воспринимаемого мира, поэтому их семантика соотносительна с оценкой его структурных или качественных черт, а не предметных свойств. Таким образом, так называемые предметные значения числительных всегда опосредованы и не связаны с их морфологическим характером, который может быть различным, а обусловлены их функциональной нацеленностью на предметный мир, как в хозяйственно-бытовой, так и в отвлеченно-мыслительной сферах деятельности.

Двойственное число у славян является индоевропейским архаизмом. Оно не только продолжает последовательно употребляться уже после распада праславянского языка, но и обретает собственную динамику развития. Так, новой ситуацией в праславянском является распространение счетно-количественных конструкций типа *\*dvъa otroka*, которые, как было указано выше, в индоевропейском допускались лишь в определенном рода контекстах. В праславянском довольно четко противопоставляются и выступают как самостоятельные величины свободное и связанное двойственное число (типа *\*boka*, *\*nodžě* vs. *\*dvъa brata*, *\*dvъž ženě*). Они образуют два разные типа грамматической номинации – количественно-предметную и счетно-количественную [Žolobov 1997: 8]. Грамматическое расщепление в славянском дуалисе вновь с несомненностью свидетельствует о двойственной природе числа: свободное двойственное число указывает на предметный генезис количественных представлений, а связанное двойственное число обнаруживает в числе матричную схему, лишенную зависимости от конкретно-предметных представлений. Таким образом, распространением связанного двойственного числа, противопоставленного свободному двойственному числу парных обозначений, опровергается общепринятый тезис о предметном характере семантики числительных, и опровергается там, где, казалось бы, предметность

<sup>26</sup> "Durch *dváu* mit dem Dual wird die Zweizahl aus Zahlenreihe hervorgehoben, z. B.: *á dvábhyaṃ háribhyaṃ indra yahy á catúrbiḥ* komm mit zwei Falben, o Indra, mit vieren u. s. w. RV 2, 18, 4 (*á háribhyaṃ yahy* wurde heißen: mit den beiden Falben)" [Delbrück 1968: 99–100]. Всегда семантически мотивировано также употребление слова *ubháu*.

<sup>27</sup> "Только появление понятия 2 сделало возможным возникновение счета и арифметики. В языковом мышлении *два* является числом высокого напряжения, поддерживаемого постоянно напоминающей о себе двойственностью, парностью и противопоставленностью как в физическом, так и в общественном и в индивидуально-психическом мире. Это положило начало особому двойственному числу, в отличие от единственного и множественного числа" [Бодуэн де Куртэн 1963: 315].



Внутрипарадигматической динамикой обусловлено употребление переходных морфосинтаксических образцов: (2<sub>2</sub>) < (4), (3<sub>2</sub>) < (4), (4) < (3) и под. "Таким образом, в числительных синтаксис явно преобладает над морфологией" [Виноградов 1938: 120]. Особенно явственно эта особенность выступает в составных числительных, которые уже сами по себе являются синтаксическими единствами, наиболее отчетливо обнаруживая члестречную автономность так называемых числовых слов. Грамматическая целостность квантитативных конструкций находит продолжение в морфосинтаксических группах с порядковыми числительными, имеющих количественно-определяющее значение. Составные числительные отражают логику образований, сложившихся в индоевропейскую эпоху<sup>32</sup>. Уже в старославянском эти числительные тяготеют к композитному образованию, что, конечно же, обусловлено морфосинтаксическими обстоятельствами – их рядоположенностью с простыми числительными и повторяемостью компонента, обозначающего десятки (см. у А. Вайана [1952: 191]: *дъванадесѣте златиць Супр 122*<sup>10</sup>). Когда появились благоприятные фонетические обстоятельства, композитные числительные второго десятка, которые образовывали сплошной счетно-текстовый ряд, претерпели аффиксоидную трансформацию. См. наиболее ранние примеры: (т)ринадеса гривнѣ ГрБ № 852 (сер. XII в.); *вза ксема пять наца(те во) [з] о 482* (80-е – 90-е гг. XIII в.).

Когда говорят о предметном значении древнеславянских числительных, имеют в виду морфологический характер числительных от *пяти* до *десяти*, которым свойственно субстантивное склонение и грамматическое значение рода. В действительности, как уже отмечалось, морфологический характер числительных означает лишь их морфологическую оформленность и не предопределяет их функционально-семантических особенностей. Так, числительное *duale tantum* \**dъva* (\**dъvǣ*) имеет родовое местоименное склонение, как и местоимение \**oba* (\**obǣ*):

	И-ВП	Р-МП	Д-ТП
Мужской род	* <i>dъva</i> , * <i>oba</i>	–	–
Немужской род	* <i>dъvǣ</i> , * <i>obǣ</i>	–	–
Общий род	–	* <i>dъvoju</i> , * <i>oboju</i>	* <i>dъvǣta</i> , * <i>obǣta</i>

Однако на этом заканчивается родство числительного \**dъva* с местоимениями, и по своим функционально-семантическим особенностям оно местоимением признано быть не может. Особая архаичность числительного \**dъva*, находящегося у истоков счетно-количественного ряда, запечатлелась в том, что оно, в отличие от других числительных, имеет своего "двойника" среди местоимений – местоимение \**oba*. Эта корреляция, выразившаяся, в частности, в образовании композита-двандва \**obadъva*, восходит к индоевропейской эпохе (см. [Vaillant 1958: 622–623]). Местоимение \**bhō* – это посредствующее звено между именем "первочисла" и его предметными прообразами, структура которых нашла отражение в семантике названного местоимения. Вместе с тем семантическое расхождение местоимения и числительного *dualia tantum* несомненно свидетельствует о собственном счетно-количественном значении числительного. В отличие от числительного, употребление местоимения в индоевропейском указывало на то, что каждый из обоих членов, единство которых обозначалось дуалисом, в равной мере относится к высказыванию<sup>33</sup>. Трудно согласиться с У.Ф. Леманом, ко-

<sup>32</sup> Числительные второго десятка наследуют индоевропейские формы, а обозначения десятков, как уже отмечалось, являются балто-славянским новообразованием. В литовском составные числительные встречаются до сих пор.

<sup>33</sup> См.: "Bei dem natürlichen und anaphorischen Dual erscheint *ubhāu* beide, um zu bezeichnen, dass jedes der beiden Glieder der im Dual ausgedrückten Einheit in gleicher Weise von der Aussage betroffen wird, z.B.: *...ubhē dyāvā* beide, Himmel und Erde gleichmässig RV 9, 70, 2" [Delbrück 1968: 99].

торый видел в индоевропейском \*bhō- "конкурирующий термин" для \*dew-<sup>34</sup>: вед. *ubhāu*, греч. ἀμφω, лат. *ambō*, гот. *hai*, ст.-сл. **оба** рядом с соответствующим числительным указывают на исходное функционально-семантическое расхождение [Lehmann 1991: 135].

Дейктическая, прономинальная функция слова \*oba 'тот и другой', 'эти-два, все-два' в древнеславянском проявляется отчетливо и без отступлений. Если выступает значение 'тот и другой', то обычно в тексте называются и составляющие единство части: **кого хощете отъ обож отъпоуциж вамъ • варавѣж ли • или нѣа** ЕвО 1056-57: Мф 27, 17<sup>35</sup>; **изаславоу же къназоу тогда прѣдръжащоу овѣ власти • и оца своего гарослава • и брата своего володимира** ЕвО 1056-57, 294 (запись); и тако обою животоу лихованъ бѣсть • и съде не тѣкъмо княження иъ и живота гонезе • и тамо не тѣкъмо цѣствниа нѣснааго и кже съ ангелы житиа погрѣши • иъ и моуцѣ и огню предасть **са** СБУ XII/XIII, 16а (СкБГ XI) и др. Как было установлено А. Беличем [Белич 1932: 23–29], древнеславянское **оба** употребляется не только при переводе греч. ἀμφότεροι, но и, что показательно, – οἱ δύο, тогда как δύο соответствует в переводах числительному **дѣва** (см.: **и вждете оба въ плѣть единж** Мар: Мк 19, 5 – καὶ ἔδονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν и под.). Варьирование типа **дѣвъ рибѣи** и **овѣ рибѣ**, как отмечал А. Вайан [1952: 189], в древнеславянском связано со значением определенности (см.: **они же глѣша. не имамъ съде. тѣкъмо ѣ хлѣвъ. и двѣ рибѣ. онъ же рече принесѣте сѣмо. и повелѣ народоу. възлеци по трѣвъ. и примѣ ѣ хлѣвъ. и овѣ рибѣ и възрѣвъ на нбо сѣи** Сав: Мф 14, 17–19). Те же семантические признаки, но в ослабленном, вероятно, виде присутствуют в сочетании **оба на десатѣ** (см.: **призва иъ оба на десатѣ оученика своа** ЕВА 1092: Лк 9, 1).

Вероятно, уже в праславянском местоименное склонение числительного \*dъva модифицируется под влиянием морфосинтаксических факторов, в результате чего в Р-МП распространяются формы типа \*dъvu desetu < \*dъvoju desetu. Новая форма фиксируется уже в наиболее древних памятниках: **без дѣвоу ногатоу гр(в)на** ГрБ № 526 (2-я треть XI в.); **тако дѣци нночада вѣ кмоу. тако двж на десатѣ лѣтоу** ЕВА 1092: Лк 8, 42. Такие же формы есть в западнославянских памятниках, однако их обычно объясняют фонетическим стяжением. Вместе с тем они обнаруживаются в нижнелужицком переводе Нового Завета 1548 г., который включает массу грамматических архаизмов. В нижнелужицком РП дв. ч. местоимения *wobu* не имеет фонетического объяснения и может наряду с древнерусскими примерами представлять праславянскую изоглоссу (см.: *meecz s wobu ftronu woftri* NTJa 1548: Откр 1, 16). Вряд ли это богемизм, потому что данная форма устойчива в народной речи [Unger 1998: 47–48].

Недоразумением следует считать отнесение слова *оба* к древнерусским счетным прилагательным [Хабургаев 1990: 260] или к числительным в современных русских грамматиках (см. [Грамматика 1970: 308; РЯ 1989: 455]). На местоименный характер семантики у слова *оба* указывал в свое время А.Е. Супрун [1969, 37–38], тем не менее включив его в разряд количественных числительных (напротив, ср. [Кудрявцев 1996: 231])<sup>36</sup>. О частеречной дифференциации слов *два* и *оба* свидетельствует расхождение в

<sup>34</sup> Общепринятая реконструкция – \*duǵō.

<sup>35</sup> Греческая параллель славянскому **обою** в этом чтении отсутствует.

<sup>36</sup> Ю.С. Кудрявцев идет далее и усматривает в местоимениях *весь* и *оба* супплетивную пару, из чего, согласно автору, следует признание живой категории дуалиса в современном русском языке. Следует заметить, что подобная лексическая пара, по существу, известна любому европейскому языку, но это не несет никаких грамматических последствий (ср., например, в испанском: *todo* : *ambos*; в немецком: *all* : *beide*).

их морфологическом развитии. Если числительное *два* связано с унифицированием форм в дуальном и малом квантитативах после утраты дуалиса, то местоимение *оба* находилось вне рамок данного процесса, естественно совмещаясь с плюральными формами местоимения *обои*. Следы такой контаминации впервые фиксируются в период утраты двойственного числа: *стрѣльцѣмъ стр(ѣ) [лѣ] юци(м)са шбоимъ межи собою • полкома* ЛЛ 1377, 376.

Столь же произвольна связь между частеречным значением и морфологическим характером наследующих индоевропейское употребление числительных *\*tr̥bje* (*\*tri*), *\*četyre* (*\*četyri*). Эти слова обычно считают в древнеславянском прилагательными, хотя их узусуальный статус дисгармонирует с адъективной частеречной семантикой. Синтаксически эти числительные действительно тождественны прилагательным, поскольку согласуются с существительными в роде и падеже. Однако они не имеют отдельной формы среднего рода, так что родовое противопоставление здесь принимает бинарный вид – мужской vs. немужской род, а выражено оно может быть только в номинативе. Кроме того, отношения с существительными по числу следовало бы считать координативными, потому что данные числительные – слова *plurale tantum*. Их нельзя признать прилагательными, потому что они не имеют членных форм, образование которых у адъективов относится еще к балто-славянской эпохе. Морфологически эти слова противопоставлены древнеславянским прилагательным, нечленные формы которых связаны со склонением на *\*-a* и *\*-o*. *Plurale tantum \*tr̥bje* принадлежит к склонению на *\*-ь*, а *plurale tantum \*četyre* – к склонению на согласный:

	ИП	ВП	РП	ДП	МП	ТП
Мужской род	<i>*tr̥bje</i> , <i>*četyre</i>	– –	– –	– –	– –	– –
Немужской род	<i>*tri</i> , <i>*četyri</i>	– –	– –	– –	– –	– –
Общий род	–	<i>*tri</i> , <i>*četyri</i>	<i>*tr̥bjь</i> , <i>*četyрь</i>	<i>*tr̥ьтъ</i> , <i>*četyрьтъ</i>	<i>*tr̥ьчъ</i> , <i>*četyрьчъ</i>	<i>*tr̥ьми</i> , <i>*četyрьми</i>

Таким образом, исходя из изложенного, не следовало бы также считать, что частеречная семантика слов *\*petь*, *\*šestь*, *\*sedь*, *\*osь*, *\*deve(tь)*, *\*desę* непосредственно проистекает из их морфологической природы, которая исторически была уравнена с морфологическими свойствами субстантивов. Морфологический характер в этом случае обусловлен не частеречной принадлежностью названных слов, а исторически укоренившимся типом морфологической оформленности, который не препятствовал и не противоречил их функционально-семантической направленности. Напротив, некоторые ограничения в образовании морфологических форм обусловлены функционально-семантическими свойствами числительных. Так, числительные *\*petь*, *\*šestь*, *\*sedь*, *\*osь*, *\*deve(tь)* – это слова *singularia tantum* женского рода со склонением на *\*-ь*, а числительное *\*desę* не только морфологически отлично от них, будучи единственным именем *et*-основ мужского рода, но и лишено морфологических ограничений на образование форм числа, так как является центральной единицей десятичного счисления, на которой основывается образование составных числительных<sup>37</sup>. На муж-

<sup>37</sup> Русские фольклорные выражения вроде *в тридевятом царстве, за тридевять земель* вряд ли являются остатком десятичного счисления. Скорее всего они представляют собой варианты сакральной формулы, так как в упомянутые выражения, далекие от хозяйственно-бытовой сферы, входят ключевые единицы нумерологических спекуляций. Обращает на себя внимание тот факт, что в ней выступает *numerus perfectus три*, при том что *девять* – это трехкратное *три*. См. в связи с этим выразительный пример у И.И. Срезневского:

ской род числительного **дѣсать** указывают согласовательные формы: мужской род числительного **дѣва** в квантитативе (2<sub>3,4</sub>), а также мужской род порядкового числительного **трѣтъя** в квантитативе (5<sub>3,4</sub>): **дѣва дѣсать бърковьско** ГрБ № 630 (сер. 20-х – сер. 50-х гг. XII в.); **поло трѣтъя дѣсато гривьно** ГрБ № 61 (60-е – 70-е гг. XIII в.). Однако в составе квантитатива (4) данное числительное не отличается от числительного **дѣвять** и имеет ТП ед. ч. женского рода<sup>38</sup>: **хвалать дѣсатню пзвъ повѣдивъшааго егуптъ** СБУ XII/XIII, 207 г. Подобная родовая дифференциация в рамках словоизменительной парадигмы одного слова неизвестна именам существительным. В данном случае она обусловлена внутрочастеречными морфосинтаксическими факторами – воздействием на числительное \**dese* числительных *singularia tantum* \**petь*, ... \**devetь*<sup>39</sup> и обобщением в квантитативе (4) единого деклинационного образца.

Частеречная природа числительных последовательно реализуется в парадигме квантитативных конструкций. Функционирование квантитативов как целостных грамматических единиц индуцирует унификацию морфосинтаксических образцов в исходном славянском употреблении. Прежде всего это находит выражение в распределении субстантивных компонентов квантитативов. Так, в квантитативах (2<sub>2</sub>) и (3<sub>2</sub>) существительные могут быть оформлены по образцу квантитатива (4): (2<sub>2</sub>) **сѣдете и въ на двою на дѣсате прѣстола**. **сѣдѣще дѣвѣма на дѣсате колѣнома излевама** ЕвА 1092: Мф 10, 28 vs. (4) и **приставити ми ваще**. **дѣвою на дѣсате легеонъ англъ** ЕвА 1092: Мф 26, 53; (3<sub>2</sub>) и **съ нкю .г҃ї. отроковицѣ** СБУ XII/XIII, 68г vs. (4) **да боудѣтъ .г҃ї. отроковицъ въ слоужьбоу тебѣ** СБУ XII/XIII, 68б. В квантитативе (4) уже в древнейших памятниках обнаруживается тенденция к обобщению субстантивных компонентов по типу квантитатива (3): **о дѣвати правдѣнникъ** Зогр: Лк 15, 7 vs.<sup>40</sup> (3) **о дѣвати дѣсатѣ и дѣвати праведѣнницѣхъ** Мар: Лк 15, 7 и под. Последний пример доказывает, что форма существительного определяется не пресловутым субстантивным статусом числовых слов, а включенностью в квантитативные конструкции, смысловым центром которых являются числовые обозначения. Здесь нужно заметить, что сам РП мн. ч. существительных в сочетаниях типа **пять хлѣбъ** не столь легко объясним, как может показаться. Не ясно, почему этот родительный приименный никогда не чередуется с дательным приименным или адъективным определением, которые у славян обычно предпочитались приименному дополнению в родительном (см. [Мейе 1951: 374–375]). Если **пять** – существительное, то почему нельзя было сказать **хлѣбьнама пять** – как **сжпржгъ воловьинъ**? РП мн. ч. существительных в составе квантитативных конструкций, вероятнее всего, несет печать функциональной специализации как *genitivus adnumerativus*.

Вместе с тем морфологическая оформленность древнеславянских числительных, несомненно, гарантировала их от полной десемантизации. Древнеславянские числительные имели прономинальную, адъективную или субстантивную окраску и сохраняли в своей семантике признаковые или предметные смысловые оттенки, которые давали дополнительную пищу символическим представлениям. Тем самым древнеславянские

**вѣрѣють... въ вилы. их же числом г҃. ѿ. сестреницъ** Сл. Христ. Паис. сб. (Срезн. I, 651). В письменности на бересте эта же нумерическая формула представлена в заговоре-молитве, где автор стремится переработать языческий сакральный топос в христианском духе: **три дѣва(т)о анеело три дѣва ароханело избави рава жѣл ми хѣл трасавиче молитвами сватъла богородича** ГрБ № 715 (XIII в.).

<sup>38</sup> Так и в старославянском (см. [Вайан 1952: 187]).

<sup>39</sup> Другой сходный пример родовой диссоциации дает связанное употребление в парной формуле: **нощитиъ и дъниъ** Супр 292<sup>24</sup> (вместо **дъньмь**) (см. [Вайан 1952: 127]).

<sup>40</sup> Ср. [Вайан 1952: 189].



## СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И СОКРАЩЕНИЙ

- Гр 1130 – Грамота великого князя Мстислава Владимировича и сына его Всеволода новгородскому Юрьеву монастырю, около 1130 г. – // Хрестоматия по истории русского языка / Авторы-составители В.В. Иванов, Т.А. Сумникова, Н.П. Панкратова. М., 1990.
- ГрБ – Грамота берестяная – А.А. Зализняк. Древненовгородский диалект. М., 1995.
- ЕвА 1092 – Архангельское Евангелие 1092 г. М., 1912.
- ЕвО 1056–1057 – Остромирово Евангелие 1056–57 г. С приложением греческого текста Евангелий и с грамматическими объяснениями / Изд. А.Х. Востокова. СПб., 1843.
- ЖФСт XII – Житие Феодора Студита // Выголексинский сборник / Изд. подготовили В.Ф. Дубровина, Р.В. Бахтурина, В.С. Гольщенко. М., 1977.
- Зогр – Quattuor Evangeliorum codex glagoliticus olim Zographensis nunc Petropolitanus. Edit V. Jagič. Grac. 1954. (Unveränderter Abdruck der 1879 bei Weidmann, Berlin erschienenen Ausgabe).
- Изб 1076 – Изборник 1076 г. М., 1965.
- КЕ XII – Кормчая Ефремовская. XII в. Рукопись ГИМ, Син. № 227 (по КСДР).
- КН 1280 – Кормчая Новгородская, 1280 г. и сер. XIV в. Рукопись ГИМ, Син., № 132 (по КСДР).
- КСДР – Картотека Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.). Хранится в Институте русского языка РАН (Москва).
- ЛЛ 1377 – Лаврентьевская летопись 1377 г. / Полное собрание русских летописей. Том первый. М., 1962.
- Мар – Мариинское Четвероевангелие с примечаниями и приложениями. Труд И.В. Ягича. Grac, 1960. (Фототипическое издание книги 1883 г.).
- Мудр. нар. – Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре. Вып. I: Младенчество. Детство. М., 1991.
- Пр 1383 – Пролог мартовской половины, 1383 г. Рукопись РГАДА, ф. 381, № 172 (Тип., № 367) (по КСДР).
- ПС XI–XII – Синайский патерик. М., 1967.
- Сав – Саввина книга. Труд В. Щепкина / Памятники старославянского языка. Том I, вып. 2-й. СПб., 1903.
- СбТр XII/XIII – Сборник слов и поучений конца XII – начала XIII в. Рукопись РГБ, Тр.-Серг., № 12 (по КСДР).
- СБУ XII/XIII – Успенский сборник XII–XIII вв. М., 1971.
- СДРЯ I–IV – Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Том I–IV. М., 1988–1991.
- СкБГ XI – Сказание о Борисе и Глебе конца XI в. (по Успенскому сборнику XII–XIII вв.).
- Срезн. – И.И. Срезневский. Материалы для Словаря древнерусского языка. Том I–III. СПб., 1893–1903.
- Супр – Супрасльская рукопись. Труд С. Северьянова / Памятники старославянского языка. Том II, вып. 1-й. СПб., 1904.
- УСт XII/XIII – Устав студийский церковный и монастырский, конца XII или начала XIII в. Рукопись ГИМ, Син., № 330 (по КСДР).
- ЧудН XII – Златоструй и отрывок Торжественника XII в., ГПБ, Ф. п. I, 46 (по КСДР).
- V&Sl – Korečny F. Základní všeslovenská slovní zásoba. Praha, 1981.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бигрянский И.М.* 1960 – Имя числительное в русском языке XI–XVII вв. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1960.
- Белић А.* 1932 – О двојини у словенским језицима. Београд, 1932.
- Бодуэн де Куртенэ И.А.* 1963 – Избранные труды по общему языкознанию. Т. II. М., 1963.
- Вайан А.* 1952 – Руководство по старославянскому языку. М., 1952.
- Виноградов В.В.* 1938 – Современный русский язык. Вып. 2: Грамматическое учение о слове. М., 1938.
- Грамматика 1970* – Грамматика современного русского литературного языка / Отв. ред. Н.Ю. Шведова. М., 1970.
- Дровникова Л.Н.* 1985 – История числительных в русском языке. Владивосток, 1985.
- Еленски Й.* 1978 – Параллелизм в развитии количественных сочетаний в славянских языках // Славянска филологија. Т. XV: Езикознание. София, 1978.
- Жолобов О.Ф.* 1997 – Древнерусское двойственное число в общеславянском контексте. Казань, 1997.

- Журавлев В.К. 1991 – Диахроническая морфология. М., 1991.
- Зализняк А.А. 1995 – Древненовгородский диалект. М., 1995.
- Кудрявцев Ю.С. 1996 – Русский dualis как живая категория // *Russian linguistics*. V. 20 (2–3). 1996.
- Лосев А.Ф. 1993 – Бытие. Имя. Космос. М., 1993.
- Лосев А.Ф. 1994 – Миф. Число. Сущность. М., 1994.
- Мейе А. 1951 – Общеславянский язык. М., 1951.
- Мещанинов И.И. 1978 – Члены предложения и части речи. М., 1978.
- РЯ 1989 – Современный русский язык / Под ред. В.А. Белошапковой. М., 1989.
- Мифы 1997 – Мифы народов мира: Энциклопедия. Т. 1–2. М., 1997.
- Сурун А.Е. 1969 – Славянские числительные. Становление числительных как особой части речи. Минск, 1969.
- Топоров В.Н. 1980 – О числовых моделях в архаичных текстах // *Структура текста*. М., 1980.
- Фасмер М. – Этимологический словарь русского языка. Т. I–IV. М., 1986–1987.
- Хабургаев Г.А. 1990 – Очерки исторической морфологии русского языка. Имена. М., 1990.
- Янин В.Л., Зализняк А.А. 1999 – Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1998 г. // ВЯ. № 4. 1999.
- Aitzetmüller R. 1978 – *Altbulgarische Grammatik als Einführung in die slavische Sprachwissenschaft*. Freiburg i. Br., 1978.
- Cassirer E. 1956 – *Philosophie der symbolischen Formen*. Tl. I: Die Sprache. Darmstadt, 1956.
- Comrie B. 1992 – *Balto-Slavonic // Indo-European numerals*. Berlin; New York, 1992.
- Delbrück B. 1968 – *Altindische Syntax (Reprographischer Nachdruck der 1. Auflage, Haale an der Saale 1888)*. Darmstadt, 1968.
- Dragunov A.A. 1960 – *Untersuchungen zur Grammatik der modernen chinesischen Sprache*. Berlin, 1960.
- Gvozdanović Ja. 1992 – *Remarks on numeral systems // Indo-European Numerals*. Berlin; New York, 1992.
- Humboldt W. von 1963 – *Über den Dualis (1827) // W. von Humboldt. Werke*. Bd. 3: Schriften zur Sprachphilosophie. Darmstadt, 1963.
- Kiparski V. 1967 – *Russische historische Grammatik*. Bd. II: Die Entwicklung des Formensystems. Heidelberg, 1967.
- Krause W. 1955 – *Tocharisch / Handbuch der Orientalistik*. Bd. 4. Abschnitt 3. Leiden, 1955.
- Lehmann W.Ph. 1988 – "The divine twins" or "The twins... divine?" // *Languages and cultures*. Berlin; New York; Amsterdam, 1988.
- Lehmann W.Ph. 1991 – Residues in the early Slavic numeral system that clarify the Development of the Indo-European system // *General linguistics*. V. 31. № 3–4. 1991.
- Lohmann J. 1956 – "Wort" und "Zahl" // *Zeitschrift für slavische Philologie*. Bd. XXV. 1956.
- Numbers 1961 – *Numbers // Encyclopædia of religion and ethics*. V. IX. Edinburg, 1961.
- Plank F. 1989 – *On Humboldt on the dual // Linguistic categorisation*. Amsterdam / Philadelphia. 1989.
- Šerech Ju. 1952 – *Probleme der Bildung des Zahlwortes als Redeteil in den slavischen Sprachen*. Lund, 1952.
- Smoczyński W. 1989 – *Studia bałto-słowiańskie. Część I*. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódź, 1989.
- Stopa R. 1963 – *Prymitywizm kultury i języka Buszmenów // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego*. Z. XXII. 1963.
- Szemerényi O. 1960 – *Studies in the Indo-European system of numerals*. Heidelberg, 1960.
- Unger M. 1998 – *Studien zum Dual. Eine Darstellung am niedersorbischen Neuen Testament des Mikławuš Jakubica (1548)*. München, 1998.
- Vaillant A. 1958 – *Grammaire comparée des langues slaves*. T. II: Morphologie. Première partie: Flexion nominale. Lyon; Paris, 1958.
- Vondrák W. 1928 – *Vergleichende slavische Grammatik*. II. Band: Formenlehre und Syntax. Göttingen, 1928.
- Winter W. 1992 – *Some thoughts about Indo-European numerals // Indo-European Numerals*. Berlin; New York, 1992.
- Žolobov O. 1997 – *Über Ergebnisse und Perspektiven der historischen Beschreibung des slavischen Duals*. I // *Zeitschrift für Slawistik*. Bd. 42(1). 1997.

© 2001 г. А.П. РОМАНЕНКО

**СОВЕТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА:  
Е.Д. ПОЛИВАНОВ – Н.Я. МАРР**

В современной истории советского языкознания установилось мнение, что советская философия языка ("марксистское языкознание", "марксизм в языкознании"), принципы которой дискутировались с 20-х по 50-е годы, принадлежит не столько науке, сколько культуре в целом, то есть взаимоотношениям между наукой, идеологией, политикой [L'Hermitte 1987]. Это справедливо, однако не дает более или менее удовлетворительного объяснения причин влиятельности этого феномена в советском языкознании. Можно ли их свести к авторитарности власти, или они глубже? Подобный вопрос по отношению к марризму поставил В.М. Алпатов и дал ответ: это влиятельность мифа, а не науки. Он охарактеризовал и обстоятельства, способствовавшие утверждению и победе этого мифа [Алпатов 1991]. Соглашаясь с этим, нельзя не заметить и некоторой недостаточности такого ответа для истории лингвистики, в которой рассматриваются не только научные теории языка и которая изучает не только имманентную историю лингвистических учений, но и их связь с общественно-языковой практикой. Задача настоящей статьи – попытаться показать культурный детерминизм советской философии языка, объяснить ее специфику особенностями советской культуры (мифологизированной по своему характеру), общественно-языковой практики; понять неслучайность<sup>1</sup> существования, борьбы, выбора теорий языка в этой культуре. При этом нужно различать, с одной стороны, взаимоотношения советской философии языка и марксизма как теории, с другой – взаимоотношения ее и марксизма как риторической, речевой практики. Первый аспект проблемы, внутренний, касающийся самой теории языка, исследуется давно. Марксизм определяют либо как искусственно привнесенное в языкознание содержание [Thomas 1957; Концевич 1991], либо как органическое свойство советской философии языка [L'Hermitte 1987], либо ввиду сложности проблемы учитывают связь того и другого [Алпатов 1991; 1992; 1995]. Второй аспект, внешний, в историко-лингвистической литературе, по существу, не изучен, он и является предметом нашей статьи.

Философия языка – это та часть теории языка, которая рассматривает вопросы построения и сущности языка в связи с его отношением к действительности, обществу, сознанию. Тип теории языка и ее философская часть в определенной степени детерминирована общественно-языковой практикой [Амирова, Ольховиков, Рождественский 1975: 28], в которую входит и риторическая деятельность общества. Советская философия языка была представлена двумя противостоящими друг другу концепциями – Е.Д. Поливанова и Н.Я. Марра [Леонтьев 1983: 17]. Выступившая с критикой марризма группа "Языкфронт" занимала в этом противостоянии промежуточное положение, но более тяготела к позиции Е.Д. Поливанова, хотя этого и не признавала. Концепция авторов книги "Марксизм и вопросы языкознания" (В.Н. Волошинова, М.М. Бахтина) была ближе к позиции Н.Я. Марра<sup>2</sup>; впрочем, они стремились

<sup>1</sup> Сам факт неслучайности советской философии языка отмечен историками советского языкознания [Genty 1977; L'Hermitte 1987; Алпатов 1991].

<sup>2</sup> Ближе в том смысле, в каком им (как и Н.Я. Марру) был ближе "абстрактного объективизма" "индивидуалистический субъективизм".

отстраниться от рассматриваемого противостояния. Соотношение между всеми этими вариантами философии языка определялось во многом спецификой советской словесной культуры. Мы проанализируем лишь основные, противостоявшие друг другу концепции Е.Д. Поливанова и Н.Я. Марра.

Серьезность, обдуманность и искренность обращения к марксизму и Е.Д. Поливанова и Н.Я. Марра (как и многих других лингвистов) не вызывает сомнений. Е.Д. Поливанов сам был активным деятелем революции и убежденным марксистом. Н.Я. Марр пришел к марксизму поздно, но тоже вполне сознательно<sup>3</sup>. Ими двигало интеллигентское стремление послужить трудящимся массам и новому обществу. Оба они знали массы (хотя и по-разному в силу разного социального происхождения), так как активно и профессионально работали с информантами. Поэтому представляется не совсем корректным считать их марксистскую ориентацию заблуждением, неким неизбежным для того времени идеологическим пленом, как об этом, например, говорит Л.Р. Концевич по отношению к Е.Д. Поливанову [Концевич 1991: 591]. Не совсем точным представляется и мнение Л.Л. Томаса о марксизме Н.Я. Марра как о механическом идеологическом добавлении к уже разработанной лингвистической теории [Thomas 1957: 140]<sup>4</sup>. Обращение этих лингвистов к марксизму (Е.Д. Поливанова раньше, Н.Я. Марра позже) скорее, по нашему мнению, можно считать стремлением скоррелировать лингвистическую теорию с новой революционной, изменяющейся на глазах языковой практикой.

Вот почему специального анализа заслуживает именно практическая (внешняя) сторона советской философии языка, обращенная не столько к науке как таковой, сколько к культуре в целом, к риторике как нормализатору практической (не поэтической) речи. Философия языка в этом случае приобретает более широкую аудиторию – не только ученых, но и практиков, раторов в широком смысле. Являясь частью практической риторической деятельности общества, философия языка может быть рассмотрена в категориях не только истории науки, но и теории риторики. Поэтому мы разберем концепции Е.Д. Поливанова и Н.Я. Марра в трех аспектах речевой деятельности советской культуры – э т о с а (условий речи), п а ф о с а (источника смысла речи) и л о г о с а (словесного воплощения пафоса на условиях этоса) [Рождественский 1997: 96]. При описании будем опираться на проведенный нами в этих категориях анализ советской культуры и языка [Романенко 1999].

Советская культура (в том числе словесная) представлена, с одной стороны, константными характеристиками, с другой, – по крайней мере, двумя во многом противопоставленными типами или моделями: культурой 1 и культурой 2 [Паперный 1996]. Эти модели различаются хронологически (культура 1 доминировала в 20-е, культура 2 – в 30-е годы) и типологически (культура 1 – элитарная, культура 2 – массовая). Носители культуры 1 – риторы 1 – профессиональные революционеры, в основном интеллигенты, начавшие свою деятельность еще до революции. Носители культуры 2 – риторы 2 – выходцы из масс, пришедшие к власти после революции [Романенко 1999: 29–30]. Риторы 1 – представители элитарной речевой культуры, риторы 2 – среднелитературной [Гольдин, Сиротинина 1997]. Этим культурным моделям отвечали и варианты философии языка: концепция Е.Д. Поливанова соответствовала культуре 1, была ориентирована на ее общественно-языковую практику, концепция Н.Я. Марра – культуре 2 с ее общественно-языковой практикой. Рассмотрим это различие, проявлявшееся во всех трех аспектах речевой деятельности.

**Пафос** культуры 1 – разрушение старого, борьба с ним. Теоретический источник смысла речи – марксизм в ленинской интерпретации. Пафос культуры 1 связан со

<sup>3</sup> У Н.Я. Марра вместе с тем были и конъюнктурные и карьерные мотивы [Алпатов 1991].

<sup>4</sup> Н.Я. Марр шел к марксизму не столько от теории, с которой он был знаком лишь в общих чертах [Алпатов 1991: 68–69], сколько от практики (поэтому современники говорили о его "стихийном марксизме").

старой культурой (несмотря на борьбу с ней). Риторы 1 – наследники старой культуры. Язык нового общества осмыслялся как преемник старого, был старым модернизированным языком – этого требовала пропаганда марксизма, учения, сформировавшегося в старой культуре [Романенко 1999: 30, 32].

Пафос концепции Е.Д. Поливанова – в преемственности, в ориентации на традицию, на прецедент, на старое<sup>5</sup>, что соответствовало ленинскому принципу построения социалистической культуры с опорой на предшествующую. Е.Д. Поливанов любил цитировать известное место из речи В.И. Ленина "Задачи союзов молодежи" о необходимости знания культуры человечества для построения пролетарской культуры. В своем программном докладе "Проблема марксистского языкознания и яфетическая теория" (1929 г.), положившем начало "поливановской" дискуссии, он эти ленинские слова назвал лейтмотивом или эпиграфом к докладу. Этот принцип определял отношение Е.Д. Поливанова к старому (досоветскому) языкознанию: "...в такой точной науке, какой является лингвистика, не может быть речи об отмене всех сделанных этой наукой и, в частности, сравнительным языкознанием достижений – потому, дескать, что они не удовлетворяют марксистской точке зрения. Наоборот, можно сказать противное: в лингвистике (по крайней мере в том запасе лингвистических достижений, который был представлен работами лучших наших лингвистов начала 20 в.) нет утверждений, противоречащих марксизму... Вот почему здесь нельзя игнорировать лингвистическую культуру, созданную предшествующими поколениями" [Поливанов 1968: 51–52].

Язык, по Е.Д. Поливанову, его сущностные свойства, структура и функционирование детерминированы традицией: "В языке мы более чем где-либо (например в материальной и духовной культуре, искусстве, литературе и т.д.) зависим от традиции, послушно отражая в наших словах факты языкового мышления давным-давно ушедших поколений, большинство которых чуждо нам даже по этническому имени" [Поливанов 1968: 210]. Вместе с тем о советском языке, языке "пионерско-комсомольского поколения" он говорил: "...это уже *другой язык*" [Там же: 207]. Говорил он также «о невозможности отождествить понятие "языка интеллигенции" как стандартного языка дореволюционной эпохи со стандартным языком современности, несмотря на то, что мы к нему прилагаем наименование "языка красной интеллигенции"» [Там же: 233]. Но все это не приводило Е.Д. Поливанова к трактовке советского языка как нового и беспрецедентного явления. Структурная основа этого языка – старая, в нем больше прецедентных, чем абсолютно новых фактов. К тому же новой становится, в основном, лексика [Там же: 210]. Следовательно, имеется в виду старый модернизированный язык. Е.Д. Поливанов, признавая правомерность классово-трактовки языка, не делал вывод о возможности разрыва традиции в языковом развитии, наоборот, утверждал принцип преемственности: "Стандартный язык, таким образом, как эстафета, переходит из рук в руки от одной господствующей группы к другой, наследуя от каждой из них ряд специфических черт; но и каждая из этих сменяющих друг друга групп наследует в перенимаемом стандартном языке отложения сошедших уже с исторической арены носителей стандарта" [Там же: 223].

Пафос культуры 2 – созидание и культивирование нового. Борьба со старым усиливается и распространяется на культуру 1 и на риторы 1 с их интеллигентскими, продолжающими старые традиции формами речемышления. Теоретический источник смысла речи – марксизм-ленинизм в сталинской интерпретации, еще более упрощенный и популяризированный, чем в культуре 1. Это делает необязательным обращение к старой культуре как к контексту и источнику марксизма. Поэтому пафос культуры 2 – разрыв культурных (и языковых) традиций и признание беспрецедентности нового. Язык культуры 2 понимается как собственно новый, язык масс, порвавший

<sup>5</sup> Это не значит, что Е.Д. Поливанову было чуждо новаторство, но оно основывалось на знании и учете прецедентов.

связи со старым (в том числе и модернизированным) языком интеллигенции [Романенко 1999: 31, 35].

Пафос "нового учения о языке" Н.Я. Марра – это культивирование нового, основанное на отрицании старого, на разрыве традиций, что проявилось, кстати, в названии концепции. Эта теория выстроена в соответствии с философским принципом соотношения базиса и надстройки<sup>6</sup>. Культура (и язык) относится к надстройке, изменяющейся вслед за базисом. Поскольку советский базис абсолютно нов, постольку нова и надстройка (по крайней мере от нее надлежит требовать новизны).

Культурологическая позиция Н.Я. Марра основывалась на признании антагонизма отношений поработанного Востока (репрезентанта нового) и поработителя-Запада (репрезентанта старого). Старый Запад-угнетатель подлежал безусловному отрицанию, с будущим человечества связывался пробуждающийся и освобождающийся новый Восток. Эта позиция "культурного нигилизма" [Алпатов 1991: 64–66] была ориентирована на построение новой беспрецедентной культуры (в отличие от ленинской позиции).

В русле этого нигилизма осуществлялся Н.Я. Марром и разрыв с лингвистической традицией. В.М. Алпатов заметил, что «чертой "нового учения о языке", созвучной времени (то есть пафосу культуры 2. – А.Р.), была резкая враждебность Марра лингвистической науке Запада и дореволюционной России» [Алпатов 1991: 60]. Эта враждебность привела к утверждению "новым учением о языке" своей научности и отрицанию таковой у старой лингвистики.

Новая теория языка, научная в отличие от старой, должна строиться на принципиально новом, научном мышлении: «Надо переучиваться в самой основе нашего отношения к языку и его явлениям, надо научиться по-новому думать, а кто имел несчастье раньше быть специалистом и работать на путях старого учения об языках, надо перейти к иному "думанию", в этом смысле переучиться» [Марр 1936: 419].

Отрицание старой лингвистики было обусловлено именно пафосом новой культуры, "новым общественным мышлением", а не личными симпатиями и антипатиями Н.Я. Марра, не его отношениями со старыми академическими кругами. Это обстоятельство подчеркнул сам Н.Я. Марр: "Я прекрасно знаю, какие благородные, самоотверженные работники лингвисты-индоевропейцы. между тем сама индоевропейская лингвистика есть плоть от плоти, кровь от крови отживающей буржуазной обществу, построенной на угнетении европейскими народами народов Востока. их убийственной колониальной политики" [Марр 1934: 1]. По свидетельству В.А. Миханковой, эта характеристика старой лингвистики (без характеристики лингвистов) вывешивалась студентами в качестве плаката в аудитории, где проводил занятия Н.Я. Марр [Миханкова 1948: 297]. В.М. Алпатов отметил, что эти слова входили "во все цитатники Марра" [Алпатов 1991: 63]. Так сочетался пафос "нового учения о языке" с пафосом культуры.

Все старое языкознание Н.Я. Марр называл индоевропейстикой по принадлежности его к европейской культурной традиции, а вовсе не по предмету исследования. Индоевропейством вслед за Н.Я. Марром его последователи стали называть не специалиста по индоевропейским языкам, а любого представителя старого языкознания, любого оппонента "нового учения о языке", любого представителя культуры 1 в филологии. Так называли и востоковеда Е.Д. Поливанова, который сразу же отреагировал на это: «Кстати, мне очень странно было слышать, что меня называют индоевропейцем. Как странно меняется значение слов! Об этом существует особая наука. И вот как меняется слово "индоевропейец". Тогда, когда в 1912 г. приблизительно оформлялось известное течение среди лингвистов при Ленинградском университете, меня как раз называли антиевропейцем. Почему? Потому что я звал и сам больше всего работал на неевропейском материале» [Поливанов 1991: 548]. Этот случай десемантизации и

<sup>6</sup> Возможно, что она строилась Н.Я. Марром без знания этого принципа, но оказалась хорошо ему отвечающей.

острая реакция на него риторика 1 указывает на принадлежность марристской риторики именно культуре 2 [Романенко 1999: 43–46].

Язык послереволюционной эпохи, советский язык, по Н.Я. Марру, это новый язык, порвавший связи с предыдущим языковым развитием, со старым языковым состоянием: "Не реформа, а коренная перестройка, а сдвиг всего этого надстроечного мира на новые рельсы, на новую ступень стадияльного развития человеческой речи, на путь революционного творчества и созидания нового языка" [Марр 1936: 370–371]. В связи с "новизной" языка Н.Я. Марром развиваются теоретико-методологические направления в исследовательской деятельности "нового учения о языке".

Это, во-первых, идея будущего всемирного языка, которая связывается с приходом нового носителя – масс. По Н.Я. Марру, нужно ставить вопрос о "едином искусственном общечеловеческом языке и говорить о нем не утопически и не кустарно-модельнически во вкусе и в подражание европейского империализма, а в подлинно мировом масштабе, с охватом языковых навыков и интересов не одних верхних тонких слоев, а масс, трудовых масс всех и языков и стран" [Марр 1936: 24]. Отметим, что это направление вытекало из концепции Н.Я. Марра, а не из политической конъюнктуры того времени. «Идея о будущем языке появилась у Марра задолго до того, как он стал ее связывать с построением коммунистического общества. В "новом учении о языке" она занимала большое место уже потому, что была логическим завершением его концепции развития языков от множества к единству» [Алпатов 1991: 44]. Существенно, что эта концепция строилась как противопоставление "индо-европейской лингвистике", то есть компаративистской модели языкового развития: "По яфетическому языкознанию, зарождение речи, ее рост и дальнейшее или конечное достижение можно изобразить в виде пирамиды, стоящей на основании. От широкого основания, именно праязычного состояния в виде многочисленных моллюско-образных зародышей-языков, человеческая речь стремится, проходя через ряд типологических трансформаций, к вершине, то есть единству языков всего мира. У индо-европейской лингвистики, с ее единым праязыком, палеонтология сводится к пирамиде, поставленной на вершине, основанием вверх" [Марр 1934: 31].

Во-вторых, пафос нового языка актуализировал проблему происхождения языка. Н.Я. Марр подчеркивал принципиальное значение этого направления исследований для теоретического и прикладного языкознания: "...без интереса к происхождению языка не может быть никакой лингвистики, всякое учение об языке предполагает то или иное положительное обращение к этому вопросу, ту или иную концепцию возникновения языка, и только тогда специальные углубленные занятия отдельными языками могут явиться плодотворными" [Марр 1936: 69]. И это понятно: создавая новый язык, нужно иметь философско-теоретическую модель его возникновения и начала развития. Поэтому так актуализировались вопросы происхождения языка в советской философии языка того времени. Н.Я. Марр прямо связывал оба направления исследований с вопросами современности (возникновение нового языка, "новых видов языка"), то есть с пафосом культуры 2: "...Н.Я. отвечает... и на обвинение, что яфетидологи якобы уходят от задач современности и интересуются лишь историей языка – его происхождением и будущим единым языком. Он говорит, что именно интерес к современности побуждает заниматься вопросами истории и теории языка. Новое учение о языке т а к п о с т р о е н о (выделено нами. – А.Р.), что оно не может не интересоваться актуальными вопросами жизни, ибо в них стимул к движению и пища для более углубленной работы над теорией" [Миханкова 1948: 389–390]. В то же время Е.Д. Поливанов, дискутируя с марристами, заявлял, что проблема происхождения языка бесперспективна, во-первых, потому, что ненаучна из-за неимения достоверных сведений, во-вторых, потому, что нелингвистична из-за отсутствия лингвистического материала для ее изучения [Поливанов 1991: 538]. И это тоже понятно, если учесть пафос его концепции и пафос культуры 1.

Таким образом, пафос учения Н.Я. Марра определяется отнесением языка и словесной культуры в целом к надстройке, что ведет к разрыву лингвистической и

языковой традиции и утверждению беспрецедентности нового языка и его описания. Впрочем, проблема происхождения языка открывает прецедент – культуру (и языковую в том числе) первобытного коммунизма, культуру добуржуазную.

**Этос** концепций Е.Д. Поливанова и Н.Я. Марра определяется их принадлежностью к типу культуры – элитарной и массовой.

Культура 1 элитарна: риторы 1 (политическая и интеллектуальная элита) управляли массами в условиях ораторики. Отношение ратора 1 к массе – отношение оратора, убеждающего аудиторию. Речевая деятельность организовывалась по принципу демократического централизма, причем ведущим и нормирующим видом речи была речь совещательная, документ лишь оформлял результат обсуждения. Риторы 1 много внимания уделяли популяризации знания и просвещению масс. Массы и их представители (риторы 2) должны были приобщаться к нормативам культуры и старого модернизированного языка путем подъема их культурного уровня, что соответствовало ленинской концепции культурной революции. Разумеется, такое представление о стандартном языке и его функциях – норма элитарной культуры, обращенной, впрочем, к массам, стремящейся стать массовой [Романенко 1999: 30, 32].

Концепция языка послереволюционной эпохи Е.Д. Поливанова – это концепция старого модернизированного языка, усваивая который, массы продолжают культурно-языковые традиции русской революционной интеллигенции. Он так характеризовал носителей этого нового стандартного языка: «На пути к будущему признаку *бесклассовости* современный стандарт ("общерусский язык революционной эпохи") характеризуется – в социальном отношении – следующим "субстратом": революционный актив (в том числе эмиграция предшествующего периода, вернувшаяся после революции), культурные верхи рабочего класса (как и выделенная им часть революционного актива) и прочие элементы, входящие в понятие "красной интеллигенции", в том числе и значительные слои прежней интеллигенции, осуществляющие, следовательно, реальную связь со стандартом предшествующей эпохи» [Поливанов 1968: 213]. Нетрудно заметить, что норма и образец этой речевой культуры – интеллигентские (элитарные). Отмечал Е.Д. Поливанов и такое характерное свойство старого (дореволюционного) стандартного интеллигентского языка как двуязычный характер коллективного мышления [Там же: 217]. Это свойство старого языка, но оно сохранялось и в языке культуры 1.

Лингвистическая теория Е.Д. Поливанова также элитарна. Она была обращена к аудитории ученых-профессионалов, не содержала даже элементов популяризации<sup>7</sup>. В этом отношении очень показателен доклад ученого на "поливановской" дискуссии. И сам его текст и речевое поведение автора свидетельствуют о сугубо профессионально-лингвистической ориентации доклада. Е.Д. Поливанов не мог не знать, какая аудитория (кроме профессиональной) его будет слушать. Однако этого он учитывать не желал, не желал переводить речь в режим массовой риторики. "Меня упрекали в том, что вместо целостного анализа яфетической теории, как некой системы, я занимался указанием отдельных противоречий фактам. Но ведь в этом-то все и дело. Нельзя стрелять из пушки по воробьям. Критиковать яфетидологию как систему это значило бы принять ее всерьез; между тем, в задачу специалиста здесь, прежде всего, входило показать ее отсутствие элементарного фактического фундамента, которое заставляет нас проходить мимо яфетидологии не из-за ее общих положений, а из-за ее материала. И несмотря на продолжавшееся три недели после доклада кваканье профанов, сделанные мною вышеназванного характера указания остались вполне интактными" [Поливанов 1991: 555]. Позиция докладчика вполне ясна: лингвистическая

<sup>7</sup> Это касается именно т е о р и и. Конкретные работы Е.Д. Поливанова могли (в силу популяризаторского характера советской риторики и деятельности раторов 1) быть написаны популярно, например, "За марксистское языкознание (Сборник популярных лингвистических статей)". – М., 1931.

теория – удел специалистов, а не "профанов". Теория Н.Я. Марра – не лингвистика. "Приходится утверждать, например, что Марр не имеет лингвистического образования" [Там же: 532]. "Профанов", т.е. риторов 2 в лингвистике, Е.Д. Поливанов называет "верующими", "лингвистами без языка", имея в виду их непрофессионализм [Там же: 561]. В докладе он попытался поставить их на место с помощью научного критерия – знания предмета, но ему ответили в духе обличительной полемики, после чего ученый прекратил свои попытки: "Сейчас позволю себе маленький экскурс относительно моих будущих оппонентов. Мне будут возражать, я знаю, лингвисты-иннарвосовцы, аспиранты-лингвисты Иннарвоса. Почему? Потому что они прежде всего привыкли выступать на всех докладах. Это вошло в привычку. Но, вот, если говорить откровенно, то скажу, что у аспирантов Иннарвоса есть манера говорить и тогда, когда они не знают предмета. (*Голос с места*: Бывают профессора, как вы, например, которые говорят, не зная предмета). (*Шум в зале*). В таком случае я эту тему бросаю и перехожу от моих будущих оппонентов к теме менее животрепещущей. (*Смех в зале*") [Там же: 530–531]. Известно, что во время обсуждения его доклада Е.Д. Поливанов надолго уходил, избегая наскучившего ему ненаучного общения и не желая в нем участвовать.

Культура 2 – массовая. Риторы 2 (преимущественно выходцы из масс) управляли массами в условиях письменной (главным образом, письменно-деловой) коммуникации. Отношение ратора 2 к массе – отношение руководителя-управленца к коллективу. Принцип демократического централизма организовывал речевую деятельность иначе: ведущим и нормирующим видом речи становился документ, совещательная речь теряла свою значимость и даже вызывала подозрительное отношение как атрибут старой речевой культуры (такое же отношение вызывали и сами риторы 1). В качестве стандартного выступал новый канцеляризованный, основанный на упрощении старого модернизированного язык. Его называют канцеляритом, новоязом, новоречью. По сравнению со старым модернизированным языком он был вполне доступен массе и не требовал особых усилий для усвоения [Романенко 1999: 31, 35].

"Новое учение о языке" принадлежит массовой культуре (при этом теоретические, не рассчитанные на популяризацию работы Н.Я. Марра относятся к культуре элитарной). Новый язык – это язык масс, противопоставленный старому, пусть даже модернизированному, упрощенному, но элитарному в своей основе языку. "Тут не о реформе письма или грамматики приходится говорить, а о смене норм языка, переводе его на новые рельсы действительно массовой речи" [Марр 1930: 47]. К нормам старого языка отношение резко враждебно. В.М. Алпатов приводит очень показательное в этом смысле высказывание В.Б. Аптекаря, развивающего положения Н.Я. Марра: «Сейчас у нас, безусловно, язык рабочих прежде всего, будет иметь преобладающее место в литературе и мы будем изгонять интеллигентские особенности языка... И если сейчас определенно господствующая группа вводит свой стиль в литературный язык, то прежние стилистические украшения, обязательные для каждой статьи, как например, "Что он Гекубе, что ему Гекуба", исчезают... Такими языками раньше могли говорить знать, интеллигенция, но не широкие массы, теперь же это, очевидно, в корне переживается» [Алпатов 1991: 67].

Если старая интеллигентская логосфера и преподавание языка имели характер двуязычный (о чем писал Е.Д. Поливанов), то новая речевая (среднелитературная, массовая) культура была монологична, а преподавание сводилось к обучению родному языку. Иностранные языки уходили на периферию учебного предмета. С точки зрения культуры 2 старый язык (сопряженный с иностранным) – чужой, новый же – свой, родной. Н.Я. Марр заявлял, что "...родной язык в СССР намечается в кандидаты на то место, которое в свое время с честью занимали в европейской школе классические мертвые языки, греческий и латинский. Ясное дело, что это касается каждого родного языка, не одних бесписьменных или младописьменных языков. Это касается и русского языка..." [Марр 1935 : 395].

"Новое учение о языке" обращено не столько к ученым-профессионалам, сколько к

массам. Н.Я. Марр сам постоянно отмечал массовый. "пролетарский" характер своего учения. Аудитория Н.Я. Марра была широкой. Были в ней и лингвисты-профессионалы (например, Н.Ф. Яковлев, Л.П. Якубинский), видевшие в марризме, хотя и по-разному, и черты новой научной парадигмы, и черты, отвечающие требованиям новой речевой практики. Но большинство аудитории – непрофессионалы ("профаны", по Е.Д. Поливанову). "Самыми горячими приверженцами Марра в то время были его молодые ученики, многие из которых были комсомольцами" [Алпатов 1991: 80]. В.М. Алпатов говорит еще об ученых-нефилологах, выдвигенцах, а также о "профессиональных мифотворцах" ("лингвистах без языка", по Е.Д. Поливанову): о юристе Л.Г. Башинджагане, историке С.Н. Быковском, враче В.Б. Аптекаре. «В конце 20-х – начале 30-х годов Аптекарь считал себя московским представителем Марра и играл ведущую роль в дискуссиях тех лет. Как писала позднее О.М. Фрейденберг, "также вот парни, как Аптекарь, неучи, приходили из деревень или местечек. нахватывались партийных лозунгов, марксистских схем, газетных фразеологий и чувствовали себя вождями и диктаторами. Они со спокойной совестью поучали ученых и были искренне убеждены, что для правильной систематизации знаний ("методологии") не нужны самые знания"» [Там же: 56]. Эта аудитория – риторы 2, которых Н.Я. Марр сознательно культивировал<sup>8</sup>. "Марр всерьез гордился тем, что в отличие от дипломированных ученых чуваш-учитель сразу понял его идеи и через несколько дней написал статью о яфетической теории" [Алпатов 1991: 65]. "Наука без привлечения масс в научное творчество, – считал Н.Я. Марр, – обречена на прозябание в старых путях. обречена оставаться при старых методах" [Марр 1933 : 235]. Понимание лингвистики как части массовой культуры долго сохранялось в советской науке. Так, например, уже в 80-х годах один из наиболее видных и последовательных представителей риторики (а не теории) марризма Ф.П. Филин писал: "Однако не следует забывать, что в условиях царской России достижения языковедов, независимо от намерений последних, были известны лишь узкому кругу лиц. Языкознание (как и другие научные дисциплины) было наукой для немногих, кто мог получить достаточное образование. Только после Великой Октябрьской социалистической революции в процессе бурного развития народного просвещения оно становится наукой для масс" [Филин 1982: 38]. "Новое учение о языке" оказалось доступным непрофессионалам – риторам 2. и, усвоив его, они уверенно полемизировали с Е.Д. Поливановым (и не только с ним), не обращая внимания на его "интеллигентский" профессионализм в анализе фактов. Доступность марризма заключалась не в простоте теории (теория Е.Д. Поливанова проще с точки зрения научной логики), а в части пафоса и этоса, подчинивших себе логос. Риторы 1 и риторы 2 говорили на разных языках и не понимали друг друга.

О близости концепции Н.Я. Марра массовой культуре свидетельствует и его индивидуальный стиль, совмещающий в себе черты научного, делового и публицистического (массово-информационного) стилей. Например: "Решение столь сложной проблемы отнюдь не может быть достигнуто без увязки истории материальной культуры с генетическим языкознанием и особенно без продвижения третьего элемента... в исследовательское поле зрения научного мира, а это мыслимо лишь тогда, когда народы, кровно заинтересованные в разработке загнанного в науке третьего элемента по своей племенной с ним связи, общественно выйдут из пассивного положения также третьего элемента и выявят себя активными работниками по вопросу" (цит. по [Миханкова 1948 : 333]). Охотно пользовался Н.Я. Марр и стилистикой политических лозунгов, например: "Долой Милосскую Венеру, да здравствует мотыга!" [Марр 1935 : 202].

**Логос** культур 1 и 2 определяется, главным образом, принципами организации языкового знака, то есть принципами строения семантики знаковых систем. Различия

<sup>8</sup> Здесь речь идет о массовой аудитории Н.Я. Марра. Известно, что в числе молодых учеников были и вполне профессионально образованные лингвисты.

культур по этому признаку детерминированы разными представлениями о соотношении языка, мышления и действительности, или иначе, разными пониманиями отношений знака, сигнификата и денотата.

Общественно-языковая практика культуры 1 формируется в соответствии с принципом условности языкового знака. Условность знака детерминирована этосом культуры, то есть коммуникативными возможностями ораторики, обеспечивающими коррекцию речи и ее семантики (необходимую для герменевтики пропаганды) в процессе речи. Принцип условности знака способствует совершенствованию сигнификативной стороны семантики старого модернизированного языка, чем достигается необходимая действительность речи. Известна, например, ленинская "борьба с фразой", то есть сигнификативная проработка материала, делающая речь логичной, последовательной и убедительной. В соответствии с принципом условности знака осуществлялось в культуре 1 именование без обращения к внутренней форме знака, например, широко известные "советские сокращения" [Романенко 1999: 37–46].

Концепция Е.Д. Поливанова дает лингвофилософское обоснование принципа условности знака, который формулируется очень четко и определенно. Проблема связи знака, сигнификата и денотата интересует Е.Д. Поливанова именно в связи с советской общественно-языковой практикой, с задачами описания и нормирования современного ему стандартного языка: "Но если не так уж методологически сложна задача самого описания языка революционной эпохи, т.е. учета языковых фактов революционного происхождения, то наибольшие затруднения представит прагматический вопрос о том, как и почему отражаются в эволюции языка факты социального быта (т.е. экономические и политические факторы). Ведь не только между звуковым составом определенного слова и социально-бытовой ситуацией (данного языка в данную эпоху), но даже и между звуковым составом слова и его значением нет органической связи (в противном случае одни и те значения не могли бы выражаться в разных языках совершенно несходными звукосочетаниями, как это мы наблюдаем в действительности на каждом шагу)" [Поливанов 1968: 209]. Е.Д. Поливанов особенно настойчиво подчеркивает условность связи знака и денотата для современной речевой практики, имея в виду утвердившееся в советской философии языка марристское понимание обусловленности знака материальной культурой: "...между революцией и наличием того или другого звука в том или другом ряде слов нет никакой связи (ведь никакой внутренней зависимости нет и между качественно-звуковым составом слова-символа и выражаемым им значением)" [Там же: 226]. Данное понимание устройства знака делало малоактуальной для теории проблему "слов и вещей", которая ставилась в работах Г. Шухардта. Неактуальным оказывалось и понятие внутренней формы знака. Е.Д. Поливанов, уделяя много внимания новому "революционному" способу именованья – аббревиации, оценивал новообразования лишь со структурно-функциональной точки зрения, не обращая на их внутреннюю форму и благозвучие никакого внимания. Анализ типов современной советской аббревиации он завершил следующими словами: "Добавлю только, что дурно или хорошо с эстетической точки зрения (о чем предлагается судить специалистам-эстетам, а не лингвистам), но вышерассмотренные сокращения выполняют свою задачу, давая русскому словарю экономные и большей частью удобные слова для новых понятий, а потому всякого рода теоретические возражения против них, по моему мнению, излишни" [Там же: 193]. Подобная трактовка организации языкового знака продолжала традиции европейской сравнительной грамматики или – шире – "абстрактного объективизма" [Волошинов 1929] и была присуща структурализму.

Общественно-языковая практика культуры 2 строилась в соответствии с принципом мотивированности языкового знака. Этос культуры (условия письменно-деловой коммуникации) делал невозможными непосредственную связь между коммуникантами и, следовательно, немедленную коррекцию речи. Для устранения возможного непонимания (недопустимого в пропаганде) актуализируется механизм внутренней формы знака. Принцип мотивированности оптимизирует речевую деятельность путем установления

жесткой связи знака и денотата, что обеспечивает действенность речи (это явление называют "магией речи"). Роль сигнификата становится второстепенной. Сигнификативная система языка упрощается и строится по бинарной схеме. Возникает явление десемантизации, при котором обесмысливается сигнификативная логика, свойственная старому модернизированному языку. Практика именованья начинает ориентироваться на принцип мотивированности знака, на учет его внутренней формы [Романенко 1999].

В "новом учении о языке" принцип мотивированности знака – центральное смыслопорождающее понятие. Н.Я. Марр определяет язык через материальную культуру. то есть через денотат: "Язык во всем своем составе есть создание человеческого коллектива, отображение не только его мышления, но и его общественного строя и хозяйства – отображение в технике и строе речи, равно и в ее семантике. Следовательно, сам по себе язык не существует, весь его состав есть отображение или, скажем конкретнее, отложение... Жизненные языковые явления лишь в их органической связанности с историей материальной культуры и общественностью" [Марр 1927: 79]. Между действительностью, мышлением и языком в их развитии существует определенный изоморфизм, который и позволяет изучать языковой материал в тесной связи с материалом денотативным: "Судьбы самих памятников доисторической материальной культуры едва ли могут расходиться с судьбами слов доистории соответственной страны. И если мы находим вещи, сродством своих линейных колебаний или линейной выразительности своей формы вторящие сродству слов, их одинаково осмысленному созвучию, в Восточной Европе и в этрусско-римской стране, то можем ли мы делать вывод для вещей и иной для слов?" [Марр 1935: 310]. Таким образом, язык мотивирован, детерминирован мышлением и действительностью.

Физическая часть языка, звуковая и графическая, мотивирована сигнификативно: "Нет не только слова, но и ни одного языкового явления, хотя бы из строя речи (морфологии, синтаксиса), или из ее материального выявления... нет ни одной частицы звуковой речи, которая при возникновении не была бы осмыслением, получила бы какую-либо языковую функцию до мышления..." [Марр 1934: 111]. Признается мотивированность звучания значением слов. Эта связь модифицируется на разных стадиях языкового развития, но существовать не перестает.

Семантика языка мотивирована денотативно. В приложении к языковому развитию совокупность семантических законов, основанных на денотативной мотивированности, называлась Н.Я. Марром палеонтологией речи. В ее основе – четырехэлементный анализ лексики. Четыре элемента, образующие лексику, были мотивированы племенными названиями народов Средиземноморья. Но этой мотивированности для анализа лексики недостаточно из-за множества немотивированных формальных совпадений слов. Поэтому устанавливалась дополнительная к денотативной мотивированности – сигнификативная (о которой уже говорилось). "Спасает (четырёхэлементное описание словаря. – А.Р.) лишь качественный анализ двух категорий, один простой качественный анализ, как бы физический, когда созвучие проверяется значимостью слова (здесь и далее выделено нами. – А.Р.), т.н. семантический анализ, притом значимость утверждается не установившимся представлением на основании употребления в том или ином письменном или вообще классовом языке, как это принято в индоевропейской лингвистике, а по законам палеонтологии речи. Другой анализ более сложный, как бы химический, анализ также семантический, когда значимость проверяется или удостоверяется прежде всего историей материальной культуры, равно историей общественных форм и затем историей надстроечных социальных категорий, искусства, художеств и т.п." [Марр 1927: 8]<sup>9</sup>. Эта система делает понятным использование Н.Я. Марром при семантическом анализе народной этимологии, его при-

<sup>9</sup> Разумеется, четырехэлементный анализ и другие понятия марровской семантики и палеонтологии речи не могут быть интерпретированы как абсолютно детерминированные общественно-языковой практикой культуры 2. Дело в другом: они возможны при условии признания принципа мотивированности знака и основаны на нем; он же детерминирован языковой практикой.

тальное внимание к магии речи и к первобытному состоянию речемыслительной деятельности человека. "Палеонтологический анализ, – пишет В.А. Миханкова, – вскрывающий в человеческой речи отображение общественного мышления, выявил и отличную от современной систему мышления так называемых доисторических эпох: ему была присуща иная, с нашей точки зрения лишенная логики ассоциации образов" [Миханкова 1948: 316]. Черты этой системы, обусловленные принципом мотивированности знака, Н.Я. Марр не мог не наблюдать в современной ему речевой практике культуры 2 – это явление "магии речи" (то есть использование принципа мотивированности знака через отождествление знака и денотата для обеспечения действенности речи) и ритуализованной десемантизации [Романенко 1999: 38–46]. Правда, Н.Я. Марр не проводил прямых аналогий между архаическими стадиями речемыслительной деятельности человека и современностью, но логика его исследований и неоднократные заявления об интересе к современной языковой жизни показывают, что ученый видел эти связи. В.А. Миханкова же, толкуя Н.Я. Марра, говорит об этом более определенно: "Пережиточно представления древнейших эпох сохранились и в речи современных народов, стоящих на высокой ступени общественного развития, они прослеживаются особенно четко в топонимике, а также в племенных и национальных названиях" [Миханкова 1948 : 316].

Итак, проведенное сопоставление показывает, что варианты советской философии языка Е.Д. Поливанова и Н.Я. Марра не только являлись определенными фактами развития теории языка, но имели и культурно-прагматический характер, были частью разных типов советской культуры (концепция Е.Д. Поливанова – культуры 1, концепция Н.Я. Марра – культуры 2). В этом смысле они более или менее адекватно отвечали задачам нормирования и описания общественно-языковой практики. В теоретическом же отношении поливановский вариант тяготел, пользуясь терминологией В.Н. Волошинова – М.М. Бахтина, к "абстрактному объективизму", а марровский был ближе традициям "индивидуалистического субъективизма" [Волошинов 1929].

История борьбы этих типов культур и философий языка известна. Культура 2 вытеснила культуру 1, учение Н.Я. Марра – концепцию Е.Д. Поливанова, риторы 2 вытеснили из общественно-политической жизни риторы 1, то же произошло в языкознании и других науках, получивших в советское время политизированную канцелярско-документную организацию [Романенко 1991]. В общественно-языковой практике соответственно менялся языковый стандарт: канцелярит (новояз) теснил старый модернизированный язык. Правда, эти изменения в области языковой нормы были минимальны в силу консерватизма литературного языка вообще. Но они были, и канцелярит – это не квазиязык, а реальность, оказавшая заметное влияние на всю советскую словесную культуру [Романенко 1999; 1997].

История эта имела свое продолжение: в языкознании в форме дискуссии 1950 года с участием И.В. Сталина. В заключение статьи остановимся на этом эпизоде, так как он способствует прояснению анализируемой проблемы.

Уход марризма из советского языкознания в результате дискуссии и, главным образом, сталинской критики объясним, по нашему мнению, кроме прочего, сменой культурных моделей<sup>10</sup>. В работах И.В. Сталина (не говоря о прочих участниках дискуссии) критикуется марризм как философия языка культуры 2 с позиций философии языка культуры 1.

**Пафос** этой критики состоит в отрицании принадлежности языка к надстройке, а следовательно, "классовости" языка и его "новизны": "На протяжении последних 30 лет в России был ликвидирован старый, капиталистический базис и построен новый, социалистический базис. Соответственно с этим была ликвидирована надстройка над капиталистическим базисом и создана новая надстройка, соответствующая социалистическому базису. Были, следовательно, заменены старые политические, правовые и

<sup>10</sup> Уже высказывалось мнение, что причина разгрома марризма – в несоответствии его новой советской языковой политике [Marcellesi, Gardin 1974].

иные учреждения новыми, социалистическими. Но, несмотря на это, русский язык остался в основном таким же, каким он был до Октябрьского переворота" [Сталин 1950 : 11–12]; «...формула о "классовости" языка есть ошибочная, немарксистская формула» [Там же: 44]; "На самом деле развитие языка происходило не путем уничтожения существующего языка и построения нового, а путем развертывания и совершенствования основных элементов существующего языка" [Там же: 55] (то есть путем модернизации старого языка).

**Этос** сталинской критики заключается (в соответствии с пафосом) в признании культурной преемственности и традиции: "...современный русский язык по своей структуре мало чем отличается от языка Пушкина" [Сталин 1950 : 19]. Заметим, в качестве образца выбран Пушкин, а не массы<sup>11</sup>. Осуждается марровская критика "индоевропеистики": «Н.Я. Марр крикливо шельмует сравнительно-исторический метод, как "идеалистический". А между тем нужно сказать, что сравнительно-исторический метод, несмотря на его серьезные недостатки, все же лучше, чем действительно идеалистический четырехэлементный анализ Н.Я. Марра, ибо первый толкает к работе, к изучению языков, а второй толкает лишь к тому, чтобы лежать на печке и гадать на кофейной гуще вокруг пресловутых четырех элементов» [Там же: 68–69]. Здесь важно не качество аргументов Сталина, а направленность критики. Прибавим, что в дискуссии с марристами Сталин опирался на академические круги ("старое"), а не на молодых дилетантов ("новое").

**Логос** этой критики – отрицание основных теоретических постулатов "нового учения о языке". Марровская трактовка связи языка и мышления называется "труд-магической тарабарщиной" [Сталин 1950 : 80], указывается на "злоупотребление" семантикой и на идеалистичность "пресловутого" четырехэлементного анализа. Вместе с тем акцентируется коммуникативная функция языка, а сам язык понимается как техника, не связанная с идеологией [Там же: 16–17]. Акцентируется для языка и его теории важность грамматики, причем подчеркивается ее абстрактный, логический характер, она "напоминает геометрию" [Там же: 49–50]. В связи с этим формализм лингвистики перестает казаться опасным: «Н.Я. Марр считал грамматику пустой "формальностью", а людей, считающих грамматический строй основой языка – формалистами. Это и вовсе глупо. Я думаю, что "формализм" выдуман авторами "нового учения" для облегчения борьбы со своими противниками в языкознании» [Там же: 86]. Итак, в советской официальной и нормативной философии языка происходит возврат к парадигме "абстрактного объективизма" (по В.Н. Волошинову – М.М. Бахтину), основанной на принципе условности языкового знака. Это указывает на поворот в культурном развитии советского общества к модели культуры 1. Конечно, культура 1 60-х годов не идентична культуре 1 20-х, но типологическая основа их одна и та же. О начинавшейся смене культурной ориентации, кстати, свидетельствует резкая реакция И.В. Сталина на вопрос А. Холопова, нашедшего противоречие между высказанным в 1930 году сталинским мнением о "новом" будущем языке и теперешним его пониманием истории и развития языка как "старого". Резкость, по-видимому, объясняется, во-первых, самим фактом уличения И.В. Сталина в непоследовательности, а во-вторых (и это главное), непониманием А. Холоповым различий двух культур, в разных условиях которых трактовка вопроса должна быть различной, "диалектической"<sup>12</sup>.

Таким образом, советская философия языка имела не столько научно-теоретическую, сколько культурно-прагматическую значимость (о чем говорит и сам факт вмешательства в нее И.В. Сталина). Лингвофилософские теории Е.Д. Поливанова и

<sup>11</sup> В этой связи интересно свидетельство В.М. Молотова: "Не зря Сталин занялся вопросами языкознания. Он считал, что, когда победит мировая коммунистическая система, – а он все дело к этому вел, – главным языком на земном шаре, языком межнационального общения, станет язык Пушкина и Ленина" [Чувев 1991: 40].

<sup>12</sup> И.В. Сталин функционально и культурно-исторически был риторическим идеалом культуры 2 (как В.И. Ленин – культуры 1). Но оба вождя в реальной истории были сложнее, сочетая в себе, хотя и по-разному, нормативы разных культурных моделей.

Н.Я. Марра отвечали разным культурным моделям. Рассмотренный материал имеет отношение и к истории советской культуры, и к истории советского языкознания в его отношении к общественно-языковой практике.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алпатов В.М.* 1991 – История одного мифа: Марр и марризм. М., 1991.
- Алпатов В.М.* 1992 – Марксизм и марризм (заметки неисторика) // Восток. 1992. № 3.
- Алпатов В.М.* 1995 – Книга "Марксизм и философия языка" и история языкознания // ВЯ. 1995. № 5.
- Амирова Т.А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В.* 1975 – Очерки по истории лингвистики. М., 1975.
- Волошинов В.Н.* 1929 – Марксизм и философия языка. Л., 1929.
- Гольдин В.Е., Сиротина О.Б.* 1997 – Речевая культура // Русский язык. Энциклопедия. М., 1997.
- Концевич Л.Р.* 1991 – Послесловие // Е.Д. Поливанов. Избранные труды по восточному и общему языкознанию. М., 1991.
- Леонтьев А.А.* 1983 – Евгений Дмитриевич Поливанов и его вклад в общее языкознание. М., 1983.
- Марр Н.Я.* 1927 – Яфетическая теория. Программа общего курса учения об языке. Баку, 1927.
- Марр Н.Я.* 1930 – К реформе письма и грамматики // Русский язык в советской школе. 1930. № 4.
- Марр Н.Я.* 1933 – Избранные работы. Т. 1. Л., 1933.
- Марр Н.Я.* 1934 – Избранные работы. Т. 3. Л., 1934.
- Марр Н.Я.* 1935 – Избранные работы. Т. 5. Л., 1935.
- Марр Н.Я.* 1936 – Избранные работы. Т. 2. Л., 1936.
- Миханкова В.А.* 1948 – Николай Яковлевич Марр. М.; Л., 1948.
- Паперный В.* 1996 – Культура "Два". М., 1996.
- Поливанов Е.Д.* 1968 – Статьи по общему языкознанию. М., 1968.
- Поливанов Е.Д.* 1991 – Труды по восточному и общему языкознанию. М., 1991.
- Рождественский Ю.В.* 1997 – Теория риторики. М., 1997.
- Романенко А.П.* 1991 – Характер и смена "парадигм" в истории советского языкознания // Лингвистика: Взаимодействие концепций и парадигм. Вып. 1. Ч. 1. Харьков, 1991.
- Романенко А.П.* 1997 – Канцелярит: риторический аспект (О книге К.И. Чуковского "Живой как жизнь") // Риторика. 1997. № 1(4).
- Романенко А.П.* 1999 – Типы советской культуры и язык // Вопросы стилистики. Вып. 27. Саратов, 1999.
- Сталин И.В.* 1950 – Марксизм и вопросы языкознания. М., 1950.
- Филин Ф.П.* 1982 – Очерки по теории языкознания. М., 1982.
- Чув Ф.* 1991 – Сталин и его окружение (Последняя встреча с Молотовым) // Мужество. 1991. № 4.
- Genty C.* 1977 – Entre l'histoire et le mythe. E.D. Polivanov. 1891–1938 // Cahiers de Monde russe et Soviétique. XVIII (3). 1977.
- L'Hermite R.* 1987 – Marr, Marrisme, Marristes. Une page de l'histoire de la linguistique soviétique. P., 1987.
- Marcellesi J.-B., Gardin B.* 1974 – Introduction à la sociolinguistique. P., 1974.
- Thomas L.L.* 1957 – The linguistic theories of N.Ya. Marr. Berkeley; Los Angeles, 1957.

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОЧЕРЕДНОГО XIII МЕЖДУНАРОДНОГО СЪЕЗДА СЛАВИСТОВ 2003 г.

16 и 17 октября 2000 г. в Загребе (Хорватия) прошло заседание Международного комитета славистов под председательством Аленки Шивиц-Дулар (Словения), ныне – председателя МКС. В повестке дня стоял практически один главный вопрос – подготовка и проведение XIII Международного съезда славистов, который должен состояться в 2003 г. (предположительно – в августе) в Любляне.

Общая квота докладчиков – с разными поправками – 683. Размеры национальных квот – в пределах, принятых для предыдущего, XII МСС (Краков). Напомню, что от России в Кракове был 101 участник.

От национальных комитетов в срок до **31 ноября 2001 г.** ожидается получение конкретных тем докладов и сообщений участников.

Было решено, что квота участников тематических блоков не входит в общую вышеназванную квоту (683 темы). Уточнение тем докладчиков блоков и состава самих блоков планируется на период до 2002 г. (в 2002 г. в Любляне намечено проведение **пленарного** заседания МКС).

Специфика блоков и их организации в целом довольно детально обсуждалась. Число (активных) участников блока – 4–5 чел. (минимально – три страны). Окончательный срок заявок о блоках – **июнь 2001 г.** (к этому времени уже должна поступить программа / тематика съезда).

Отдельно встал вопрос о круглых столах (хотя четкого понимания об отличии круглых столов от блоков обнаружено не было). Срок заявок о круглых столах – **октябрь 2001 г.** (с оговоркой, что вопрос еще будет решаться на следующем заседании МКС, предположительно – в ноябре–декабре 2001 г.; страна проведения будет уточнена).

Подлежит уточнению количество блоков, причем резкое его увеличение осуждалось. **От России последовало предложение особого блока по лексикографии.** Однако сделано это должно быть в установленные сроки (см. выше) и по установленной форме: 1) название блока; 2) ответственный организатор; 3) участники блока (4–5 чел.; перечислить); 4) обоснование блока; 5) разработка тематики блока; 6) продолжительность (блока, докладов, дискуссий); 7) способ подачи заявки блока – через Национальный комитет.

Весьма напряженно обсуждалась тематика будущего съезда (черновой проект). Пришлось, в частности, отстаивать междисциплинарное единство традиционно первого пункта программы, который рисковал распасться из-за непродуманного отделения и выведения этногенеза и археологии, которая, как известно, в этих проблемах всегда выступает в тесном контакте с лингвистикой.

Отдельно встал вопрос о молодых славистах, далее – о комиссиях, о координаторе комиссий (замена проф. Басары, Польша, ранее исполнявшего эту функцию), о финансовых вопросах, формах поддержки и т.д. Вообще складывается впечатление, что, при всей деловитости обсуждений 16–17 октября, число нерешенных вопросов убавилось мало, ряд деталей подлежит дальнейшему уточнению.

Хозяева будущего съезда (Словения) заверили в максимальном благопритворности с их стороны. Место проведения XIII МКС – Цанкарев дом в Любляне, с залом

на 1.300 мест (чем, в сущности, ограничен верхний предел числа физических лиц участников).

В Президиуме МКС 16–17 октября приняли участие представители Словении, Хорватии, России, Белоруссии, Германии, Австрии, Польши, США, Канады, Чехии. Со стороны Хорватии, организатора нынешнего заседания Президиума МКС, присутствовали руководители Хорватского филологического общества, Хорватского национального комитета славистов, филологического факультета Загребского университета, Старославянского института Хорватской академии наук и искусств.

Обычно подобные заседания МКС принято сочетать с проведением тематической научной конференции. В данном случае этого не было, имели место выступления некоторых авторитетных филологов (несколько эскизное, вводное обсуждение хорватских и сербских языковых и этнических древностей, с акцентом на собственные национальные приоритеты; в эти обсуждения был вовлечен и нижеподписавшийся).

Председатель  
Национального комитета славистов РФ  
акад. О.Н. Трубачев

## **ТЕМАТИКА XIII МЕЖДУНАРОДНОГО СЪЕЗДА СЛАВИСТОВ (Любляна, 2003)**

(Принято на Заседании Международного комитета славистов.  
Загреб, 16–18 октября 2000)

### **1.0 ЯЗЫКОЗНАНИЕ**

#### **1.1 Лингвогенетический и этногенетический аспекты и историко-филологические аспекты:**

Генезис славянских языков в контексте праславянской диалектологии (с акцентом на южнославянских языках). Славянская этимология в словообразовательном и семантическом аспектах. Палеославистика. Текстология и издание памятников.

#### **1.2 Ареальные аспекты:** Ареальное изучение славянских языков (балтика, карпатика, германославика, австрославика, угрославика, дакославика, балканика). Диалекты славянских языков: возникновение, развитие, современное состояние. Интердисциплинарность в диалектологических исследованиях. Перспективы, методы и техника лингвистической географии.

#### **1.3 Структурные, типологические и сравнительные аспекты (на всех уровнях):** Актуальные проблемы научного исследования современных славянских языков (на всех языковых уровнях). Динамика и типология изменений в процессе развития славянских языков. Типологическая форма славянского предложения в метаязыковом сравнительном плане. Лексикологические и фразеологические неологизмы в славянских языках на рубеже тысячелетия. Процессы развития в области терминологии и связи между славянскими языками. Структурная типология славянского именного фонда.

#### **1.4 Социолингвистические и прагматические аспекты:** Языковая теория стилей. Языковые контакты (славянский – славянский, славянский – неславянский). Роль национального языка в процессах формирования национальной культуры. Языковое планирование и языковая политика в странах с одним из славянских языков в качестве официального. Положение славянских языков в мире современной коммуникации и технологии в связи с вопросом о многоязычии. Социолингвистические аспекты и периодизация славянских литературных языков. Критерии литературности в славянских языках. Изменения, произошедшие в последние десятилетия в южнославянских литературных языках. Существование литературного языка и некоторых других языковых форм (вариантов) в славянских языках. Славянские языки и процессы европейской интеграции и глобализации.

**1.5 Теоретические и методологические аспекты в изучении славянских языков:** Использование новых технологий на материале славянских языков. Корпус текстов на славянских языках. Когнитивный подход в языкознании.

## **2.0 ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ФОЛЬКЛОРИСТИКА.**

### **2.1 Особые темы:**

2.1.1 Адам Мицкевич, Александр Пушкин, Франце Прешерн в славянском и европейском контексте.

2.1.1 Проблематика творческой деятельности в эмиграции.

**2.2 Теоретические аспекты:** Современные направления литературоведения в славянском мире. Функции литературы в славянском мире. Общее сравнительное литературоведение и славянские литературы. Тематология на распутье между литературоведением, культурологией и лингвистикой (тема, интертекстуальность, модель мира).

**2.3 Историко-литературные аспекты:** Типология возникновения славянских литератур. Эволюционная типология жанров в славянских литературах. Континуитет и дисконтинуитет литературного процесса с периода средневековья до постмодернизма (с акцентом на проблеме литературности). Связи между славянскими литературами в аспекте соотношения тематической и образной структуры. Фантастика в славянских литературах. Литература сопротивления. Регионализм и диалектность в литературах славянских народов. Славянские литературы национальных меньшинств и диаспоры. Славянские литературы на фоне или в окружении неславянских литератур.

**2.4 Культурологические аспекты:** Изменения в литературной жизни на переломе тысячелетия (влияние социально-политических изменений и новейших средств массовой информации). Обретение национальной независимости и реинтерпретация прошлого (литература, язык, культура и история). Глобализация, культурное самосознание и мультикультурализм как проблемы славянского мира. Восприятие славянской драматургии на неславянской почве. Литература и философско-религиозная мысль. Массовая культура.

**2.5 Фольклористика:** Фольклорный текст в культурном контексте. Тексты современного славянского фольклора. Понятие традиции в истории литературы и в фольклористике. Соотношения между устной и письменной формами литературы (с акцентом на изменение границ между ними). Современные тенденции в истории литературы и в фольклористике.

## **3.0 ИСТОРИЯ СЛАВИСТИКИ:**

**3.1 Специальная тема: Йозеф Добровский (1753–1829)** в контексте европейского просвещения и общественных наук. Роль Йозефа Добровского в формировании славянских национальных филологий. Взгляды Йозефа Добровского и Е. Копитара на старославянский язык и культурологические и языковые аспекты славянской письменности в Карантании, Паннонии и на Балканах. Й. Добровский, Е. Копитар и славянская фольклористика.

### **Заявка на проведение тематического блока**

*(на XIII Международном съезде славистов, Любляна 2003)*

1. Национальный комитет славистов:

2. Название тематического блока:

3. Фамилия и имя ответственного организатора тематического блока:

4. Фамилии и имена активных участников тематического блока:

5. Краткое обоснование содержания тематического блока:

6. Краткое изложение проблематики, предполагаемой к обсуждению на тематическом блоке:

7. Дата подачи заявки на проведение тематического блока:

**Срок подачи заявки на проведение тематического блока 1 октября 2001 г.**

**Адрес координатора тематических блоков:**

Проф. Миран Хладник (Miran Hladnik)  
Slovenski slavistični komite  
Slavistično društvo Slovenije  
Filozofska fakulteta  
Aškerčeva cesta 2  
SI – 1000 Ljubljana  
e-mail: miran.hladnik@guest.arnes.si

**КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ****О Б З О Р Ы**

© 2001 г.    А.И. ДОМАШНЕВ

**ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ НЕМЕЦКИХ СОЦИОЛЕКТОВ**

Одной из важнейших проблем, изучаемых современной социолингвистикой, является проблема социальной дифференциации языка на всех уровнях его структуры, и в частности взаимосвязей между языковыми и социальными структурами, имеющими многоаспектный и опосредованный характер. Структура социальной дифференциации языка предстает многомерной и включает как стратификационную дифференциацию (совокупность форм существования данного языка), обусловленную разнородностью социальной структуры "коллектива сношений" (А. Бах) – носителя языка, так и ситуативную дифференциацию, обусловленную многообразием социальных ситуаций.

Известно, что любой исторически сложившийся, функционально развитый язык является не монолитным и представляет собой достаточно сложную, иерархически организованную многоступенчатую систему – совокупность форм, в которых он бытует и проявляется. Говоря об этом, мы обычно исходим из того, что любому носителю языка, принадлежащему к данной языковой общности, естественным образом известно, что один и тот же язык может быть использован по-разному, в зависимости от говорящих и слушающих (коммуникантов), а также от обстоятельств, времени и места, одним словом, в зависимости от того, что определяется как различные социальные и коммуникативные (интеракционные) условия общения.

С позиций социальной лингвистики исследователю всегда представляется важным определить, какие подсистемы неизбежно формируются в таком функционально развитом языке и в каком отношении они находятся к общественным группам социума – носителя языка. Следовательно, речь идет о взаимоотношениях языковых и общественных структур в рамках единой языковой и социальной общности или, по определению А. Баха, в "коллективе сношений" (Verkehrsgemeinschaft) [Bach 1950: 23].

Говоря о современном немецком языке, исследователи отмечают, что следует различать несколько видов (Arten) подсистем или вариантов, которые можно объединить в три группы: д и а т о п и ч е с к и е (diatorpische) варианты, образующие иерархическую совокупность наддиалектных формаций языка – региолекты, сложившиеся в результате взаимодействия предельных уровней национального языка: литературного языка и местных диалектов; д и а с т р а т и ч е с к и е (diastatische) образования, объединяющие разнообразные социальные варианты языка – социолекты; д и а ф а з и ч е с к и е (diaphasische) группы, образующие собой иерархию ("вертикаль") стилистических слоев (Stilschichten) или стилистических уровней (Stilebenen) современного немецкого языка [Schlieben-Lange 1991: 89], и определяемые нередко в качестве диаситуативных (diasituative) групп лексики или ситуолектов (Situolekte) [Dittmar 1997: 206].

Границы между выделяемыми группами лексики (диатоническая, диастратическая, диафазическая) часто оказываются достаточно подвижными, вследствие чего можно

наблюдать плавное перетекание элементов языковых образований (вариантов) из одной группы в другую. Так, лексические единицы региолектов, например, лексика «городских диалектов или, иначе, "урбанолектов", могут оказаться предметом рассмотрения в составе различных социолектов, а при анализе диафазических образований мы нередко сталкиваемся с языковым материалом, относящимся к различным социальным пластам лексики национального литературного языка, т.е. к его диастратическим вариантам, что обусловлено их взаимопринадлежностью единой системе леварного состава языка.

Стремясь к большей научной строгости при определении системы вариантов или подсистем исторически сложившегося языка, К. Набрингс, основываясь на мнении Э. Косериу, предлагает включить в число таких обобщающих групп еще одну, называемую диахронической (*diachronische*), благодаря чему можно будет проследить исторические этапы развития соответствующих явлений системы языка [Nabrings 1981]. Безусловно, с помощью этих четырех измерений (*Dimensionen*) может быть создана достаточно надежная система координат, позволяющая устойчиво классифицировать различные языковые явления, но при анализе системы современного языка важными и абсолютно достаточными оказываются первые три из названных "измерений": диатопические, диастратические, диафазические образования (варианты).

Диастратические образования – социолекты современного немецкого языка – являются одной из наиболее многочисленных и разветвленных языковых (лексических) группировок; однако среди лингвистов до настоящего времени нет единства мнений относительно самих квалификационных признаков, на основании которых то или иное явление может быть отнесено к данной группе. Один из общих тезисов здесь сводится к тому, что источником их развития является субкультура общества. Так, Б. Шлибен-Ланге, перу которой принадлежат многие оригинальные труды в области социологии немецкого языка, подчеркивала, что в субкультурах всегда развивались языковые подсистемы (*Subsysteme*), идет ли речь о специальных языках (*Fachsprachen*), которые складываются в различных профессиональных группах, или о своеобразных особых языках (*Sonder-und Geheimsprachen*), которыми пользуются в различных сообществах "субкультуры", и к которым, в качестве примера, она относит воров, солдат, учеников (*Gauner, Soldaten, Schüler*). Такие языки изначально (*von vornherein*) предназначены для укрепления "внутренней солидаризации" (*innere Kohäsion*) между членами этих сообществ, а также внешнего отграничения (*Abgrenzung nach außen*) от посторонних [Schlieben-Lange 1991: 89–90]. Можно допустить, что Б. Шлибен-Ланге не собиралась представить подробный перечень немецких социолектов, но, пожалуй, никак нельзя согласиться с тем, что к группе тайных языков (*Geheimsprachen*), к которой, безусловно, принадлежат различные воровские аргы, с помощью которых члены таких сообществ пытаются оградить себя от непосвященных, она относит, как мы могли видеть, и солдатский жаргон, и специфическую лексику учащихся. При этом следует заметить, что Б. Шлибен-Ланге не впадает в какое-то личное заблуждение, а разделяет, очевидно, подобные взгляды других исследователей. Так, автор энциклопедического справочника немецкого языка В. Кёниг также полагает, что к социолектам, в первую очередь, следует отнести различные особые или специальные языки (*Sondersprachen*), к числу которых, по его мнению, принадлежат лексические группы ("языки") учащихся, молодежи, студентов, хиппи, люмпенов и бездельников (*Gammler*), обитателей тюрем. Характерной особенностью таких языков, по его мнению, является то, что все они способствуют "интеграции" членов данного сообщества и их изоляции (*Abschließung*) от внешнего окружения, а также служат средством идентификации при приеме других лиц в состав сообщества. Перечисленные группы В. Кёниг, ссылаясь на Г. Баузингера, называет "контр-языками" (*Kontrasprachen*), так как они предназначены для языкового обособления от окружающих и противопоставления себя другим [König 1994: 133]. Существенным различием в их взглядах на проблему состава группы специальных языков (*Sondersprachen*) является единственно то, что, в отличие от Б. Шлибен-Ланге, он не называет среди них воровское аргы,

поскольку справедливо считает, что этот жаргон относится к тайным языкам (Geheimsprachen) или, иначе, – das Rotwelsch (ср.-нем. "ложный", "неверный"): язык воров, жуликов, уличных попрошаек (Gauner – und Bettlersprache).

Обобщая сказанное о всей группе немецких социолектов, считаем необходимым подчеркнуть, что авторам так и не удалось адекватно классифицировать различные образования, вследствие чего в едином ряду так называемых закрытых языков (Abschließung nach außen) оказываются язык учащихся, студентов, солдатские жаргоны и воровское арго (Шлибен-Ланге), или, как отмечено, помимо языков учащихся, студентов и молодежи, в одну группу с ними включены жаргоны хиппи, уличных бездельников, обитателей тюрем (Кёниг), тогда как хорошо известно, что ни лексика студентов и учащихся, ни даже солдатские жаргонизмы не направлены на то, чтобы изолировать речь членов таких групп от всех посторонних. Они представляют собой явление сленгового ряда и, по нашему мнению, не могут быть отнесены ни к "контр-языкам" (Kontrasprachen), ни к "тайным языкам" (Geheimsprachen). Неудачи таких подходов можно объяснить, очевидно, тем, что авторы стремились включить все образования в две группы: профессиональные языки (Fach – und Berufssprachen) и так называемые специальные языки (Sondersprachen), к числу которых в общий ряд отнесены и молодежный сленг, и грубоватый солдатский жаргон, и потаенные языки различных корпоративных, асоциальных и преступных сообществ, которые и следует считать "контр-языками" (Kontrasprachen) или "тайными языками" (Geheimsprachen).

Принципиально иной подход к определению понятия немецких социолектов мы находим в работах Н. Дитмара, прежде всего в его книге, посвященной основам социолингвистики [Dittmar 1997]. В ней он достаточно четко ставит вопрос о том, что выявляемые социальные варианты по своему характеру неоднородны и имеют свою иерархическую структуру. Социальные языковые пласты уже в XIX веке были связаны с территориальными диалектами и своими социально мотивированными формами высказываний служили их своеобразным дополнением. Таким образом, Н. Дитмар подчеркивает двойственность характера таких социальных образований: с одной стороны, они представляют собой некий прототип диастратического фактора вариативности (prototypischer diastratischer Faktor der Variation), а с другой – они совместно выступают (kookkurieren) с местными диалектами, т.е. с диатопическими образованиями. Продолжая анализ связей различных видов языковых образований (вариантов), Н. Дитмар обращает внимание на то, что профессиональные и иные групповые языки используются, как известно, лишь в ситуациях корпоративного контакта, а варианты социальных слоев получают свое языковое оформление в прямой зависимости от условий общения, что, как известно, переводит данные отношения в плоскость стилистических (диафазических) измерений. Таким образом, заключает он, неизбежно происходит переплетение (Überlappung) диатопических, диастратических и диафазических факторов, что позволяет согласиться с точкой зрения К. Набрингс, полагающей, что разделение (Trennung) данных социальных измерений (вариантов, языковых образований) имеет лишь эвристическую (heuristisch) ценность, т.е. является логическим приемом отыскания истины и методическим правилом теоретического исследования, а потому для целей устойчивых категориальных классификаций представляется достаточно проблематичным [Nabrings 1981: 89].

Возвращаясь к составу группы немецких социолектов, еще раз отметим, что этот ряд Н. Дитмар начинает с социальных форм речи [Dittmar 1997: 195], к которым, как хорошо известно, в первую очередь относятся так называемые наддиалектные формы языка, сложившиеся в пространстве между исходными диалектами и литературным языком, – о б и х о д н о - р а з г о в о р н ы й я з ы к (Umgangssprache). В ареале немецкого языка Германии обиходно-разговорные формы представляют собой трехчастное иерархически структурированное образование, являясь, по мнению В. Хенцена, своеобразной промежуточной ступенью ("Zwischenstufe") [Henzen 1954: 19]. Нижний уровень этой иерархии, наиболее тесно связанный с местным диалектом, в германистике обычно называют локальным обиходно-разговорным языком (klein-

landschaftliche Umgangssprache). Поскольку эта языковая формация в основном базируется на диалектной структуре и в ней лишь слабо заметно наличие элементов литературного языка, она получила еще и второе название – "полудиалект" (Halbmundart) [Bach 1961: 345]. К этому уровню относятся и так называемые городские диалекты (Stadtmundarten; Stadtsprachen), которые, по понятным причинам, отличаются от (сельских) диалектов окружения. В немецкой социолингвистике эти образования нередко называют также урбанолектами (Urbanolekte) [Dittmar 1997: 193]. Над этим уровнем Umgangssprache располагаются формации, складывающиеся в результате взаимодействия местных диалектов и литературного языка и использующиеся в качестве средства повседневного языкового общения в пределах крупных территорий. В германистике их называют областными обиходно-разговорными языками (großlandschaftliche Umgangssprachen), что соответствует понятию областных говоров (Gebiets-sprachen) [Brinkmann 1962: 113]. И, наконец, третий уровень обиходно-разговорного языка, для которого характерно вытеснение местных диалектов и который наиболее приближен к форме реализации литературного языка, но сохраняет черты местного происхождения и определенное число лексических единиц местного характера, известен под названием литературного (верхненемецкого) обиходно-разговорного языка (hochdeutsche Umgangssprache). Поскольку этот тип речи был характерен в основном для представителей образованных слоев общества, он получил название "обиходный язык образованных" (gebildete Umgangssprache; Gemeinsprache der Gebildeten) [Kretschmer 1969: 10].

Вместе с диалектами, составляющими, как известно, нижний предельный уровень системы форм существования языка, и литературным языком, венчающим все построение, ярусы формаций обиходно-разговорного языка образуют иерархическую вертикаль, понимаемую как социо-функциональная структура [Domaschnev 1981: 332], или как функциональная парадигма немецкого языка [Гухман 1981: 7].

Если справедливы слова о том, что в языке вообще все социально, то наиболее социально детерминированными структурами немецкого национального языка следует считать упомянутые формации системы обиходно-разговорного языка. Именно на это их свойство указал еще в начале нашего века (1918 г.) в своем фундаментальном труде об этих разновидностях немецкого языка П. Кречмер, сказав, что высшая ступень иерархии обиходно-разговорного языка – обиходный язык образованных – находится где-то "посредине между изысканным (geziert) языком (официальным) доклада и полудиалектом народа" [Kretschmer 1969: 11]. Эту мысль позднее развивал в своих статьях Х. Бринкман, когда писал о том, что местный диалект переходит (weitet sich aus) в областной говор, когда ему приходится покидать пределы привычной близости (vertraute Nähe) и вступать в языковой контакт с местными почитаемыми людьми (Respektspersonen) или с посторонними лицами (Ortsfremde), тогда как носители литературного языка переходят к употреблению обиходно-разговорных форм речи, когда оказываются в привычном интимном окружении. Таким образом, продолжает Бринкман, носитель диалекта использует обиходные формы речи при переходе от интимности к дистантности (aus Intimität zu Abstand), тогда как во втором случае мы наблюдаем нечто противоположное – переход от формы языковой дистантности к интимному, неформальному общению [Brinkmann 1962: 113].

Итак, обозначенные выше разновидности обиходно-разговорного языка, будучи неотъемлемыми элементами социо-функциональной структуры национального языка и совокупностью диатопических образований – региолектами, представляют собой один из типов диастратических образований, являясь социальными вариантами – социолектами современного немецкого языка. По характеру своего возникновения они относятся к явлениям субсистемного порядка, но, безусловно, не имеют ничего общего со средой субкультуры, которая, по мысли Б. Шлибен-Ланге, и порождает различные профессиональные и специальные языки. Таким образом, немецкие социолекты – это своеобразный плод влияния, по крайней мере, двух главных "стихий": субсистемных разновидностей (образований) национального языка и "субкультурных" (Шлибен-Ланге)

импульсов социальной жизни общества. По этим двум основным линиям выстраиваются, как будет показано далее, все отношения со стилистической сферой языковых средств (диафазические разновидности системы языка), поскольку языковой материал обиходно-разговорных вариантов по своим эмотивным свойствам тяготеет к нейтральным или слабо экспрессивным оценкам, что дает некоторым стилистам и лексикографам (Р. Клаппенбах) определенные основания считать обиходный язык образованных составной частью слоя нейтральной лексики (normalsprachlich), тогда как для состава других социальных вариантов – различных жаргонов и аргос – характерна стилистическая сниженность: небрежность (salopp), грубость (derb), вульгарность (vulgär) и др. Говоря еще раз о характерных признаках обиходно-разговорного языка, включая и его высшую формацию – обиходный язык образованных, считаем важным подчеркнуть, что это образование не следует так прямолинейно, как это делается в лексикографии Р. Клаппенбах, связывать с уровнем нейтральной нормы литературного языка. По общему признанию (И. Радтке, У. Бихель, Н. Дитмар) эта форма языка, будучи достаточно близкой к этой норме, все же представляет собой образование субстандартного порядка. Добавим к сказанному, что она остается формой устной речи (разговорный язык), которая, в отличие от других, территориально связанных, формаций ("полудиалект", городской диалект, областной говор), используется в качестве надрегионального языка. Об этой формации обиходно-разговорного языка можно сказать, что она близка к уровню реализации нормы и ориентируется на нее (das standardnah gesprochene Deutsch) [Dittmar 1997: 198]. Имея в виду все ярусы обиходно-разговорного языка, У. Бихель еще в начале 70-х гг. писал, что эта промежуточная сфера (Zwischenbereich) занимает пространство между уровнем нормативного немецкого языка (Schriftsprachenähe) и уровнем диалекта (Mundartnähe), не сливаясь с ними [Bichel 1973: 223]. С другой стороны, эти варианты социолекта характерным образом отличаются от других образований данной группы, поскольку никак не связаны ни с профессиональными разновидностями (Fachsprachen), ни, тем более, с некоторыми разновидностями специальных образований (Sondersprachen) с их завуалированной, потаенной и "тайной" лексикой (Kontrasprachen, Geheimsprachen).

Отдельное место в системе немецких социолектов занимает формация сленга. Дело в том, что среди специалистов нет единства взглядов по поводу того, существует ли вообще немецкий сленг, или же подобные речевые высказывания являются частью повседневно-обиходно-разговорного языка (Alltagssprache, Umgangssprache). При этом оставляют без внимания мнение крупнейшего немецкого германиста Г. Мозера, который еще в 1960 г. подчеркивал, что сленг, рассматривающийся как некая форма раскованной, небрежной речи (saloppe Sprechweise) в образованных кругах (in guter Gesellschaft) трактуется некоторыми лингвистами совершенно безосновательно (zu Unrecht) как обычное явление повседневно-обиходного языка. На самом деле – продолжает он – такие речевые высказывания характеризуются наличием у них целого ряда специфических черт, которые отличают их даже от раскованных форм языковой игры (Spiel mit der Sprache), присущей, как известно, и обиходно-разговорному языку. В сленге такой языковой эпатаж, образные и броские речевые обороты, крепкие слова, табуированная лексика – все это доводит "игру с языком" до своеобразного шутливо-дерзкого "жонглирования" самыми различными средствами языка, весь эффект которого построен на "неожиданности" образа сравнения [Moser 1960: 225].

Рассматривая это языковое явление, которое всегда существовало в устной немецкой речи, и только под влиянием английского названия подобных высказываний стало нередко называться и в немецком словом "сленг", В. Порциг [Porzig 1971] отмечал, что люди обычно не придают особого значения подобным языковым высказываниям, которые они нередко могут слышать из уст молодежи. В этих словах нет ничего неприличного, но люди в возрасте обычно сами так никогда не говорят. В основе таких высказываний присутствует гротескное преувеличение, рискованная шутка, балансирующая на грани развязности, и по своей эстетической сущности такие формы языкового поведения не заслуживают поддержки и одобрения, они "небезопасны" для

воспитания правильного языкового вкуса и высокой языковой культуры. Главное же, как считает В. Порциг, состоит в том, что такие обороты всегда семантически "стерты" (abgenutzt), а должное выражение не используется. По ходу своего анализа В. Порциг приводит ряд таких оборотов, которые призваны подтвердить его слова. Так, вместо оборота *enttäuscht (sein)* со значением "разочароваться, расстроиться" употребляется выражение *leise weinend*, а вместо глагола *ärgern* ("злить кого-либо") часто используется фразеологизм *einen auf die Palme bringen*. Эти и многие другие примеры, приводимые В. Порцигом в его книге, призваны, по мнению автора, подтвердить, что здесь мы имеем дело не с нейтральными нормативными языковыми формами, а со словами и высказываниями, характерными определенной социальной среде. Сленгизмы, по убеждению В. Порцига, снимают остроту (entschärft) серьезности объективного мира и становятся публичной (gesellschaftliches) игрой. Обобщая такие суждения автора, следует подчеркнуть, что подобные языковые формы не являются обычной составной частью повседневного обиходного языка. С другой стороны, эти образования играют, по мнению В. Порцига, совершенно иную "социальную роль", чем специальные языки (Sondersprachen), что делает вполне правомерным выделение сленга в немецком языке в качестве отдельного социолекта [Porzig 1971: 253–254], хотя и сегодня это название все еще не стало общепринятым в немецкой лексикологии и лексикографии. Судя по всему, многие немецкие лингвисты склонны традиционно считать, что подобные выражения и обороты речи не составляют отдельной группы и являются частью обиходно-разговорного языка. Так, авторы нового немецкого фразеологического словаря (серия "Дуден", том 11, 1992 г.) приведенный в работе Порцига сленгизм *einen auf die Palme bringen* снабдили в своем словаре пометой "ugs." (разговорный), а помета "сленг" здесь вообще отсутствует. Между тем, в свое время Г. Баузингер обращал внимание на то, что понятие сленга, возникшее еще в прошлом веке (1844 г.) на английской языковой почве, в XX веке стало применяться и в отношении небрежных (nachlässig) форм немецкой обиходно-разговорной речи [Paul 1992: 805], что вполне оправдывает целесообразность выделения подобных форм речевых высказываний в отдельную группу, как это и предлагали в свое время В. Порциг и Г. Мозер. В связи с этим следует напомнить, что когда автор этих строк, участвуя в разработке энциклопедического труда "Sociolinguistics/Soziolinguistik", опубликованного в 1987 г. в издательстве "Walter de Gruyter" (Berlin – New York), выделил сленг в отдельный социолект [Domaschnev 1987: 308–315], то это не вызвало не полемики, ни возражений, в том числе и со стороны Н. Дитмара, лишь отметившего, что другие авторы (Karl Sornig) называют сленгом то, что у Домашнева отнесено к жаргону [Dittmar 1997: 219]. Безусловно, приходится признавать, что установленные критерии определения явлений сленга не всегда учитываются, так сказать, в тонких деталях, а потому шкала оценок остается весьма широкой: одни исследователи относят такие высказывания к раскованным небрежным формам (saloppe Sprechweise) обиходно-разговорного языка (Umgangssprache), а иные видят в таких речевых формах явления жаргонов, различных специальных языков (Sondersprachen). В заключение еще раз подчеркнем, что сленг не следует рассматривать в качестве формы просторечия, в равной мере – и как явление "контра-языка" (Kontrasprachen). Ближе всего он находится к группам так называемых молодежных языков (Jugendsprachen) [Dittmar 1997: 13], которые обычно определяются в качестве вариантов молодежной речи, складывающихся, как правило, в крупных городах (jugendspezifische Ausprägungen der Stadtsprache) [Beneke 1989: 4] и относятся, таким образом, к разновидностям социолектов, известным под собирательным названием "специальные языки" (Sondersprachen). Кстати заметим, что сам Н. Дитмар, открыто не выступая против выделения сленга в самостоятельный тип социолектов, в цитируемой книге включает сленг в группу этих специальных языков [Dittmar 1997: 218], поместив его в одну подгруппу вместе с различными формами аргот – Argot(olekt), ссылаясь при этом на взгляды Э. Радтке [Radtke 1984].

Итак, мы могли видеть, что сленговые образования одни исследователи относят к

явлениям обиходно-разговорной речи, для которой также характерна парадоксальная образность, шутливо-юмористическое сравнение, эмоциональное преувеличение и др., тогда как другие пытаются сблизить или отнести такие разновидности речи к жаргонам или аргю, в зависимости от того, что они сами под этими терминами понимают. В связи с этим уместно напомнить, что четкие линии разграничения бывает провести весьма трудно, тем более, что языковой материал нередко указывает на факты перехода слов и выражений с течением времени из одной группы в другую. Подобные переходы можно нередко наблюдать и в английском сленге, на что указывали в своих работах известные стилисты английского языка в нашей стране М.Д. Кузнец и Ю.М. Скребнев, которые в своем учебнике стилистики английского языка (1960 г.), изданном в 1966 г. в Лейпциге на немецком языке, писали, что со временем некоторые "остроумные" слова и обороты теряют свою оригинальность и становятся заурядными, банальными выражениями. Одни из них становятся элементами "фамильярных" форм обиходной речи, другие же приобретают оттенок стилистической нейтральности, ср. англ.: *sky-scraper* (небоскреб), *movies* (кино), *moh* (чернь, хамье) и др. [Kuznes, Skrebnev 1966: 61].

Разновидностью социолектов являются также профессиональные языки (*Berufssprachen*), которые определяются, в частности, по мнению В. Кёнига, прежде всего не как языки общественно-социальных групп, а как языковые формы, связанные с "разделением труда в современном обществе". Они оказываются, таким образом, разновидностью "социально обусловленных" (*sozialgebunden*) специальных языков (*Sondersprachen*), в отличие от различных "предметно обусловленных" (*sachgebunden*) специальных языков, известных под названием "языки специальности" (*Fachsprachen*), которые, судя по всей логике такого противопоставления, подобной социальной маркированности не имеют [Dittmar 1997: 218]. Несмотря на такое различие, обе эти разновидности чаще всего рассматриваются в рамках одной группы – *Fach-und Berufssprachen*, поскольку понятно, что в целом речь здесь идет о формировании в профессиональной среде специфических для данной области знаний и занятий языковых форм, в которых в определенной степени заметно влияние соответствующей предметно-терминологической лексики [König 1994: 133]. Профессиональные языки (*Berufssprachen*) были определены в свое время Г. Хиртом (Herrmann Hirt, 1865–1936) в его этимологическом словаре (1909 г.) в качестве языков отдельных профессий в отличие от сословных, возрастных языков (*Standessprachen, Sprachen der Altersklassen*) и других подобных языковых образований [Paul 1992: 114], тогда как *Fachsprache* рассматривается как одна из специфических "форм существования общего языка" (*Existenzform der Gesamtsprache*), служащая для "познания и понятийного определения" специфических предметов и явлений данной области, а также языкового общения по поводу этой предметной сферы [Paul 1992: 255]. Обращая внимание на определенные различия между "*Berufssprache*" и "*Fachsprache*", В. Порциг отмечал, что имеется много различных предметно-специальных языков (*Fachsprachen*), одним или несколькими из которых, наряду с "общим языком" (*Gemeinsprache*), многие люди, в зависимости от своей специальности, обычно владеют. Отличие этих языков от других специальных языков состоит, по мнению Порцига, в том, что характер первых определяется самим предметом (*von der Sache her*), а не кругом лиц, входящих в ту или иную группу, их взаимоотношениями и интересами [Porzig 1971: 219].

Говоря о профессиональных и предметно-специальных языках, включая и всю группу специальных языков (*Sondersprachen*), авторы энциклопедического справочника немецкого языка [Agricola, Fleischer, Protze 1969: 567] справедливо подчеркивали, что термин "язык" применительно к рассматриваемым образованиям используется лишь условно и не должен давать повода для ошибочных толкований, так как речь идет не о каких-либо особых языках со своей структурой и общей системой, а о наборе специальных средств лексического и словообразовательного характера (*Fach-und Berufswortschatz*), принадлежащих в своей основе к различным областям терминологии и специализированной лексики (*Sonderwortschatz*). Несмотря на то, что современная

социоллингвистика данные разновидности считает отдельными типами немецких социолектов, в других общих классификациях они традиционно, еще со времен О. Бехагеля (1854–1936), отнесены к обобщенной группе специальных языков, среди которых упоминаются языки солдат, студентов, спортсменов, а также – рыболовов, пчеловодов, охотников, ботаников, лесничих и др. Далее здесь приводятся другие разновидности специальных языков: канцелярский, рыцарский, коммерческий, включая язык цыган, язык ученых, язык науки, язык детей и т.д. [Behagel 1954]. В новейшем типе словарей немецкого языка перечень предметно-профессиональных и иных специальных языков состоит из 182 наименований, среди которых обобщающие названия (Fach-und Berufssprachen; Sondersprachen) отдельно не упоминаются [DUW 1989: 10].

Особую группу социолектов составляют различные жаргоны и аргос. Речь идет о специфических языковых разновидностях, по отношению к которым, как нам представляется, и следует применять характеризующие определения: "контр-язык" применительно к жаргонам и, соответственно, тайный язык (Geheimsprache) для аргос. Однако первоначально необходимо рассмотреть некоторые вопросы, связанные с определением этих двух понятий. Ж а р г о н (франц. jargon) представляет собой некую разновидность речи, используемую преимущественно в устном общении отдельной достаточно устойчивой социальной группой, объединяющей людей по признаку профессии, положения в обществе, интересов или возраста. Таким образом, речь идет о различных языковых образованиях, складывающихся в сообществах людей, которых объединяют производственно-профессиональные или иные общие интересы (геологи, шахтеры, компьютерные программисты, сообщества филателистов, нумизматов и др.), названные в одной из работ Г. Вайнриха эзотерическими жаргонами [Weinrich 1988: 40], а также принадлежность к определенному социальному кругу (жаргон русского дворянства в XIX в.) или к общей возрастной группе (молодежный жаргон) и т.д. В результате постоянного общения в таких сообществах обычно возникают различные слова и обороты, которыми в такой среде нередко заменяются привычные названия предметов и явлений. Для многих из них характерна устойчивая эмоционально-экспрессивная окраска или оценка: ироничность, презрительность, шутливость, одобрительность, негативизм и др. Такие жаргонизмы нередко используются в качестве своеобразных синонимов в профессиональной лексике и в обиходно-разговорной речи. Наряду с этим в самих жаргонах развиваются синонимические отношения и варианты, замещающие различные устаревшие слова и обороты. Чаще всего жаргонные слова являются своего рода вторичными названиями существующих предметов и явлений: если студент чаще всего говорит *Uni* (Universität), школьник называет школу *Penne* (Schule), учителя – *Pauker* (вместо: *Lehrer*), ученика первого класса, "первоклашку" шутливо называют *Griffelfresser*, а в солдатской среде раньше полупрезрительно говорили о военном враче (*Militärarzt*) – *Aspirinhengst*, или солдатского повара вместо *Koch* называют *Küchenbullen*, то такими словами говорящие выражали свое отношение к данным явлениям, используя их в привычной среде. Г. Друбе приводит в книге, посвященной процессам развития лексики в послевоенной Германии, различные факты образования жаргонизмов в профессиональной среде под влиянием англо-американизмов. Так, после перехода военно-воздушных сил ФРГ на стандарты стран НАТО в среде летчиков сложилась новая группа слов, с помощью которой проводился инструктаж пилотов по управлению полетами. Далее мы приводим этот текст: "*Ich fliege leader. Wir machen den climb-out in parade formation. Wenn wir airborne sind und das landing gear hoch is, gibt jeder leader ein thumbs-up for close panels. Wir machen two-interval breaks and final landing. Ich nehme down-wind side. Any questions?*" Безусловно, замечает Г. Друбе, эта "абракадабра" (Kauderwelsch), понятная летчикам, прошедшим подготовку по американской системе, нуждается в переводе на немецкий язык: "*Ich fliege das Führungsflugzeug. Wir machen unmittelbar nach dem Start einen Steilflug im Paraderverband. Sobald wir Bodenberührung verloren haben und das Fahrgestell eingezogen ist, gibt mir jeder ein Zeichen, daß die Instrumente ordnungsgemäß arbeiten. Im Abstand von zwei*

Секунды уменьшаем мы с помощью кривых нашу скорость и садимся тогда. Я беру ту со стороны отклоненную от ветра. Вопросы?" [Друбе 1968: 128–129]. В этом случае мы имеем дело с использованием людьми заимствованной терминологической лексики, различных специальных слов и оборотов речи в своей служебно-профессиональной среде.

Характерной чертой такой лексики является ее подвижность, относительно быстрая сменяемость актуальных вариантов, исчезновение тех или иных жаргонизмов, что чаще всего можно наблюдать в различных подростковых и молодежных лексиконах как в немецком, так и в любом другом языке. Наряду со сменой языковой "моды", причиной таких явлений следует считать социальные процессы в самом обществе. Так, вместе с затуханием в среде молодежи движения хиппи исчезает и их лексика, а новые вкусовые ориентиры в среде подростков сменяют словечки типа устарелого "железно" и более позднего слова "клёво" с иным значением на "модное" в молодежной среде и семантически всеядное словечко "прикольный". Ср. также постепенное затухание интереса к использованию таких русифицированных англицизмов как "шузы" в отношении модной ("западной", импортной) обуви. Использование подобных слов подчеркивает намерение говорящих быть похожими на других в своем кругу, а также, возможно, призвано солидарно дистанцироваться от тех, кто не принадлежит к такому сообществу, но во всем этом нет стремления к тому, чтобы таким образом отгородить свой круг от остального общества (*Abschließung nach außen*), что характерно, как уже подчеркивалось, для формаций арго (*Argot*, *Rotwelsch*). По этой причине жаргоны не следует считать формой "контр-языка", поскольку они попадают в одну общую группу, как утверждает В. Кёниг [König 1994: 133], с лексикой люмпенов и бездельников (*Gammler*), а также с жаргонами арестантов (*Strafgefangene*). Правда, необходимо привести высказывания В. Порцига, считавшего, что все виды жаргонов, в которых мы наблюдаем "завуалированный" характер высказываний (солдатские жаргонизмы и др.), в этом смысле имеют много общего с арго ("*Rotwelsch*"), в котором эта степень "закрытости" доведена до уровня тайного языка ("*die Verhüllung bis zur regelrechten Geheimsprache*") [Porzig 1971: 249]. Однако подобная "схожесть" не дает веских оснований для такого обобщения. При этом необходимо признать, что определенные формы жаргонов не обходятся без того, чтобы не включать в свой состав отдельные аргоизмы, а другие жаргонные слова и словечки имеют весьма размытую семантику, хотя делается это, скорее всего, в поисках непривычных сравнений, альтернативных номинаций, чем из-за стремления "закрыться" от окружающих с помощью "кодированных" слов и выражений – "тайного языка". Так, еще в 70-е годы в среде немецкой молодежи были популярны такие выражения, как *steiler Zahn*, дословно – "крутой зуб" со значением: "attraktives Mädchen", "симпатичная девушка", ныне почти забытые. Ср. также: *Bonzenheber* – *Fahrstuhl* «лифт, который предназначен для удобств "начальников", "бонз"». Конечно, в таких группах слов можно наблюдать определенные сферы сближения жаргонов с аргоизмами, что, возможно, дает некоторым исследователям повод объединять формации специальных языков (*Sondersprachen*) в общую группу, которая у Н. Дитмара [Dittmar 1997: 218–221] получила название "арголект" – *Argot(olekt)*. Что касается жаргонов, то эти формации В. Дитмар склонен рассматривать в одной группе с арго, поскольку, как он полагает, их практически невозможно отделить друг от друга. Правда, он признает, что эти термины были разделены во французской социолингвистике, в результате чего обе группы упомянутых образований там все же изучаются отдельно. Несмотря на это признание, при рассмотрении жаргонов и арго в немецком языке Н. Дитмар, как было отмечено ранее, не находит достаточных аргументов для отдельного их представления в перечне социолектов [Dittmar 1997: 219]. Поскольку и сленг автор относит также к специальным языкам, то оказывается, что общее название *Sondersprachen* для всех рассмотренных в этом разделе образований охватывает всего две укрупненные группы – арголекты и сленг: *Sondersprachen* [Argot(olekt)/Slang]. В связи с этим напомним, что такой подход к классификации немецких социолектов не следует рассматривать в качестве единственной позиции исследователей, о чем свидетельствуют труды таких признанных герма-

нистов как В. Флайшер и др. [Agricola, Fleischer, Protze 1969: 567–579], писавших об этом еще ранее, но и позднее не изменивших своих оценок.

Словом а р г о (Argot или нем. Rotwelsch, франц. argot, англ. cant) в языкознании принято называть особые тайные языки (жаргоны) социально периферийных групп и ограниченных профессиональных сообществ, состоящие "из произвольно избираемых видоизмененных элементов одного или нескольких естественных языков" [Шахнарович 1990: 43]. Такие языки употребляются, как правило, с целью сокрытия предмета коммуникации, а также как средство обособления такой группы от остальной части общества. Термин "арго" чаще употребляется в узком смысле, обозначая способ общения различных асоциальных, деклассированных элементов, распространенный в среде преступного мира (воровское арго и др.). Наряду с этим известны, в особенности в прошлые времена старой России, различные узко профессиональные арго, с помощью которых ремесленники, торговцы и др. пытались сохранять корпоративные тайны своей профессии, ремесла и промысла. Такие разновидности арго называют иногда профессиональными говорками или корпоративными жаргонами, подчеркивая при этом их потаенный, "закрытый" характер, либо нередко причисляют к группе условных языков. Известный исследователь русских условных языков В.Д. Бондалетов в своих многочисленных публикациях о процессах и источниках сложения языков общения в своем кругу ремесленников и торговцев показал, что основой для этого обычно служат различные диалекты, местная обиходная лексика и преднамеренная деформация слов общего языка. Так, "жномо" возникло путем перестановки слогов из слова "можно", а "лекода" означает "далеко" и т.д. В вариантах арго встречаются такие слова, как "зех" – "язык", "кокурник" – "две копейки", "крем" – "мясо", "рыжик" – "золотая монета", "скосать" – "украсть; купить", "жгон" – "катальщик валенок", "упаки" – "валенки", "сары" – "деньги", "шлѣнка" – "иголка", "цельш" – "рубль" [Бондалетов 1980; 1999].

В немецком языке, наряду с термином "арго", наиболее употребительным названием для данных образований остается Rotwelsch, известное еще в XIII в. в отношении языка жуликов и попрошаек (Gauener – und Bettlersprache). Уже в те времена члены различных асоциальных сообществ общались между собой с помощью своеобразных тайных языков, в составе которых были видоизмененные слова из др.-еврейского (Hebräisch) и цыганского языков, смысл которых был непонятен для непосвященных. Со временем некоторые из таких слов проникли в речь отдельных слоев городского населения и стали использоваться в обиходно-разговорном языке: Ganove (идиш *gannav*) – *Gauner*, "жулик", презрительно о преступнике, мошеннике (*Verbrecher, Betrüger*). Кстати, этот синоним используется также в названии данной разновидности арго – *Ganovensprache* в качестве варианта к *Gaunersprache*.

Исследователи отмечают, что для названий предметов и явлений в арго, как и в других системах языка, имеются целые группы синонимических вариантов, с помощью которых можно всегда дополнительно затруднить для посторонних проникновение в смысл высказывания. Со временем определенная часть аргогической лексики через различные жаргоны попадает в обиходную речь и становится общепонятной. Деньги и полиция всегда находятся в поле особого интереса и внимания членов подобных сообществ, поэтому не приходится удивляться большому числу синонимов и вариантов слов, связанных с этой сферой. Так, для слова *Geld*, "деньги" употреблялись такие слова: *Blech, Linsen, Pulver, Zimt, Schotter, Lappen* (Banknoten), часть из которых через различные (молодежные) жаргоны стали известны и в обиходной речи (Alltagssprache), например: *Blech, Pulver*. Некоторые слова этой тематической группы пришли в модифицированном виде в немецкое арго из еврейского языка: *Torf, Kies, Moos, Zaster*. Для названия полиции (Polizei) имелось много "потаенных" слов, которые использовались в различных преступных и асоциальных сообществах: *Polipee, Poloppe, Polypen, Polente*, а также названия, связанные с действиями полицейских: *Greifer, Fänger, Spanner*, либо с внешними признаками полицейских: *Blauer, Geheimer*. Для названия

тюремные также имеется несколько вариантов: *Kitte, Kütte, Kittchen, Knast*, а также ставшее распространенным и в обиходном языке: *die schwedischen Gardinen*, в котором содержится намек на тюремные решетки, перекрывающие оконное и другие пространства внутри помещений [Agricola, Fleischer, Protze 1969: 577]. П. Браун приводит в своей работе также ряд слов из немецкого воровского арготизма: *Äffchen* (Neuling in der Gaunerwelt, "новичок в воровском мире"), *Achtgroschenjunge* (Zuträger der Polizei, Spitzel, "доносчик полиции"), *Belfer* (Aufpasser beim Diebstahl, "стоящий на стрёме"), *Bihengst* (Wäschedieb "вор, крадущий сохнувшее во дворе белье"). Имеются также "студенты-криминалисты" *Kriminalstudenten*, задачей которых является присутствие на судебных заседаниях, чтобы изучать технику ведения слушания дела в суде [Braun 1997: 52].

Обобщая сказанное о лексике арготизма, следует, очевидно, не согласиться с мнением В. Порцига, который, как отмечалось ранее, не видел принципиальной разницы между солдатскими жаргонизмами и арготизмами криминальных и асоциальных сообществ, поскольку и тем и другим свойственна "закрытость" от посторонних, смысловая "завуалированность" высказывания, хотя одновременно признавал, что степень этой "завуалированности" (Verhüllung) арготизма превращала его фактически в "тайный язык" (Geheimsprache). Простое наблюдение показывает, что ироничная жаргонная кличка *Aspirinhengst* ("жеребец с аспирином") в отношении военного врача (Militärarzt) в грубой солдатской речи резко отличается от арготизмов, приведенных выше: *Äffchen, Belfer, Schotter*. А главное, что так точно подметил Н. Дитмар, арготизм и жаргоны различаются тем, что в случае с арготизмом открыто подчеркивается (manifest intendiert) стремление не допускать в свой круг посторонних (Nicht-Gruppenmitglieder auszuschließen), что позволяет поддерживать и укреплять "внутригрупповую идентичность" [Dittmar 1997: 219], тогда как жаргоны формируются, как мы могли видеть, с совершенно иной целью.

"Тайные языки" преступных групп не являются безобидными списками слов для различных лингво-этнографических штудий, но представляют собой нередко известную опасность для общества. Поэтому они тщательно изучаются и фиксируются в полицейских органах, при этом посильную помощь они получают и от лингвистов, исследующих социальные аспекты словарного состава языка. Так, Ф. Клуге в 1901 году опубликовал книгу "Rotwelsch. Quellen und Wortschatz der Gaunersprache und der verwandten Geheimsprachen", а С.А. Вольф издал в 1956 г. в Мангейме словарь "Wörterbuch des Rotwelschen", в котором представил лексику языка арготизма.

Обобщая сказанное о проблемах идентификации и терминологического описания столь разнородных и разнокачественных групп и слоев так называемой сниженной лексики в немецком языке, следует подчеркнуть, что аналогичные сложности можно наблюдать в практике лексикографической интерпретации схожего материала других языков. Так, несмотря на значительный опыт и новые теоретические разработки в русской лексикологии и лексикографии, среди специалистов продолжают споры о границах понятия "жаргон", в особенности, когда этим названием охватывают всю сферу субстандарта, включая сленг и арготизм. Признавая наличие "ожесточенных" споров среди исследователей живой русской речи, В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитина – авторы недавно опубликованного сводного словаря русских жаргонных слов и выражений "Большой словарь русского жаргона", не претендуя, как они сами заявляют во введении, "на решение этих терминологически нерешимых проблем" и, будучи последователями взглядов Б.А. Ларина, который считал жаргоны и арготизм синонимами, включили в состав своего словаря жаргонизмов все слои сниженной лексики, добавив, в развитие идеи Б.А. Ларина о синонимии между жаргоном и арготизмом, в этот ряд и сленг [Мокиенко, Никитина 2000: 7]. Сформулировав в "Предисловии" свои основные "оправдательные" доводы: терминологическая "нерешаемость" (?) данных проблем и сохранение верности идеям научного предшественника, авторы "Словаря" собрали воедино 25 000 слов и 7000 устойчивых сочетаний, назвав все это русским жаргоном. Так, часто фигурирующее в речи наркоманов словечко *абстыга* со значением "абстинентный синдром"

соседствует с шутливо-ироничным сленгизмом *автограф*, означающим "синяк, ушиб, шишка, ссадина; след от поцелуя", а также с "закрытой" или тайной старой лексикой бродячих торговцев-офеней, блатной "феней" арестантов, воров, уголовников: *бусать* "пить спиртное"; *бугать* "подбрасывать кому-либо бумажник при совершении кражи"; *костер* "город"; *ловак* "лошадь" и др.

Признавая, что представленное "словесное многоцветье" является разнородным, авторы пошли на беспрецедентно расширительное толкование понятия "жаргон", о чем можно только сожалеть, так как подлинная задача состояла не в отказе от уже существующих классификаций всех таких лексических пластов языка, а в поиске отдельного обобщающего названия, под "крышей" которого могли бы найти место и собственно жаргоны, и сленг, и арг. Так, М.М. Маковский называет эти образования социальными диалектами [Маковский 1982], тогда как в германистике ныне приняты термины "социолекты" или "диастратические образования", которые используются и в данной работе. Безусловно, среди немецких лексикографов существуют различные мнения по поводу терминологической интерпретации тех или иных образований, но это представляет собой совершенно иную проблему.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бондалетов В.Д.* 1980 – Условные языки русских ремесленников и торговцев. Словопроизводство. Рязань, 1980.
- Бондалетов В.Д.* 1999 – Новые материалы по лексике жгонского аргю // Лексика и лексикография. Сборник научных трудов. Вып. 10. М. [ИЯ РАН], 1999.
- Гухман М.М.* 1981 – Введение // Типы наддиалектных форм языка. М., 1981.
- Маковский М.М.* 1982 – Английские социальные диалекты. М., 1982.
- Мокиенко В.М., Никитина Т.Г.* 2000 – Большой словарь русского жаргона. СПб., 2000.
- Шахнарович А.М.* 1990 – Аргю // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Agricola E., Fleischer W., Protze H.* 1969 – Die deutsche Sprache. Kleine Enzyklopädie in zwei Bänden. Bd. I. Leipzig, 1969.
- Bach A.* 1950 – Deutsche Mundartforschung. Ihre Wege, Ergebnisse und Aufgaben. Eine Einführung. 2. Aufl., Heidelberg, 1950.
- Bach A.* 1961 – Geschichte der deutschen Sprache. 7., erw. Aufl., Heidelberg, 1961.
- Behaghel O.* 1954 – Die deutsche Sprache. 11. Aufl., Halle (Saale), 1954.
- Beneke Ju.* 1989 – Die Stadtsprache Berlins im Denken und Handeln Jugendlicher. Berlin, 1989.
- Bichel U.* 1973 – Problem und Begriff der Umgangssprache in der germanistischen Forschung. Tübingen, 1973.
- Braun P.* 1997 – Personenbezeichnungen. Der Mensch in der deutschen Sprache. Tübingen, 1997.
- Brinkmann H.* 1962 – Hochsprache und Mundart // Wirkendes Wort. Sammelband 1. Sprachwissenschaft. Düsseldorf, 1962.
- Dittmar N.* 1997 – Grundlagen der Soziolinguistik – Ein Arbeitsbuch mit Aufgaben. Tübingen, 1997.
- Domaschnev A.* 1981 – Begriff der sozial-funktionalen Sprachstruktur in der sowjetischen Germanistik // Akten des VI. Internationalen Germanisten-Kongresses Basel 1980. Bern; Frankfurt; Las Vegas, 1981.
- Domaschnev A.* 1987 – Umgangssprache/Slang/Jargon // Sociolinguistics. Soziolinguistik. Ulrich Ammon / Norbert Dittmar / Hrsg. von K.J. Mattheier, Erster Halbband. Berlin, New York, 1987.
- Drube H.* 1968 – Zum deutschen Wortschatz. Historische und kritische Betrachtungen. München, 1968.
- DUW* 1989 – Duden Deutsches Universalwörterbuch A – Z. 2., völlig neu bearb. Aufl. Günther Drosdowski (Hrsg.). Mannheim; Wien; Zürich, 1989.
- Henzen W.* 1954 – Schriftsprache und Mundarten. Ein Überblick über ihr Verhältnis und ihre Zwischenstufen im Deutschen. 2. Aufl., Bern, 1954.
- König W.* 1994 – dtv-Atlas zur deutschen Sprache. Tafeln und Texte. München, 1994.
- Kretschmer P.* 1969 – Wortgeographie der hochdeutschen Umgangssprache. 2., durchges. und ergänzte Aufl. Göttingen, 1969.
- Kuznec M., Skrebnev Ju.* 1966 – Stilistik der englischen Sprache. Leipzig, 1966.
- Moser H.* 1960 – "Umgangssprache". Überlegungen zu ihren Formen und ihrer Stellung im Sprachganzen // Zeitschrift für Mundartforschung. 1960. 27.

- Nabrings K.* 1981 – Sprachliche Varietäten. Tübingen, 1981.
- Paul H.* 1992 – Deutsches Wörterbuch. 9 / vollst. neu bearb. Aufl. von H. Henne und G. Objartel unter Mitarbeit von H. Kämper-Jansen. Tübingen, 1992.
- Porzig W.* 1971 – Das Wunder der Sprache Probleme, Methoden und Ergebnisse der Sprachwissenschaft. 5., durchgeseh. Aufl., München, 1971.
- Radtke E.* 1984 – Die Übersetzungsproblematik von Sondersprachen – Am Beispiel der portugiesischen, französischen und italienischen Übertragungen von Christiane P., "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" // Umgangssprache in der Iberoromania, Festschrift für Heinz Kröll. Tübingen, 1984.
- Schlieben-Lange D.* 1991 – Soziolinguistik. Eine Einführung. 3. Aufl., Stuttgart; Berlin; Köln, 1991.
- Weinrich H.* 1988 – Wege der Sprachkultur. München, 1988.

## РЕЦЕНЗИИ

**Язык о языке. Сборник статей /** Под общим руководством и редакцией Н.Д. Арутюновой. М.: "Языки русской культуры", 2000. 624 с.

Эта очень большая книга примыкает идеологически к серийному изданию "Логический анализ языка", хорошо всем известному и заслужившему репутацию проблемного и интересного, однако сама рецензируемая книга является заранее продуманным автономным произведением совместно работавшего творческого единения.

Именно этот том, в целом, очень важен для всех нас, лингвистов. Он говорит прежде всего о зрелости самой серии, уже способной поставить вопрос о саморефлексии, во-первых, и, во-вторых, о намечившемся повороте в теоретической лингвистике, который вновь возвращает лингвистов к проблеме Языка, а не только языков, и к извечной проблеме Слова, а не только слов. Видно, что лингвистика постепенно привыкает к шкалированной градуальности своего объекта и мучительно ищет способы ее описания.

В этом коллективном труде – 21 статья (или глава). За ними стоит большая работа, много размышлений и, несомненно, долгий этап семинарских дискуссий и обсуждений. Очевидна и направляющая роль руководителя темы Нины Давыдовны Арутюновой. В книге очень много важных наблюдений и интересных и свежих обобщений. Поэтому рецензия на такую книгу неизбежно должна быть "взглядом с птичьего полета", иначе получится "книга о книге".

Первое, что можно сказать об изучаемом авторами материале, это то, что в глубокой древности номинации были диффузны семантически, употребления слов пересекались, понятный пол "языка" сближалось с другими полями и в течение многих и многих веков шла постепенная семантическая секуляризация номинаций. Но сложность в том, что наше употребление не есть забвение былого, но осколки прежнего почти нерасчлененного целого повсюду обнаруживаются – в застывших идиомах, в окказиональных употреблениях, в просто-

речии, диалектах. в фактах близко родственного языка и т.д. По этому поводу хочется привести замечательную цитату из работ В.И. Абаева: "каждый язык в своей грамматической и лексической структуре влачит в десемантизированном виде обрывки и ключья мировоззрений прошлого, в сильнейшей степени замаскированные и перепутанные процессами технизации" [Абаев 1995: 61]. Можно лишь добавить, что и "в семантизированном" тоже.

Это наблюдение о первоначальной размытости понятийного поля речевого, оставляющей след и при позднейшей секуляризации терминов, – вывод, общий для всех авторов сборника. Ср.: «Слова, относящиеся к полю говорения, в этимологической перспективе обнаруживают: а) размытость границ (не существует водораздела, отделяющего "слово" от "речи", "говорить" от "звучать" и т.д.); б) глубокие связи с многими другими семантическими полями; в) значимость для реконструкции культуры» (К.Г. Красухин. "Слово, речь, язык, смысл: индоевропейские истоки", с. 42); «"Бытие", "мысль" и "речь" оказываются связанными воедино, и язык при этом является той данностью, в которой отражаются и мышление, и бытие» (Н.П. Гринцер. "Лингвистические основы раннегреческой философии", с. 56); "Состояние, которое отразили памятники русской письменности XI–XVII вв., характеризовалось максимальной недифференцированностью слов и их иными, чем в настоящее время, взаимосвязями" (И.И. Макеева. "Языковые концепты в истории русского языка", с. 155); "Итак, живая и мертвая метафоры слова язык взаимодействуют между собой причудливым образом, иногда трудно бывает утверждать наверняка, что в данном употреблении слова язык метафора скорее мертва, чем жива, а не наоборот, или, точнее, что она ни жива, ни мертва" (В.З. Демьянков. "Семантические роли и образы языка", с. 241); "Между

перечисленными типами не проходит четких границ" (Н.Д. Арутюнова. "Показатели чужой речи *de, дескать, мол.* К проблеме интерпретации речеповеденческих актов", с. 449); «Все рассмотренные слова многозначны, их значения диффузны и "зацепляют друг друга" как внутри каждого слова, так и внутри группы слов» (С.Е. Никитина. "Лингвистика фольклорного социума", с. 594).

Подобные трудности хорошо известны всем, кто занимается языками родственными, когда одно и то же слово в одном языке означает одно, в другом – другое, может принадлежать разным частям речи, разным стилям и под. Наконец, речевая доминанта синонимического круга может в родственных языках не совпадать. В этом отношении выделяется своей удивительной четкостью (при осознании размытости общего поля) статья С.М. Толстой "Славянские параллели к русским *verba* и *nomina dicendi*", которая выделяет "основное ядро" речевых глаголов в славянских языках: \**govoriti*, \**kazati*, \**rekti*, \**mъlviti*, \**povēdati/povēdeti* и группу периферийных глаголов, после чего подробно обсуждает происхождение каждого из этих глаголов и их иерархическое место в славянском мире в целом и для каждого языка – в отдельности, представляя в конце статьи удобную для пользования таблицу-обобщение. То есть эту методически неприятную размытость понятийного поля С.М. Толстая сознательно делает изначальным теоретическим центром своих изысканий.

Однако очевидно, что при изучении поля речи авторы – лингвисты-профессионалы имеют дело с чем-то иным, чем в случае других, как будто бы так же размытых полей, с какими многие из них имели дело, работая над выпусками группы "Логический анализ языка". Поэтому кажется естественным и выход в ряде статей на почти художественное описание объекта, почему-то не поддающегося привычному лингвистическому анализу. Так, у Г.Е. Крейдлина в статье "*Голос и тон* в языке и речи" читаем: "Голос – это внутренний сколок человеческой души, это одна из самых загадочных и чарующих ее характеристик. В каждодневном гуле голосов мы счастливы различить голоса близких и друзей, голоса, живущие в нас вместе со своими неповторимыми интонациями. Но мы хорошо помним и голоса ушедших, нежность, обаяние и теплоту их интонаций" (с. 481).

Поэтому само название книги – "Язык о языке" – по сути своей также неуловимо

многозначно. Что это – речевые реликты "наивной лингвистики"? Данные современного языка о базовых концептах речевого речения? Можно предложить и здесь самые разные толкования.

Именно поэтому лучше строить рецензионное изложение этой книги не по "порядку" содержащихся в ней статей, а сгруппировав свой текст вокруг двух основных ее "значимостей".

Во-первых, **о чем эта книга?** Во-вторых, **какие в ней используются методы**, ибо здесь о своем объекте пишут высококвалифицированные профессионалы.

Итак, все авторы пишут о языке. О каком? Безусловно, о языке, скорее, устном, так как анализу не подвергаются тексты, буквы, "письмена", графические знаки и под. Даже существенное наблюдение Т. Янко (статья "Глагол *гласить*: от звука к знаку") о том, что глагол *гласить* сейчас в основном применяется именно к письменному тексту, эту данность не меняет. Вспомним однако идею М. Фуко, что в "классическую" эпоху эпистемой был именно мир как текст, который нужно было прочесть единообразным и правильным образом.

Какой конкретный материал анализируется в данной книге? В основном это русско-славянские данные с добавлением фактов из Ветхого Завета (С.А. Ромашко. "Язык и речь в Ветхом Завете"), фактов индоевропеистики (К.Г. Красухин) и сведений из античной грамматики (Н.П. Гринцер). Из этих трех статей извлекаются некие три начала: из статьи К.Г. Красухина сразу же возникает первоэлемент – Слово, этимологически связанное и со "слава" и "слушать/слышать" (к нему восходит наш *колокол* и ст.-сл. *глаголь*). Итак, Слово – "порождение двух основных актов речевого общения: говорения и слушания" (с. 26). Статья Н.П. Гринцера интересно демонстрирует сложность пути раннеантичных грамматиков, стремившихся к сознательному разделению, секуляризации концептов и единиц языка, преодолевая "наследуемое от мифологического мышления принципиальное неразличение *слова* и *вещи*" (с. 49). С.А. Ромашко исследует особую концептуальную структуру религиозного текста: в Ветхом Завете описывается теология божественной речи, речь Бога существенным образом отличается от речи обычного человека, ибо она "является эманацией божественной сущности". Как видно и по другим текстам, особое отношение к Слово сохраняется где-то и в нашем сознании. Так, нельзя не отметить тонкое замечание И.Б. Левонтиной

(статья "Понятие слова в современном русском языке") о том, что "слово самодостаточно, в нем есть почти все, что вообще есть в речи. Поэтому нет ничего удивительного в том, что слово часто понимается обобщенно – как речь, язык вообще" (с. 300). К этому могу добавить и от себя лично, что, в своих занятиях просодией и интонацией, я пришла к выводу о трех этапах эволюции этого уровня: до-словном (то есть уровне диффузионного квазивысказывания), этапе слова (его многие языки переживают и сейчас) и пост-словном (то есть этапе объединяющих группы слов коммуникативных контуров). Однако большинство лингвистов не могут отойти от некоей изначальности именно слова: так ими понимается "закон Вакернагеля", разного рода замещения, компенсаторные продления и т.д.

Итак, Слово действительно всегда располагается в Начале, имея в виду и наше "наивное" лингвистическое мировоззрение.

Какие **проблемы** рассматриваются авторами книги?

Во-первых, это выявление базового набора лексем, характеризующих "наивный словарь". Их оказывается не так много. Это – существительные: *язык, речь, слово, голос* (из истории языка – *глас*), *тон, значение, смысл*. Это – глаголы: *говорить, глаголать, молвить, гласить, беседовать*. Как будет видно далее, с одной стороны, некоторые из этих базовых концептов рассматриваются в книге на все расширяющемся фоне синонимов, с другой стороны, одни и те же концепты рассматриваются в нескольких статьях. Например, темы исследования Г.Е. Крейдлина и С.В. Кодзасова кажутся очень близкими, почти синонимичными: Г.Е. Крейдлин – "*Голос и тон* в языке и речи", С.В. Кодзасов – "Голос: свойства, функции и номинации". Однако эти статьи – о разном. Если так можно выразиться, для Г. Крейдлина голос и тон – это феномены нашего сознания, он описывает их как два ментальных концепта, а также их роль в коммуникации, их жизненную важность. Для С. Кодзасова существует "план выражения" голоса и тона – в том виде, как он воплощен в языке, важен перцептивный и прагматический аспект голоса и тона в их звуковом воплощении.

Во-вторых, авторов интересует эволюция концептов – иногда в достаточно большом историческом диапазоне. Так, много неожиданного для русиста, занимающегося современным языком, являют очень большие (наверное, самые большие в книге) работы

И.И. Макеевой: "Языковые концепты в истории русского языка" и "Концепт *слово* в истории русского языка" (в соавт. с С.В. Дегтевым). Из этих статей мы узнаем не только то, с какой быстротой семантика компонентов какого-нибудь понятийного поля, если использовать одно из любимых выражений Ю.М. Лотмана, "танцует кадрили" (так, *говорити* означало "шуметь", "свидетельствовать", а также "читать"; *слово* и *речь* были гораздо ближе друг к другу и др.), но и то, насколько реальны в нашем сознании эти "обрывки и клочки", о которых писал В.И. Абаев (так, многие смысловые компоненты древнерусской коммуникации существуют, будучи запрятыми в идиомы и клишированные обороты: *Вид его говорил о грубости* и т.д.). Оказывается также, что можно определить и аксиологию древнерусской речи: позитивно отмечается тот речевой акт, который не является длительным и не содержит повторов (с. 83). Сравнить с этим можно и интересное замечание С.А. Ромашко об общей установке на "нериторичность" древнееврейской коммуникации. К статьям И.И. Макеевой и С.В. Дегтева примыкает и статья Н.Б. Мечковской "Метаязыковые глаголы в исторической перспективе". Эта работа – более общего характера и привлекает данные ряда разных языков; по мнению автора, именно «метаязыковые глаголы являются не только "органической", но и наиболее естественной, "народной" частью метаязыка», а профессиональная лингвистика во многом связана с "обывательскими" представлениями о процессах общения (с. 363).

В-третьих, задачей авторов является демонстрация особенностей метаязыкового поведения анализируемых единиц в разных коммуникативных ситуациях и – более того – создание ими этих коммуникативных ситуаций. Именно эти вопросы обсуждаются в статьях Н.Д. Арутюновой "Феномен молчания", "Показатели чужой речи *де, дескать, мол*". К проблеме интерпретации речеповеденческих актов", а также в ее вводной статье к книге в целом "Наивные размышления о наивной картине языка". Феномен молчания в качестве коммуникативного акта рассматривается в статье Н.Д. Арутюновой детально. Хотя, как она замечает, в некоторых языках молчание, безмолвие и тишина обозначаются одним словом (с. 431), в центре ее работы – именно семиотически значимое молчание, не равное не-говорению и не равное тишине. Молчание – это особый знак, однако не

подлежащий верификации, он ориентирован на ненормативные ситуации, "молчание – не цель, а причина" (с. 423), и эта причина должна быть разгадана. Новое решение "ксенопоказателей" находим и во второй ее статье. Как будто общепринятым являлся тезис о том, что это – показатели чужой речи, цитирующие маркеры. Между тем, как показывает Н.Д. Арутюнова, подобные высказывания нацелены не на передачу "чужих слов", а на передачу "чужого смысла". Более того, они часто ориентируются на скрытый, неявный смысл чужой речи. Существенно и замечание автора о том, что для современной разговорной русской речи ксенопоказатели не характерны (с. 441). Как кажется, это замечание открывает путь к решению проблемы их современных замещений, к новым инновационным возможностям передачи "отстранения от себя слов Другого".

В-четвертых, в центре внимания оказываются уже не наборы различающихся ситуаций, а употребление метаязыковых компонентов в разных коммуникативных социумах: речь идет о статьях С.Е. Никитиной "Лингвистика фольклорного социума", Н.И. Толстого, С.М. Толстой "Имя в контексте народной культуры" (о статье С.А. Ромашко мы уже говорили выше).

И, наконец, в ряде исследований решается достаточно привычная для семантических школ в целом задача различения смыслового содержания двух близких по смыслу лексем. Так, задача различения семантики у пары *речь/язык* решается в статье И.Б. Левонтиной "*Речь vs. язык* в современном русском языке", у пары *значение/смысл* – в статье И.М. Кобозевой "Две ипостаси содержания речи: *значение* и *смысл*", у пары *голос/тон* – в уже упомянутых выше статьях Г.Е. Крейдлина и С.В. Кодзасова.

Вторым важным для обсуждения аспектом рецензируемой книги является вопрос о методах, применяемых для получения искомым результатов.

Не имея возможности рассматривать все в этой интересной работе, остановимся лишь на тех методах, которые, по нашему мнению, должны быть выделены особо (об описании метаязыковых единиц через структуру "понятийного поля" мы уже говорили). Выше упоминалось и о приеме выделения этноязыковой лексической "доминанты" у С.М. Толстой.

Наиболее распространенным является у авторов книги прием "дистрибуции" определений, когда разный набор атрибутивов позволяет отделить синонимы или развести

значения многозначного термина. В наибольшей степени этот конструктивный прием доведен до конца у С.В. Кодзасова (его Приложение даже кажется очень удачным пособием для начинающего драматурга: как и в каких ситуациях обозначать тип звучащей реплики), но представлен этот прием и в ряде других статей.

Неожиданно ярко "работающим" оказался прием выделения "вещных коннотаций абстрактного понятия". Он наиболее явно применяется в статье В.З. Демьянкова, сочетающей живость изложения, эффективную наглядность обобщаемых конструкций и очень большую эрудицию. В.З. Демьянков разделяет "язык лингвистический" и "язык органический", то есть "орган речи". Оказывается, что язык лингвистический в своих прямых значениях – это язык-хранилище, это объект-инструмент, это язык-агнс и, наконец, – это язык-сцена. Также неожиданно язык "органический", помимо ожидаемого значения органа во рту, материала для блюда, оказывается языком-станком и языком-колоколом (переносно – это еще и пламя, и часть ботинка). Эта работа соотносится также с исследованиями Е.В. Урысон об "органах видимых и невидимых" в нашей картине мира и стимулирует к дальнейшему продвижению в мир "вещных коннотаций" (В.А. Успенский).

Анна А. Зализняк в этюдах, методически очень изящных, демонстрирует авторские возможности передачи этноязыковых особенностей текста (статья "Глагол *говорить*: Три этюда к словесному портрету"). "Ксенопоказателем", как демонстрируют ее примеры из Л.Н. Толстого, могут быть: *прямая чужая речь + глагол сказать, русская речь + сказать на X языке* Возможны оба предыдущих варианта с добавлением акустической характеристики говорения, адекватной чужому языку. Возможны и более тонкие (через местоимения и под.) способы авторского обыгрывания языковой совмещенности в высказывании.

Если в большинстве статей исследование проводится индуктивно, от непосредственных данных языка, то М.Я. Гловинская (статья "Глаголы со значением передачи информации"), занимаясь языковыми средствами передачи информации, исходит из самой информации, адекватности/неадекватности ее передачи, полноты/неполноты и таким образом охватывает большое количество передающих информацию единиц языка. Подобный подход, как кажется, способен обеспечить большую адекватность материала, чем, быть может, прием индук-

тивный, когда исследователь идет от списка глаголов к передаваемой информации. Но чтобы ему следовать, лингвисту необходима проработанность сопоставляемой системы, которая в конкретном данном случае у автора есть. Так, М.Я. Гловинская, резюмируя, сообщает о том, что глаголы соотносятся: с новизной информации, ее актуальностью, важностью события, тайностью информации, ее временной ориентированностью и т.д. Глаголы рассказывают нам о статусе информации, ее полноте, характеризуют предмет сообщения, субъект речи, ее адресата, соотносительные статусы субъекта речи и адресата, а также оценку факта передачи информации со стороны говорящего (с. 414–416). Работа М.Я. Гловинской коррелирует с широко известными классификациями речевых актов лишь косвенно, поскольку они направлены не на информацию как таковую, а на намерения участников акта ее передать. Между тем, в самых последних комплексных исследованиях о происхождении языковых систем и эволюции протоязыков именно задача передачи информации начинает полагаться основной пружиной "языкового взрыва".

Специфическим параметром исследовательского оттапливания является и коммуникативная сфера, коммуникативное задание в статьях Н.Д. Арутюновой ("Феномен молчания" и "Показатели чужой речи *de, дескать, мол.* К проблеме интерпретации речеповеденческих актов"), о которых мы говорили выше.

Итак, несомненно, что детальное знакомство с этой книгой необходимо для всех, кто считает себя лингвистом. Оно не только необходимо, но и увлекательно. В целом же создается впечатление, что, как ни странно, для лингвиста наиболее надежно-конструктивным оказывается исследовательский путь, начинающийся "извне", за пределами собственно языковых фактов. Но, с другой стороны, прямое обращение к туманным и не всегда различаемым образам, идущим из далекого прошлого, помогает не предсказанным ранее интуитивным находкам и делает строгих профессионалов почти поэтами (на самом деле, это обращение к нестрогому и вдохновенному описанию есть, вероятно, иногда верный путь приближения по адекватности к объекту).

Некоторые дискуссионного характера вопросы все же возникают. Ряд из них носит принципиально-терминологический характер.

Например, судя по статье С.Е. Никитиной, не совсем ясно, что такое "фольклор-

ный социум", поскольку в этой работе обсуждаются: материал духовно-религиозного свойства (секты), тексты былин и просторечные записи. Насколько можно судить, основные языковые концепты в псалмах сектантов совпадают с общехристианскими трактовками: Бог есть Логос, Христос есть Слово и далее. Многие совпадают также и с далекими по времени данными С.А. Ромашко, и это вполне ожидаемо. Но тогда встает очень серьезный вопрос: можно ли тексты религиозного характера считать фольклором, если даже они и бытуют в "народном исполнении", и где грань между "народной" и общеконфессиональной традицией? Можно ли считать, например, ведийские гимны фольклором? Возможно, нет – так же, как различаются герой культурный и герой традиционный, как различаются миф и сказка и так далее.

Довольно сложным теоретически представляется вопрос о статусе так называемой "наивной лингвистики". Поскольку практически все феномены Универсума именованы (а именно сейчас имеет место взрыв интереса к возникновению протоязыка и к ономатам-именователям – тема, практически запретная уже более столетия), то тогда все оказывается компонентами какой-нибудь "наивной науки". Например, если сейчас будет сказано: *Смотрите, уже звезда на небе появилась!*, то получится, что мы ударяемся в "наивную астрономию", поскольку это, возможно, и не звезда, а планета, астероид, черная дыра и вообще что-то астрономически сложное. Однако в данном случае говорить о "наивной лингвистике" действительно можно, так как речь в книге идет только о толковании (в синхронии и в диахронии речеупотребления) именно базовых слов, соответствующих концептам лингвистики как науки. По результатам исследования видно, что человеческий социум все время перестраивал и перераспределял семантические функции базовых термов, которые совпадают со словами естественного языка. Таким образом, мы имеем право говорить о том, как язык постепенно описывал сам себя, и о том, какую эту роль играло в человеческой коммуникации (об этом написано и в Предисловии к книге).

Сначала я не смогла также понять, что же такое может быть "семиотическое значение" слов (термин, встречающийся в целом ряде статей). Поскольку значение – это семантика, а семантика – это часть семиотики, а сам язык – это знаковая система, то сочетание "семиотическое значение" ка-

жется терминологическим нонсенсом. Создавалось впечатление, что это бывшее "переносное" значение. Впоследствии я поняла, что "семиотическое значение" – это НЕ-прототипическое, но характеризации этого понятия в книге нет.

Немного странно, что статья С.М. Толстой, рассказывающая о глаголах речи в современных славянских языках, помещена почему-то в разделе "Историческая перспектива".

Что же можно сказать в заключение? Только то, что эта замечательно интересная

книга сбивает спесь с нас, лингвистов, и зовет переходить от стерильных схем к мнящему хаосу языковой реальности.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Абаев В.И. 1995 – Понятие идеосемантики (1948 г.) // В.И. Абаев. Избранные труды. Т. 2. Общее и сравнительное языкознание. Владикавказ, 1995.

*Т.М. Николаева*

**Фортуатовский сборник.** Материалы научной конференции, посвященной 100-летию Московской лингвистической школы 1897–1997 гг./Отв. ред. Е.В. Красильникова. М., 2000. 352 с.

"Фортуатовский сборник" содержит изложение материалов конференции, посвященной 100-летию Московской лингвистической школы (МЛШ). Конференция проходила 17–20 октября 1995 года. Наряду с работами московских языковедов, в сборнике представлены работы лингвистов из Санкт-Петербурга, Казани, Новгорода, Тарту, Тулы, Махачкалы, Екатеринбурга, Красноярска и других городов.

Сборник содержит как статьи выдающихся ученых старшего поколения, так и материалы нового поколения исследователей. Особого внимания заслуживают впервые опубликованная статья А.А. Реформатского "МФШ (Московская фонологическая школа)" и план-программа М.В. Панова "Московская фонологическая теория сегодня", отражающая основные направления фонологических исследований. Программа органически завершает сборник, намечая перспективы дальнейшей научной работы в области фонетики и фонологии.

Рождение МЛШ принято относить к 1897 году, поскольку именно в это время вышли труды Ф.Ф. Фортуатова, ознаменовавшие новую веху в истории развития науки о языке. Главным в концепции Ф.Ф. Фортуатова было понимание языка как системы отношений между единицами и учение о форме слова, которая понималась как "способность отдельных слов выделять из себя для сознания говорящих формальную и основную принадлежность слова" [Фортуатов 1956: 137].

По этой причине Московская лингвистическая школа, называемая также ф о р т у н а т о в с к о й, нередко обозначается как Московская ф о р м а л ь н а я ш к о л а. Отличительная черта этой школы – гла-

венство системы отношений между языковыми единицами над материальными их сходствами и различиями, собственно языковых связей над внеязыковыми. "Когда возникает конфронтация между материальной данностью и функциональными сближениями, – указывает М.В. Панов, – фортуатовцы выбирают функцию" [Панов 1995: 10]. Более того, "пафос научных исследований Ф.Ф. Фортуатова – поиски тех отношений между единицами языка, которые определяют функционирование единиц" [там же: 15]. Отсюда еще одно название школы – М о с к о в с к а я ф у н к ц и о н а л ь н а я ш к о л а.

В центре лингвистических исследований Московской школы стоит изучение фонологического яруса языка. Наиболее последовательно основные принципы и положения МЛШ были продемонстрированы в области фонологии. Концепция Московской фонологической школы, становление которой можно отнести к 30–40-м годам XX века, является основополагающей в научном наследии Московской лингвистической школы. Не случайно в нескольких статьях сборника приводятся слова Р.И. Аванесова: "Фонология не только область языкознания, но и способ лингвистического мышления, элемент лингвистического мировоззрения" [Аванесов 1974: 8]. Именно так понимается фонология в Московской формальной (фортуатовской, функциональной, фонологической) школе (МФШ).

Сказанное объясняет как видное место, которое занимает в сборнике раздел "Фонетика. Фонология", так и обращение к основным положениям фонологии не только в указанном разделе, но и в большинстве других. В разделе "Морфология" само за

себя говорит название статьи Л.Н. Булатовой "О московской фонологической теории с позиций морфолога". Эпиграфом к этой статье взяты слова из дневника 1975 г. А.А. Реформатского: "Сейчас болею морфологией. Но, конечно, на базе фонологии". В этом же разделе в статье Ю.П. Князева "Сильные и слабые позиции видового противопоставления" ставится задача воспользоваться "ключевой для Московской фонологической школы" «идеей различения "сильных" и "слабых" позиций» для того, чтобы отразить "различия в степени противопоставленности грамматических единиц и в то же время связать их с присутствием (или отсутствием) соответствующих элементов в окружении этих единиц" (с. 135).

Среди статей, объединенных общей рубрикой "Языковые подсистемы. Стилистика", есть статья Е.А. Некрасовой "О понятии сильной и слабой позиции в лингвистилистике", где автор, руководствуясь идеями В.Д. Левина и М.В. Панова, использует фонологические представления о сильной и слабой позиции применительно "к сфере действия ряда тропов в стихотворной речи" (с. 203). В разделе "Диалектология. История языка" Н.Н. Пшеничнова (статья "Аванесовские традиции Московской диалектологической школы") показывает, что фонологическое мышление Р.И. Аванесова "не могло не отразиться на идеях, которые легли в основу диалектологической теории" Московской диалектологической школы (с. 223–224).

Разумеется, с фонологией так или иначе не могут не быть связаны остальные разделы сборника: "Орфография", "Общие вопросы лингвистической теории", "Лингвистическая теория в школе и в вузе", "Из истории МЛШ". Таким образом, вполне закономерным является обозначенное в конце сборника М.В. Пановым направление лингвистических исследований, связанное с «изучением грамматики методами "московской" фонологии» (с. 347)<sup>1</sup>.

В "Фортуновском сборнике" рассматриваются и по-новому освещаются самые разные лингвистические проблемы. К числу их относятся описание единиц, формирующих языковые ярусы; межъярусные связи в языке; типы чередований языковых единиц и анализ позиционных условий их реализации; нейтрализация; проблема признаков языковых единиц; разграничение понятий системы и структуры языка; соотношение

сегментной и суперсегментной фонологии; типы научно-лингвистической транскрипции.

«Главное в МФШ, — отмечает О.С. Широков в статье "Принципы и методы МФШ в применении к разным ярусам различных языков", — это учение о разного рода чередованиях... в которых проявляются структурные... связи разных языковых явлений» (с. 248). Соответственно одним из центральных понятий в МФШ является понятие позиции, которая определяет результаты чередования языковых единиц.

Разбору понятия позиции, характеристике и классификации типов позиций посвящены многие статьи сборника. Применительно к сегментной фонетике этот вопрос особенно детально рассматривается в статьях М.Л. Каленчук "О расширении понятия позиция" и Р.И. Лихтман "О фонетической позиции".

М.Л. Каленчук обращает внимание на ситуации, когда одна и та же фонема реализуется разными звуками в одной и той же фонетической позиции "в случаях синхронного сосуществования орфоэпических вариантов: *e*[с'л']*и* и *e*[сл']*и*, *pa*[ш'ч']*есать* и *pa*[ш':]*есать*" (с. 27), и делает вывод, что "в формулировку позиции надо включать любые языковые факторы, способные предопределять реализацию фонемы тем или иным звуком — фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные, графические" (с. 31). В статье ставится задача создания принципов вероятностной фонологии в целях адекватного описания русского произношения.

Классификация позиций, данная Р.И. Лихтман, предполагает различение собственно фонетических, фонетико-морфологических, фонетико-грамматических и фонематических позиций. В фонетико-морфологических и фонетико-грамматических позициях фонетическое воздействие на реализацию фонемы корректируется соответственно морфонологическими и грамматическими факторами. Выделение фонематической позиции является абсолютно новым положением и позволяет адекватно описать результаты позиционной мены звуков, обусловленные не фонетическим, а фонематическим (фонемным) окружением. К числу их, с точки зрения автора, относится, например, позиционная мена твердых согласных на мягкие перед реализациями фонемы (е).

Противопоставление фонетических и фонематических позиций дает возможность объяснить отмеченное А.А. Реформатским

<sup>1</sup> Во многих аспектах эта задача уже решена в книге М.В. Панова "Позиционная морфология русского языка" (М., 1999).

произношение [зф] в словах типа *резв*, *резв*, а также произношение [зк] в словах типа *брызг*, *виzg*. Реализация ⟨з⟩ во всех этих случаях имеет место перед глухими звуками, но перед звонкими фонемами ⟨в⟩ и ⟨г⟩. Значит, она "обусловлена следующей фонемой вопреки реализующему ее аллофону" (с. 37).

В статье Л.Л. Касаткина "Парадокс П.С. Кузнецова – М.В. Панова. Фонема или морфонема?" проблематика позиций и позиционного чередования звуков рассматривается применительно к ситуации, когда перестает действовать фонетическая закономерность, однако по-прежнему действует фонетическая модель. Подобное явление встречается как в диалектах, так и в современном русском литературном языке. В последнем случае в качестве примера приводятся чередования ударных и безударных гласных после шипящих и мена твердых согласных на мягкие перед ⟨е⟩. Л.Л. Касаткин указывает, что процесс перехода фонетических позиций в морфологические может быть длительным. На промежуточном этапе чередование звуков, относящихся к одной фонеме, переходит в чередование звуков, реализующих разные фонемы, однако оно может быть обусловлено не морфологической позицией, а "фонетической моделью, то есть позицией фонетической" (с. 24). Для описания этого лингвистического явления Л.Л. Касаткин предлагает по-прежнему использовать понятие морфонемы, подчеркивая, однако, что она отличается от морфонемы в общепризнанном смысле тем, что "ее место – в фонологии" (с. 25), а не в словообразовании или морфологии. Стремление избегать ввода собственной терминологии характерно для представителей Московской лингвистической школы. Как отмечает М.В. Панов, «это обычай большинства "московских" лингвистов: остерегаться нагромождения научных слов» [Панов 1995: 10]; по этой причине сделанные открытия нередко оставались незамеченными. В последующих работах Л.Л. Касаткина появляется новое терминологическое обозначение. Совокупность звуковых единиц, чередование которых связано с продолжением действия фонетической модели, ученый называет суперфонемой (см., например [Касаткин 2000]).

Понятие позиции рассматривается в сборнике и применительно к суперсегментной фонетике в статье Г.Н. Ивановой-Лукияновой "О позициях в интонации". Позицией при описании интонации автор считает лексико-грамматический

состав фразы. С опорой на работы Е.А. Брызгуновой в статье выдвигается понятие интонымы, которая определяется как единица, представленная "рядом позиционно чередующихся интонационных конструкций" (с. 46). Сильной позицией для интонымы является такая, в которой влияние лексико-грамматического состава фразы на интонацию отсутствует. "В этом случае синтаксическое значение фразы выражается только с помощью интонации" (с. 42); значит, создаются условия для проявления смысло-различительных возможностей интонационных конструкций. Слабая позиция для интоном – это такая, в которых значение фразы выражено лексико-грамматическими средствами. В этом случае интонация играет сопроводительную роль и имеет место нейтрализация интоном. При таком подходе описание функционирования суперсегментных единиц соотносимо с описанием функционирования сегментных единиц и полностью соответствует основным положениям МФШ.

Понятие позиции рассматривается в "Фортуновском сборнике" не только в разделе, связанном с фонетикой и фонологией, но и в статьях, посвященных вопросам морфологии, словообразования, стилистики, диалектологии, теории языка. Оно тесно связано с понятием нейтрализации, подробному разбору которого посвящена статья В.К. Журавлева "Московская лингвистическая школа и теория нейтрализации".

В ряде статей освещается вопрос о месте фонетической системы в общем ярусном устройстве языка. Ее связь с системами значимых единиц подчеркивается в статье К.В. Горшковой "Типы научно-лингвистических транскрипций как отражение развития теоретических идей МФШ". Автор пишет, что фонетическая система, "оставаясь несемантизированной, получает основания входить в структуру языка именно благодаря своей структуре, идентичной структурам значимых единиц – прежде всего морфологической" (с. 10). Этот вывод вытекает из наличия у фонемы в русском языке парадигматического устройства: "фонема структурирована так же, как структурированы значимые единицы... языка" (там же).

В ином аспекте тот же вопрос рассматривается в статье Л.Н. Булатовой, которая считает, что московская фонологическая теория является оптимальной базой для описания морфологического строя языка. Именно с позиций МФШ возможно развести по разным уровням обусловленные

и не обусловленные фонетической позицией различия в звуковом виде грамматических аффиксов. В рамках московской концепции фонем "интуитивно ощущаемое и признаваемое морфологами разных направлений" тождество и нетождество флексий (ср. *женой* и *женщиной*, *ткачом* и *царевичем*, с одной стороны, *глухой* и *тихий* – с другой) "получает теоретическое обоснование": в одном случае фонемный состав одинаков, в другом – различен (с. 110–111).

К числу наиболее важных и неоднозначно решаемых в концепции МФШ проблем относится проблема статуса основной единицы, формирующей фонетическую систему. Ей, наряду с уже упомянутой статьей К.В. Горшковой, посвящены статьи Л.Э. Калынь "Опыт критики концепции МФШ", К.Ф. Захаровой «"Слабые" фонемы предупредного вокализма в русских говорах», В.В. Иванова "Еще раз о фонемном статусе звуковой единицы в фонологически слабых позициях". При этом в статье К.Ф. Захаровой указанная проблема рассматривается в ходе анализа звуковых систем русских диалектов.

В статье Е.А. Брызгуновой "Общее и специфическое в сегментной и суперсегментной фонологии (на материале русского языка)" разграничиваются понятия единицы и средства в области сегментной и суперсегментной фонологии. При этом под единицей понимается "некоторая языковая сущность, обладающая протяженностью и способностью линейно сочетаться с другими одноуровневыми сущностями" (с. 86). Сказанное позволяет как смысловозначительные единицы рассматривать фонемы и интонационные конструкции (соответственно в сегментной и суперсегментной фонетике), а как средства – словесное ударение, центр ИК, место синтагматического членения. Следует особо отметить, что Е.А. Брызгуновой впервые был поставлен вопрос о различении единиц и средств в суперсегментной фонологии. В то же время автор указывает на то, что каждая единица одновременно является и средством, но не наоборот.

Особое место в сборнике занимает проблема признаков языковых единиц. В разделе "Фонетика. Фонология" К.В. Горшковой поставлена задача разработки учения о дифференциальных признаках фонем. Частично ее решение дается в статье О.С. Широкова (раздел "Общие вопросы лингвистической теории"), где показано, что "подобно тому как... альтернанты... объединяясь в одну фонему, выстраиваются в цельную пара-

дигму, так и составляющие эту фонему признаки можно представить в виде парадигмы..." (с. 253)..

Проблема признаков рассматривается и применительно к другим языковым единицам. Так, в разделе "Словообразование" в статье «Опыт логико-семантического анализа префиксальных глаголов (на примере глагола "подслушать")» Н.Б. Лебедева исследует структуру глагола на основе двух признаков: «каузированности/спонтанности ситуации подслушивания и степени "заинтересованности", коррелирующей со степенью "закрытости" информации, нежелательности в подслушивании со стороны Говорящих» (с. 171).

Специальный раздел "Орфография" посвящен осмыслению теоретических основ русского письма. В статье С.М. Кузьминой "Теория письма и Московская фонологическая школа" показана зависимость типа фонографического письма от характера фонетической системы языка, отсутствия или наличия в ней пересекающегося (т.е. приводящего к нейтрализации) типа позиционной мены звуков. Автор формулирует основные задачи по усовершенствованию русской орфографии и указывает, что МФШ "служит научной базой для оценки действующих и альтернативных правил" (с. 97).

В числе проблем грамматики, рассмотренных в сборнике, следует назвать проблему проявления тенденций к аналитизму и агглютинативности в русской грамматической системе (статья М.Я. Гловинской "Тенденция к аналитизму в языке массовой коммуникации"), анализ некоторых закономерностей взаимодействия грамматических категорий в русском языке (статья В.С. Храковского "Взаимодействие залога с лицом и числом при пассивном преобразовании"). Проблемам словообразования наряду с уже упомянутой статьей Н.Б. Лебедевой посвящены статьи М.А. Кронгауза "Приставочный сценарий для глагольной основы" и З.И. Резановой "Семантика и функции деминутивного словообразования".

Изучение стилистики в рамках Московской школы имеет давнюю традицию и восходит к имени А.М. Сухотина. В "Фортуновском сборнике" раздел "Языковые подсистемы. Стилистика" содержит целый ряд статей, в которых разрабатываются ключевые положения МЛШ.

Статьи Е.В. Красильниковой "Эстетические качества разговорной речи" и Л.А. Глинкиной "К проблеме изучения разговорной речи в ретроспекции" написаны с опорой на концепцию М.В. Панова о

разграничении кодифицированного литературного языка и разговорного языка в целях исследования особенностей разговорного языка как самостоятельной языковой системы [Панов 1979: 218–221]. Статья Е.В. Красильниковой посвящена описанию эстетического фактора в реализации русской разговорной речи, а статья Л.А. Глинкиной – отражению специфики разговорного языка в исторических письменных памятниках.

В статье Г.Г. Гиздатов "Судебные речи XIX и XX вв. как феномены истории языка и культуры (в контексте идей поэтики А.А. Реформатского)" отличительные черты судебных речей российского пореформенного суда и суда советского периода выявляются на базе основных положений поэтики А.А. Реформатского. Об этом свидетельствует и подзаголовок к статье. Исследованию ангинонии диглоссии/полифонии в политическом дискурсе посвящена статья М.В. Китайгородской и Н.Н. Розановой "Современная политическая коммуникация: тенденции развития".

Авторы сборника неоднократно обращаются к связям Московской лингвистической школы с другими направлениями лингвистики, сходным чертам и различиям, которые существуют между ними. Наиболее близким к МЛШ направлением принято считать генеративную лингвистику. Общим и специфическим чертам в подходе к анализу фонетической системы языка в рамках этих двух школ посвящена статья Ю.С. Кудрявцева "МФШ и ее дочерняя ветвь – порождающая фонология". В статье отмечается главное, что объединяет МФШ и генеративизм: «постулируется принцип нетождества первоначальной записи ("глубинной структуры") и поверхностного облика морфемы» (с. 268). При этом МФШ возникла намного раньше, чем генеративная лингвистика, возникновение которой принято датировать 1957 годом (выход в свет "Синтаксической структуры" Н. Хомского). Ю.С. Кудрявцев подчеркивает, что к моменту "возникновения генеративизма" мировая фонология имела только одну школу, "осмеливавшуюся утверждать", что между фонемой и ее реализацией в речевой цепи может отсутствовать физическое (артикуляционно-акустическое) соответствие. Этой школой была МФШ (с. 267).

По мнению Ю.С. Кудрявцева, "порождающая фонология явилась результатом согласования одного из принципов МФШ с общей теорией порождения речи, выдвинутой Ноэмом Хомским" (с. 268). В то же время он обращает внимание на главное

отличие порождающей фонологии от МФШ: "В теории Хомского... фонологические, морфонологические и морфологические факты не разграничиваются" (с. 269). Действительно, сильной стороной МФШ всегда было строгое разграничение фонетических и нефонетических чередований звуковых единиц. Оно восходит к работам И.А. Бодуэна де Куртене, поставившего задачу отделения "дивергентов" от "коррелятивов подвижных": "... дивергенты зависят от антропофонических условий, а коррелятивы подвижные от условий морфологических" [Бодуэн де Куртене 1963: 118].

Немало статей сборника посвящено осмыслению теоретического наследия Московской лингвистической школы. Особенно частым оказывается обращение к трудам Ф.Ф. Фортунатова. Работа по реформированию русского правописания начала XX в. осмысливается в свете современных проблем русской орфографии в статье Т.М. Григорьевой "Орфографические уроки Ф.Ф. Фортунатова и А.А. Шахматова".

С опорой на научные положения Ф.Ф. Фортунатова, М.Н. Петерсона, А.И. Смирницкого, А.А. Реформатского в статье "Методы типологическо-контрастивных сопоставлений в московской формальной школе (от Фортунатова до Реформатского)" А.В. Широкова проводит сопоставительный анализ действия в русском и английском языках двух основных тенденций, определяющих изменения грамматической системы любого языка: "тенденции флективно-фузионной и тенденции агглютинативно-аналитической" (с. 289). А.А. Аминова и Л.А. Андрамонова в статье "Ф.Ф. Фортунатов и вопросы преподавания лингвистической теории" подчеркивают значение концепции Ф.Ф. Фортунатова в области преподавания русской грамматики "в современных условиях, когда на территории России функционирует целый ряд государственных языков и преподавание русского языка ведется в многоязычной аудитории" (с. 315).

Ряд статей сборника посвящен судьбе основоположников МФШ. В статье "Владимир Николаевич Сидоров" С.Н. Борунова не только рассказывает о последних годах жизни ученого, но и дает изложение некоторых его идей, которые до сих пор не нашли полного отражения в печати. В частности, приводятся рассуждения В.Н. Сидорова о механизме действия фонетических законов, рассматривается его положение о гиперфонеме и ее принципиальном отличии от архифонемы в понимании Пражской фонологической школы. Эти и другие

мысли В.Н.Сидорова являются исключительно ценными для последующих поколений лингвистов. Воспоминаниям о Петре Саввиче Кузнецове посвящена статья В.М. Алпатовая, а воспоминаниям о Рубене Ивановиче Аванесове – статья Л.Н. Булатовой.

К числу достоинств "Фортунаатовского сборника" относится наличие раздела, связанного с практической направленностью теории МЛШ, ее использованием в школьном и вузовском учебном процессе – "Лингвистическая теория в школе и в вузе". В статье Л.Б. Парубченко "Научная теория и школьная практика" последовательно показана роль концепции МЛШ в обучении правописанию: "занимаясь правописанием, нужно изучать не правописание, а то, чем оно обусловлено: отношениями слова с другими словами на лексическом, фонетическом и грамматическом уровне..." (с. 299). В этом случае учебник ориентирован не на "науку как совокупность знаний", а на "науку как понимание" (с. 299). Последняя ориентация характеризует учебники русского языка, написанные под руководством М.В. Панова.

В статье "Образовательный потенциал концепции МФШ" М.И. Задорожный останавливается на вопросе об изучении системы фонематической транскрипции на основе концепции МФШ в вузе. Практическая работа автора со студентами свидетельствует о том, что транскрибирование по МФШ не только помогает получить адекватные знания о звуковом строе языка, но и развивает навыки логического мышления.

Интересен опыт факультатива по русской диалектологии в средней школе, отраженный в статье И.А. Букринской и О.В. Кармаковой "Новая лингвистическая дисциплина в школьном курсе". Существенно, что по данному курсу создано учебное пособие "Язык русской деревни: Школьный диалектологический атлас" (М., 1994).

Нельзя не выразить сожаления, что в сборнике почти не нашла отражения проблема разработки методологии обучения произношению неродного языка на базе концепции МФШ. Данная проблема лишь упомянута в статье М.И. Задорожного. Между тем соответствующие концептуальные установки были заложены уже в 60-е годы в трудах А.А. Реформатского, а позднее получили теоретическое и практическое развитие в работах целого ряда лингвистов.

Большинство статей сборника посвящено анализу систем русского литературного языка и русских диалектов. Вопрос об анализе других языковых систем только поставлен в общем виде в статье О.С. Широкова и применительно к грамматическому аспекту языковой системы рассматривается в статьях А.В. Широковой, а также А.А. Аминовой и Л.А. Андраноной.

Иногда высказывается мнение, что теория МФШ плохо применима к анализу языковых систем, устроенных иначе, чем современный русский литературный язык. Безусловно, это не так. Описание различных языковых систем с позиций Московской лингвистической школы уже проводилось, например, в работах О.С. Широкова и А.В. Широковой. Это применительно ко многим языкам сделано в учебнике О.С. Широкова "Языковедение. Введение в науку о языках", который в настоящее время находится в печати.

Несомненно, отсутствующие в "Фортунаатовском сборнике" аспекты исследования будут отражены в последующих сборниках статей, объединяющих сторонников Московской лингвистической школы. В целом сборник исключительно интересен для широкого круга лингвистов – научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов. Каждая из его статей найдет своего читателя.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аванесов Р.И. 1974 – Русская литературная и диалектная фонетика. М., 1974.  
Бодуэн де Куртенэ И.А. 1963 – Избранные труды по общему языкознанию. Т. I. М., 1963.  
Касаткин Л.Л. 2000 – Взгляды Московской и Пражской фонологических школ как взаимодополняющие в общей теории фонемы // Лингвистическое наследие И.А. Бодуэна де Куртенэ на исходе XX столетия. Тезисы докладов. Красноярск, 2000.  
Панов М.В. 1979 – Современный русский язык. Фонетика. М., 1979.  
Панов М.В. 1995 – Московская лингвистическая школа. 100 лет // Русистика сегодня. 1995. № 3.  
Фортунаатов Ф.Ф. 1956 – Избранные труды. Т. I. М., 1956.

Е.Л. Бархударова

**НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ УЧЕНЫЕ**

В настоящее время я занимаюсь исследованием учений о частях речи в русском и сербском языках в сопоставлении с праславянским (который выступает как *tertium comparationis*) и формально-грамматической классификацией частей речи в создаваемой научной грамматике русского языка.

1. В результате первого индоевропейского разграничения частей речи выделяются и м я (nomen) и г л а г о л (verbum) с п р и ч а с т и е м (participium) в качестве гибридной категории. К индоевропейской эпохе восходит также м е с т о и м е н и е (pronomen) в качестве лексико-грамматической части речи.

В результате второго разграничения частей речи (закончившегося только в праславянскую эпоху) имя членится на и м я с у щ е с т в и т е л ь н о е (nomen substantivum) и и м я п р и л а г а т е л ь н о е (nomen adiectivum) с и м е н е м п р и т я ж а т е л ь н ы м (nomen possessivum) в качестве гибридной категории. В праславянскую эпоху окончательно сформировались также и н ф и н и т и в (infinitivus) и с у п и н (supinum) в качестве гибридных субстантивно-вербальных частей речи.

Третье разграничение частей речи имело место уже после распада общеславянского языка, поздними диалектами которого являются старославянский и древнерусский: от существительного (а также от субстантивированного прилагательного) отделяется н а р е ч и е, причастие же позже расчленяется на две гибридные категории – с о б с т в е н н о п р и ч а с т и е и д е е п р и ч а с т и е. В ходе исторического развития как сербского, так и русского языка был утрачен супин (его значения перешли к инфинитиву, который сохранился как гибридная субстантивно-вербальная часть речи).

Сербский язык и в отношении частей речи намного архаичнее русского: в нем сохраняются результаты трех общеславянских разграничений частей речи (наблюдается

только некоторое сужение употребления посессивов и причастий). Имена числительные в сербском превратились не в самостоятельную часть речи, а в отдельный словоизменительный тип, т.е. в существительные нулевого склонения.

2. В русском языке произошли следующие изменения в отношении частей речи: 1) посессивы потеряли статус гибридной части речи и перешли в разряд имен прилагательных местоименного или смешанного склонения; 2) созданы новые предикативные части речи: а) краткие прилагательные; б) предикативы; в) степени сравнения и г) формы на -л; 3) имена числительные выделились в самостоятельную часть речи; 4) снова сблизилась имена существительные и имена прилагательные, к ним примкнули также местоимения.

После того как исчезла презентная форма глагольной связки, потерявшие значение неопределенности краткие прилагательные восприняли значение предикативности, семантически приблизившись к глаголу. Краткие прилагательные определяются как несклоняемая часть речи, с изменением по числам и (в единственном числе) родам, с предикативной как единственной функцией. Они чаще всего каким-нибудь компонентом значения отличаются от предикативно употребленных полных прилагательных, хотя нередки случаи нейтрализации значения.

После исчезновения презентной формы глагольной связки бывшие предикативные наречия, а также предикативные существительные восприняли предикативную функцию и преобразовались в новую, своеобразную часть речи – без склонения, без изменения по числам и родам, с предикативной как единственной функцией (п р е д и к а т и в ы).

В русском языке простая несклоняемая форма сравнительной степени типа *лучше*, *красивее*, а также составная несклоняемая форма превосходной степени типа *лучше всех/всего*, *красивее всех/всего* образуют

отдельную часть речи, которую можно назвать компаративами. К о м п а р а т и - в ы – своеобразная часть речи без склонения, без изменения по числам и родам. От предикативов они отличаются не только по признаку степени сравнения (сравнительная и превосходная степени), но и более широкими синтаксическими функциями (адвербиальная, лично-предикативная и безлично-предикативная). Компаративы являются формами сравнения всех частей речи, способных иметь степени сравнения (прилагательные, краткие прилагательные, наречия, предикативы). В компаративы как самостоятельную часть речи не входят склоняемые формы сравнительной и превосходной степени полных прилагательных типа *лучший, более/менее красивый, наиболее/наименее красивый, самый красивый* (по формально-грамматическим признакам они относятся к именам прилагательным).

Ф о р м ы н а - л в русском языке вычленились в отдельную часть речи, характеризующуюся морфологическими категориями числа и рода, отсутствием склонения и спряжения, с предикативной функцией. От кратких прилагательных они отличаются не только по значению, но и по наличию морфологических категорий вида (*читал – прочитал*), рефлексивности (*мыл – мылся*), наклонения (изъявительное наклонение *читал –* сослагательное наклонение *читал бы*) и по отсутствию категории времени (ср. *походил – похож, был похож, будет похож*).

В ходе исторического развития русского языка имена числительные сформировались в качестве отдельной части речи со своими морфологическими признаками и своеобразием синтаксического употребления. Некоторые числительные имеют только общий падеж, выступающий в значении именительного и винительного падежей, и косвенный падеж, охватывающий все остальные падежные значения: *сорок – сорока, сто – ста, полтора/поторы – полутора*; другие же числительные имеют один тип склонения или один тип основы в общем [=именительном/винительном] падеже (*двое, пятеро, много, несколько, оба/обе, пятьдесят*), а другой в косвенных падежах (напр., в родительном: *двоих, пятерых, многих, нескольких, обоих/обеих, пятидесяти*). В общем падеже числительные являются главными членами синтагмы, в косвенных падежах – зависимыми. Конечно, признаками самостоятельной части речи наделены только количественные,

собираательные и неопределенно-количественные числительные.

В ходе исторического развития русского языка произошло определенное сближение имен существительных с именами прилагательными и назывных имен с местоимениями. Сближение субстантивных и адъективных слов явилось результатом следующих изменений в грамматической системе: 1) утраты прилагательными своей специфичной категории (категории определенности/неопределенности); 2) утраты категории рода во множественном числе; 3) субстантивации имен прилагательных, которая стала продуктивным способом словообразования, поэтому адъективное склонение перестало быть специфической чертой имен прилагательных как части речи. Распад посессивов повлиял на сближение назывных имен и местоимений: 1) притяжательные прилагательные на *-ин, -нин* отошли к местоименному склонению; 2) фамилии на *-ов, -ин* и притяжательные прилагательные на *-ов* образовали новое, смешанное склонение, промежуточное между первым субстантивным и местоименным. С формированием нулевого склонения словоизменительно объединились имена существительные (типа *пальто*), имена прилагательные (типа *мини*) и местоимения (притяжательные *его, ее, их*). Поскольку и имена числительные, несмотря на тенденцию к обособлению, частично пересекаются с местоимениями (неопределенно-количественные числительные) и с именами существительными (дробные числительные), то правомерным кажется выделение и м е н и в качестве своеобразного союза пяти частей речи – имени существительного, имени прилагательного, местоимения, имени числительного и причастия.

3. Исходя из всего изложенного, нам представляется нужным и возможным формально-грамматическую классификацию частей речи в современном русском языке построить в рамках четырех пар:

I. А. С к л о н я е м ы е с л о в а : 1) имя существительное; 2) имя прилагательное (только полные формы, а также порядковые числительные и местоимения-прилагательные); 3) причастие (только полные формы); 4) местоимение (только местоимения-существительные); 5) имя числительное (только определенно-количественные, собираательные и неопределенно-количественные числительные). Б. С л о в а б е з с к л о - н е н и я : 6) наречие; 7) деепричастие.

II. А. С п р я г а е м ы е с л о в а :

8) глагол (*verbum finitum*), т.е. настоящее-будущее время изъявительного наклонения и повелительное наклонение). Б. Слова без спряжения: 9) инфинитив.

III. А. Слова с предикативным изменением: 10) глагольная форма на -л; 11) предикативное причастие; 12) краткое прилагательное; 13) предикативное местоимение (*каков, таков*). Б. Слова без предикативного изменения: 14) предикатив; 15) компаратив; 16) глагольное междометие (в предложениях типа *Татьяна ах*).

IV. А. Слова с грамматической функцией: 17) предлог; 18) союз; 19) частица. Б. Слова без грамматической функции: 20) собственно междометие (в том числе звукоподражания).

Словоизменительные типы имени как своеобразного союза пяти частей речи рассматриваются в рамках следующих разделов: первое субстантивное склонение (ед.ч.); второе субстантивное склонение (ед.ч.); третье субстантивное склонение (ед.ч.); множественное число субстантивных склонений; нулевое склонение; адъективное склонение; местоименное склонение; смешанное склонение; склонение личных местоимений; склонений числительных.

Словоизменительные типы глагола рассматриваются в рамках следующих разделов: первое или *о-спряжение*; второе или *и-спряжение*; смешанное спряжение (тип *хотеть/хочу*, тип *бежать/бегу*); атематическое спряжение (тип *есть/ем*, тип *дать/дам*); нулевое спряжение. К нулевому спряжению относятся: а) экзистенциальный тип: [*Прекрасно, что ты*] *есть*; б) посессив-

ный тип: [*У меня*] *есть* [*книга, книги*]; [*У тебя*] *нет* [*времени*]; в) качественно-посессивный тип: [*У меня*]  $\emptyset$  [*грипп*]; [*У меня*] *не* [*грипп*]; г) утвердительно-отрицательный тип: [*Он тебя любит?*] *Думаю, что* [*да*]; [*Он придет?*] *Думаю, что* [*нет*]; д) предикативно-объектный тип: *некого, нечего*; е) предикативно-обстоятельственный тип: *негде, некуда, неоткуда, некогда, незачем*.

4. Формально-грамматическую классификацию, на которой собственно и строится описание грамматической системы современного русского литературного языка, предваряет семантическая классификация. Она строится по следующей схеме:

I. Именные слова: 1) имя существительное; 2) имя прилагательное (полное); 3) краткое прилагательное; 4) наречие; 5) предикатив; 6) степени сравнения.

II. Местоименные слова: 1) местоимение-существительное; 2) местоименное прилагательное; 3) местоименное наречие; 4) местоименное числительное; 5) предикативное местоимение.

III. Слова-числительные: 1) количественные числительные; 2) порядковые числительные.

IV. Глагольные слова: 1) собственно глагол (личные глагольные формы); 2) инфинитив; 3) форма на -л; 4) предикативное причастие; 5) причастие (только полные формы); 6) деепричастие.

Такова, в общих чертах, структура создаваемой нами *Русской грамматики* (том I. *Морфология*) и классификация частей речи, в ней заложенная.

Р.Н. Мароевич (Белград)

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

У.  
ЗТ

С 28 июня по 2 июля 2000 г. в г. Улан-Удэ проходила международная научная конференция "Проблемы истории и культуры кочевых цивилизаций Центральной Азии", организованная правительством Республики Бурятия, Сибирским отделением РАН, Академией наук Монголии, Институтом монголоведения, буддологии и тибетологии (ИМБиТ) РАН. В работе этого представительного форума принимали участие не только ученые Бурятии, но и их коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России, а также из Украины, Монголии, Китая (Внутренняя Монголия), Японии и США. Работа конференции осуществлялась на заседаниях восьми секций и двух круглых столов, и в общей сложности было заслушано и обсуждено 270 докладов и сообщений.

На пленарном заседании заведующий отделом языкознания ИМБиТ РАН И.Д. Бураев (Улан-Удэ) сделал содержательный доклад о Циркумбайкальском языковом ареале и образовании бурятского языка, в котором обосновал гипотезу своего учителя, замечательного лингвиста В.М. Наделяева, и развил его идеи дальше, тем самым внося новое в традиционную алтаистику.

По программе лингвистических секций было рассмотрено 48 докладов и сообщений. Ряд интересных докладов был посвящен языковым связям. И. Рассадин (Улан-Удэ) в докладе о характере влияния тюркских языков на монгольские языки в разные эпохи, остановился, в частности, на критериях определения тюркизмов в монгольских языках, основанных на учете факторов историко-лингвистического и ареального плана. В сообщении Ж.-Б. Багдарова (Улан-Удэ) о дагурско-бурятских языковых связях были прослежены сходства между тюркскими и монгольскими

языками на фонетическом, лексическом и морфологическом уровнях. О.М. Козина (Улан-Удэ), говоря об отражении влияния кочевой культуры в лексике старообрядцев Забайкалья, рассмотрела своеобразие бытовой, животноводческой и ботанической лексики, а также названий диких животных и птиц в бурятском языке, заимствованных семейскими, опираясь на "Словарь говоров старообрядцев Забайкалья" (1999) и на собственные полевые материалы.

Предметом отдельного обсуждения стали вопросы терминологии и лексикологии бурятского языка. Л.Д. Бадмаева (Улан-Удэ) охарактеризовала сущность терминологии народной и тибетской медицины, показала своеобразие процессов терминологической номинации. Д.Д. Дондокова (Улан-Удэ) проанализировала названия бурятских музыкальных инструментов, а В.В. Тэлин (Улан-Удэ) – названия молочных продуктов и блюд у бурят. В обоих докладах приводились этимологии отдельных слов и отмечались заимствования из других языков Ц.Ц. Бальжинимаев и Б.Д. Бальжинимеев (Улан-Удэ) свой доклад посвятили исследованию того пласта самобытной этнокультурной лексики, который отражает кочевой образ жизни бурят и восходит генетически к древнемонгольскому языку, а ныне переходит в разряд архаизмов и историзмов. О словах-названиях национальной одежды агинских бурят-кочевников рассказала Ц.Б. Базарова (Улан-Удэ), проанализировав специфические наименования сезонной одежды – шуб, халатов и обуви из шкур животных, кожи, меха и войлока.

Бурятская и монгольская топонимика и ономастика были предметом рассмотрения О.Ф. Золотовой (Улан-Удэ) и Л.В. Шулуновой (Улан-Удэ). Говоря об отражении реалий в географических названиях, О.Ф. Золотова среди монгольских топонимов выявила тематические группы

онимических лексем, выполняющих функции геонимов. Л.В. Шулунова, подойдя к ономастике как к источнику этнической истории кочевых цивилизаций Центральной Азии, рассмотрела топонимику и историческую географию Прибайкалья в качестве летописи былых времен.

Несколько докладов было посвящено истории монгольской письменности и грамматики. К. Т а н а к а (Япония), развивая социолингвистические идеи Б. Барадина, остановился на истории опыта языковой унификации кочевых народов и напомнил о судьбе народностей, растворившихся (ассимилировавшихся) среди крупных народов, и тем самым дал повод для размышлений о современном положении бурятского языка. Как известно, Б. Барадин (1878–1937) в 1910 г. составил на основе латиницы бурятский алфавит, который, по мнению докладчика, можно считать образцом социолингвистического подхода к решению проблем письменности, не утратившим своего практического значения. Ныне же существует тенденция быстрого исчезновения языков малых народностей, и сможет ли деятельность лингвистов замедлить и остановить этот процесс, покажет время.

Л. Б о л д (Улан-Батор), обсуждая вопросы письменности кочевников Центральной Азии, отметил роль и значение монгольского алфавита на основе кириллицы в развитии современного монгольского общества. Д.Д. Д о р ж и е в (Улан-Удэ) обратил внимание на существование как самостоятельных литературных языков старомонгольского, староиратского и старобурятского, а У.-Ж.Ш. Д о н д у к о в (Улан-Удэ) проследил путь становления общемонгольского письменного языка от уйгуромонгольского алфавита до письма на кириллице, высказав мысль, что последнее имеет перспективу стать основой сближения двух родственных народов – монголов и бурят.

В центре внимания многих докладчиков были вопросы грамматики и стилистики монгольских языков. С.М. Т р о ф и м о в а (Улан-Удэ) рассмотрела статус некоторых падежей в монгольских языках: именительного – падежа основы, винительного – оформленного и неформленного, характерных для алтайских языков. О системе деепричастных форм в доклассическом монгольском языке говорила Т.В. Цыренкова (Улан-Удэ), показав, как сформировались соединительное, разделительное, слитное, условное, целевое продолжительное и предельное деепричастия в исследуемом языке указанного периода. Д.С. Д о р ж и е в а (Улан-Удэ) предложила

первый опыт модельного представления простого предложения как микросистемы. Л.Б. Б а д м а е в а (Улан-Удэ) на основе синтаксического анализа текста хоринских летописей В. Юмсунова (1875 г.), Т. Тобоева (1863 г.) и анонимного автора (1930 г.) рассмотрела сложные синтаксические комплексы, квалифицируя их как полипредикативные единицы. Н.Б. Д а р ж а е в а (Улан-Удэ) предложила опыт исследования бурятских сложноподчиненных предложений на основе новейших достижений лингвистики по синтаксису языков разного типа.

Материалом для рассмотрения в двух докладах стал литературный памятник XIII в. – "Сокровенное сказание монголов". Ю.Д. Б а д м а е в о й (Улан-Удэ) была исследована в нем система наклонений (в сопоставлении с бурятским языком) на основе анализа названного памятника и четырехязычного словаря Мукаддимат ал Адаба, содержащего примеры обиходной речи монголов XII–XIV вв. Синтаксический строй знаменитого памятника проанализировала З.А. Т у м а х а н и (Улан-Удэ), установив историческую преемственность базовых типов синтаксических конструкций.

Нетрадиционные подходы к исследуемому материалу были продемонстрированы в двух докладах, посвященных онимам. Л.А. К о ж е в н и к о в а (Улан-Удэ) исследовала функции онимов в художественных текстах современных монгольских писателей, и ею выявлены поэтонимы на языковом, речевом и сугубо ономастическом уровнях, выполняющие номинативные, грамматические, апеллативные, коммуникативные, экспрессивные и социальные функции. Е.В. С у н д у е в а (Улан-Удэ) в докладе об онимизации предикативных конструкций в современном монгольском языке рассмотрела личные имена-фразы в формах изъявительного и повелительного наклонений, а также в виде личных и неличных, финитных и нефинитных глаголов, причастий настоящего времени, многократных причастий и условных деепричастий. Например, *Одгшиг* "звезда засияла" или *Ирвэл* "если придет" и др., то есть найдены весьма оригинальные примеры, свидетельствующие о неординарности мышления авторов – творцов личных имен.

Принципам классификации частных значений императива в бурятском языке был посвящен доклад Ю.Д. А б а е в о й (Улан-Удэ), в котором затрагивались малоизученные вопросы оценочных высказываний и побуждений.

Несколько докладов касались актуаль-

ных вопросов бурятского и монгольского языков в области социолингвистики, этнолингвистики и истории монгольской филологии в России. В докладах Г.А. Дыревой (Улан-Удэ) – о положении бурятского языка в Бурятии – и О.М. Хубрикова (Улан-Удэ) – о состоянии и тенденциях развития бурятского языка – прозвучала тревога по поводу отрицания родного языка бурят и были предложены возможные оптимальные пути преодоления этой негативной ситуации. Ж.Д. Доржиева (Улан-Удэ) посвятила свой доклад перспективам развития бурятской этнолингвистики на примере лексики и терминологии национальной духовной культуры. Доклад В.Э. Раднаева (Москва) был

посвящен изучению научного наследия академика Г.З. Байера (1694–1738), который занимал кафедру древностей и восточных языков в Петербургской Академии наук с 1725 по 1738 г. и которого по праву считают предвестником русского монголоведения, а его изыскания в настоящее время представляют интерес для ученых как раритеты по истории ориенталистики в России.

На конференции были приняты рекомендации лингвистической секции, в которых указаны основные направления бурятского языкознания на современном этапе и намечены его перспективы в будущем.

*В.Э. Раднаев (Москва)*

27–30 сентября 2000 г. в г. Мартине (Словакия) состоялась Международная междисциплинарная конференция "Переводы Библии, религиозное творчество и духовная песня (западного и восточного обряда) с точки зрения европейского контекста". Организовал конференцию Славистический кабинет Словацкой Академии наук в г. Братиславе при участии Матицы Словенской в г. Мартине. Конференция в г. Мартине продолжает проблематику 3-х предыдущих конференций, организованных Славистическим кабинетом Словацкой Академии наук: 1) О переводах Библии на словацкий и другие славянские языки (Мартин, 1996); 2) Период контрреформации в Словакии в средневропейском контексте (Мартин, 1998); 3) Словацко-русинско-украинские отношения (Земплинска Широка, 1999).

Конференцию открыл председатель Словацкого Комитета славистов, директор Славистического кабинета САН проф. Я. Доруля. Он обратился к участникам и гостям конференции с приветственным словом, в котором подчеркнул, что главной целью конференции является изучение языка библейских и религиозных текстов. О важности этой темы свидетельствуют те подготовительные работы по научному изданию Библии на словацком языке, которые ведутся Славистическим кабинетом САН.

Большое внимание на конференции было уделено переводам библейских текстов. Центральное место здесь заняла Камальдильская Библия – первый перевод Библии

на словацкий язык. Этот перевод с латинского языка (Vulgata) был осуществлен в первой половине XVIII в. монахами ордена камальдулов. Научное изучение текста Библии началось лишь в 30-х годах XX в., когда был обнаружен единственный сохранившийся ее экземпляр.

Языку Камальдильской Библии в контексте эпохи был посвящен доклад Я. Дорули (Братислава, Словакия), который охарактеризовал речь образованных слоев словацкого общества XVIII в., в частности католиков, отметил непрерывность процесса развития словацкого языка и место перевода Камальдильской Библии в нем, дал общую характеристику языка перевода (с точки зрения наличия в нем книжных и народно-разговорных элементов). В докладе Е. Красноской (Братислава, Словакия) рассматривались орфографические, фонетические и словообразовательные стороны перевода Камальдильской Библии. В нем, по мнению докладчицы, проявилось стремление к нормализации письменного языка, приближению его к живой разговорной речи. Подтверждается это сравнением рассмотренных уровней языка Камальдильской Библии и двух других текстов того же скриптория – Камальдильского словаря и перевода произведения Блозия "Roy wernég dussi". В. Грегор (Братислава, Словакия) остановился на вопросе о месте и обстоятельствах возникновения перевода Камальдильской Библии. Он полагает, что сама идея полностью перевести текст Библии на словацкий язык возникла у епископа Л. Табасовского (1643–1705). Осуществили же его идею наиболее образованные монахи, преподаватели богословского училища

при монастыре камальдулов. Г. Роте (Бонн, Германия) в докладе "Источники Камальдульской словацкой Библии" пришел к следующим выводам: 1) Монахи Камальдульского монастыря сделали перевод Библии на словацкий язык не для чтения ее широким кругом читателей, но для словацких служителей церкви, чтобы им легче было читать проповеди на родном языке; 2) Основной переводом Камальдульской Библии была Сватоцлавская Библия; 3) Использовался также Кралицкий перевод Библии, но чаще всего образцом для Камальдульской Библии служила древнечешская Библия; 4) Прямое влияние латинского источника в тексте Камальдульской Библии заметно мало. Т. Петраш (Лодзь, Польша) обратил внимание на то, что проповеди Александра Мачая, напечатанные в типографии Трнавского университета (1718 г.), явились первой книгой этого жанра на словацком языке. Согласно мнению докладчика язык проповедей относится к периоду так называемого славянизированного чешского языка. А. Шкорова (Нитра, Словакия) проанализировала тексты религиозного содержания католического монаха XVIII в. Мокоша, писавшего на словацком языке, сравнила их язык с языком Камальдульской Библии. Я. Дурница (Братислава, Словакия) остановился на деятельности Антона Ботека, словацкого переводчика Священного Писания. Глаголическим переводам библейских текстов до 1200 г. посвятил свой доклад А. Семеш (Братислава, Словакия). Я. Складана (Братислава, Словакия) сравнила фразеологизмы Камальдульской Библии с фразеологизмами более поздних переводов Библии на словацкий язык. А. Солчанский (Братислава, Словакия) остановился на принципах перевода в этой Библии лексем, обозначающих понятия страха и боязни.

Второй блок докладчиков был сосредоточен вокруг проблемы: "Библейская тематика в духовной песне западного и восточного обрядов". Л. Качиц (Братислава, Словакия) отметил, что в XVII-XVIII вв. библейские тексты использовались как материал для создания духовных песен. В это время, по его наблюдениям, начинается исполнение духовных концертов, а при обработке литургических текстов с ними обращаются довольно свободно. П. Рущин (Пряшев, Словакия), рассказывая библейские мотивы католических духовных песен, обратил особенное внимание на их тематику, жанры, связь с определенными праздниками. Т. Врabloва

(Братислава, Словакия) отметила влияние эстетических требований времени на содержание "трановских" духовных песен, обратила внимание на свободу их интерпретации. Т. Каменска (Банска Быстрица, Словакия) детально проанализировала уровень развития свадебной духовной песни в словацкой римско-католической церкви в сопоставлении ее с библейским текстом. Л. Бартоко (Пряшев, Словакия), анализируя язык песенника Cantus Catholici (1655) в широком историческом, национальном и языково-культурном контексте эпохи, пришел к выводу, что было бы неверно причислять этот текст к памятникам так называемого славянизированного чешского языка, хотя такая традиция существует в словацкой науке. Более правильно, по его мнению, говорить о языке песенника как о словацком литературном языке старого типа, который функционировал в XVII-XVIII вв. и был квалифицирован А. Бернолаком. П. Шолтес (Братислава, Словакия) связал использование греко-католической церковью восточной Словакии в XVIII в. различных языков с уровнем образования духовных лиц и этнической принадлежностью верующих. По его мнению, влияние латинской культуры усилилось в Словакии XVIII в. из-за нарушения контактов с религиозными центрами восточных славян (Киев, Львов, Почаев). В этот период изменяется также этнический состав жителей восточной Словакии, а византийско-славянский обряд распространялся за пределы ее территории. Доклад П. Женьюха (Братислава, Словакия) был посвящен паралитургическому творчеству византийско-славянского обряда восточной Словакии. Это творчество, созданное на церковнославянском языке украинской редакции, используется здесь при богослужении не только украинцами, но и словаками. Именно словаки, греко-католики, используя церковнославянский язык и кириллическое письмо, внесли в церковную службу этого региона диалектные особенности словацкого языка. Таким образом, по мнению докладчика, данное паралитургическое творчество является естественной составной частью словацкого культурного наследия и принадлежит к словацкому культурно-историческому контексту. Истории духовной песни у восточных славян посвятил доклад Д. Штерн (Бонн, Германия). Докладчик отметил, что жанр духовной силлабической песни возник у восточных славян в начале XVII в. В Московской Руси ему предшествовали в качестве нелитургических песнопений так называемые покаянные стихи. Один из та-

ких стихов "Похвала пустыни Иоасафа" был переработан в середине XVII в. на силлабический лад и бытовал длительное время в устном репертуаре калик переходящих. Данный текст представляет большой интерес. Во-первых, его возникновение и распространение дают редкий пример проникновения великорусского культурного наследия на запад – на Украину и в Белоруссию. Во-вторых, широкое распространение "Похвалы пустыни" иллюстрирует взаимоотношения между письменными и устными поэтическими жанрами. Исследование показало, что устные варианты "Похвалы пустыни" являются прямой переработкой силлабической песни, а не более древнего покаянного стиха. Представляет интерес и вопрос о зависимости "Похвалы пустыни" от популярной древнерусской повести о Варлааме и Иоасафе.

В третьем блоке докладов рассматривался библейский текст в религиозном, литературном и художественном творчестве. Е. Ф р и м м о в а (Братислава, Словакия) сделала обзор рукописных и печатных текстов Библии на словацком языке от Средневековья до настоящего времени. В. Ц ы р и л (Рим, Италия) посвятил свой доклад анализу рукописного творчества представителя закарпатских базилиан Юрия Иоаникия Базилевича (1742–1821). Книги этого писателя на латинском языке до сих пор являются основным источником при изучении истории греко-католической церкви в Закарпатской Украине и Восточной Словакии. Особенно внимание уделяется в докладе изучению рукописного "Толкования священной литургии" (780 страниц), в котором содержится текст византийской литургии с комментариями. Этот первый литургический комментарий местного происхождения является важным источником при изучении литургической практики. В докладе Д. Б е н к о в с к о й (Лодзь, Польша) внимание было сосредоточено на определении языковых особенностей польского библейного стиля. Д. Ш к о в ы р а (Братислава, Словакия) посвятил свой доклад анализу одного из фрагментов гуманистической поэзии словака Яна Боцатуса (1569–1621) на латинском языке. Э. Г л е б а (Пряшев, Словакия) проанализировал религиозную тематику и религиозных героев в народных рассказах. В докладе К. В а в е р ч а - к о в о й (Трнава, Словакия) на большом материале было показано, что коммуникативный процесс, результатом которого является интенциональная обработка библейского текста, воспринимаемого в качестве составной части национальной лите-

ратуры для детей и молодежи, состоит из трех этапов: этап прототекста, этап перевода и этап обработки. На оси "автор – читатель" (литературно-коммуникативная модель) важным фактором является религиозность среды адресата (обработка этого типа приближается к персуазивно ориентированному катехизису) или же религиозная нейтральность среды (в таком случае преобладает функция общекультурной информации). Н. Ш а к у н (Минск, Беларусь) сосредоточила внимание на изучении локальной библейской традиции. С этой целью она сравнила Туровское Евангелие и "Слова" выдающегося проповедника Древней Руси XII в. Кирилла Туровского. Туровское Евангелие представляет собой отрывки апракосного евангелия. До нашего времени дошли лишь 10 его листов, которые хранятся в Центральной библиотеке Академии наук Литвы. И.И. Срезневский на основе анализа палеографических и орфографических особенностей датировал этот памятник XI столетием. Позднейшие исследователи связали его с письменной традицией киевского скриптория, однако локализация Туровского Евангелия остается дискуссионной. Сравнение его текста на грамматическом и отчасти лексическом уровнях с текстом, локализация которого сомнений не вызывает ("Слова" Кирилла Туровского), поможет более уверенно говорить о происхождении Туровского Евангелия. В докладе В. Ф р а н ч у к (Киев, Украина) речь шла об использовании текстов и образов Священного Писания в киевском летописании XII в. Как показал анализ, цитаты из конфессиональной литературы встречаются здесь преимущественно в тех фрагментах, которые связаны с именем игумена Выдубицкого монастыря Моисея, составителя и редактора Киевской летописи. Этот начитанный книжник, в совершенстве знавший события священной истории, видимо, при редактировании летописи дополнял рассказы исторического плана заимствованными из церковных книг образами и сентенциями. Доклад О. К о в а ч и ч о в о й (Братислава, Словакия) был посвящен характеристике типологии библейских аллюзий и выявлению отличий в восприятии библейских текстов в литературной среде в три переломных периода развития русской поэзии: конец XVIII – начало XIX в., конец XIX – начало XX в., конец XX в. Исходя из знаков, объединяющих все периоды – аналогии в общественной атмосфере, антинормативные принципы эстетических программ, сосуществование разных литературных направлений и группировок, обсуждение вопроса

традиций русской культуры и т д – докладчик определяет в каждом из периодов а) специфику восприятия библейских текстов (как знака общеевропейских и национальных культурных традиций как феномена религиозной жизни как эстетического объекта и т д) б) функцию библейских аллюзий в поэтических текстах (функция

этического идеала функция сюжетного архетипа функция акцентирования традиции и т д) в) специфику и разнообразие функционирования церковнославянской лексики фразеологии а также образности библейских текстов

*В Ю Франчук (Украина)*

и п л д

ь  
(фр)

УдрУ

А д р с р э р г А

1 Ц е о н вьлтО

## CONTENTS

Švedova N.Ju. (Moscow). Once more on the verb *to be*; A n n a A. Z a l i z n j a k (Moscow). Semantic derivation in synchrony and diachrony: a project of "The Catalogue of semantic shifts"; B. W i e m e r (Vienna). Aspectual paradigms and lexical meaning of Russian and Lithuanian verbs. An experience of comparison from the point of view of lexicalisation and grammaticalisation; A.N. S o b o l e v (St.-Petersburg). The Balkanic word-stock in the light of areal and areal-typological linguistics; O.F. Ž o l o b o v (Kazan). Old Slavonic numerals as part of speech; A.P. R o m a n e n k o (Saratov). Soviet philosophy of language: E.D. Polivanov – N.Ja. Marr; O.N. T r u b a č e v (Moscow). Information for the participants of the next Congress of Slavists in 2003; **Surveys**: A.I. D o m a š n e v (St.-Petersburg). Problems of classification of German sociolects; **Reviews**: T.M. N i k o l a e v a (Moscow). Language about language. A collection of articles; E.L. B a r x u d a r o v a (Moscow). The Fortunatov linguistic collection; **Current linguistic research**: R.N. M a r o j e v i č (Belgrade). Parts of speech in Russian. **Chronicle features.**

Технический редактор *О.Н. Никитина*

---

Сдано в набор 29.12.2000      Подписано к печати 06.02.2001      Формат бумаги 70 × 100 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
Офсетная печать. Усл.-печ.л. 13,0      Усл.-кр.-отт. 20,0 тыс.      Уч.-изд.л. 15,5      Бум.л. 5,0  
Тираж 1509 экз.      Зак. 4387

---

Свидетельство о регистрации № 0110167 от 4 февраля 1993 г.  
в Министерстве печати и информации Российской Федерации  
Учредители: Российская академия наук, Отделение литературы и языка РАН

---

Адрес издателя: 117997, Москва, Профсоюзная ул., 90  
Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,  
телефон 201-25-16  
Отпечатано в ППП "Типография "Наука", 121099 Москва, Шубинский пер., 6